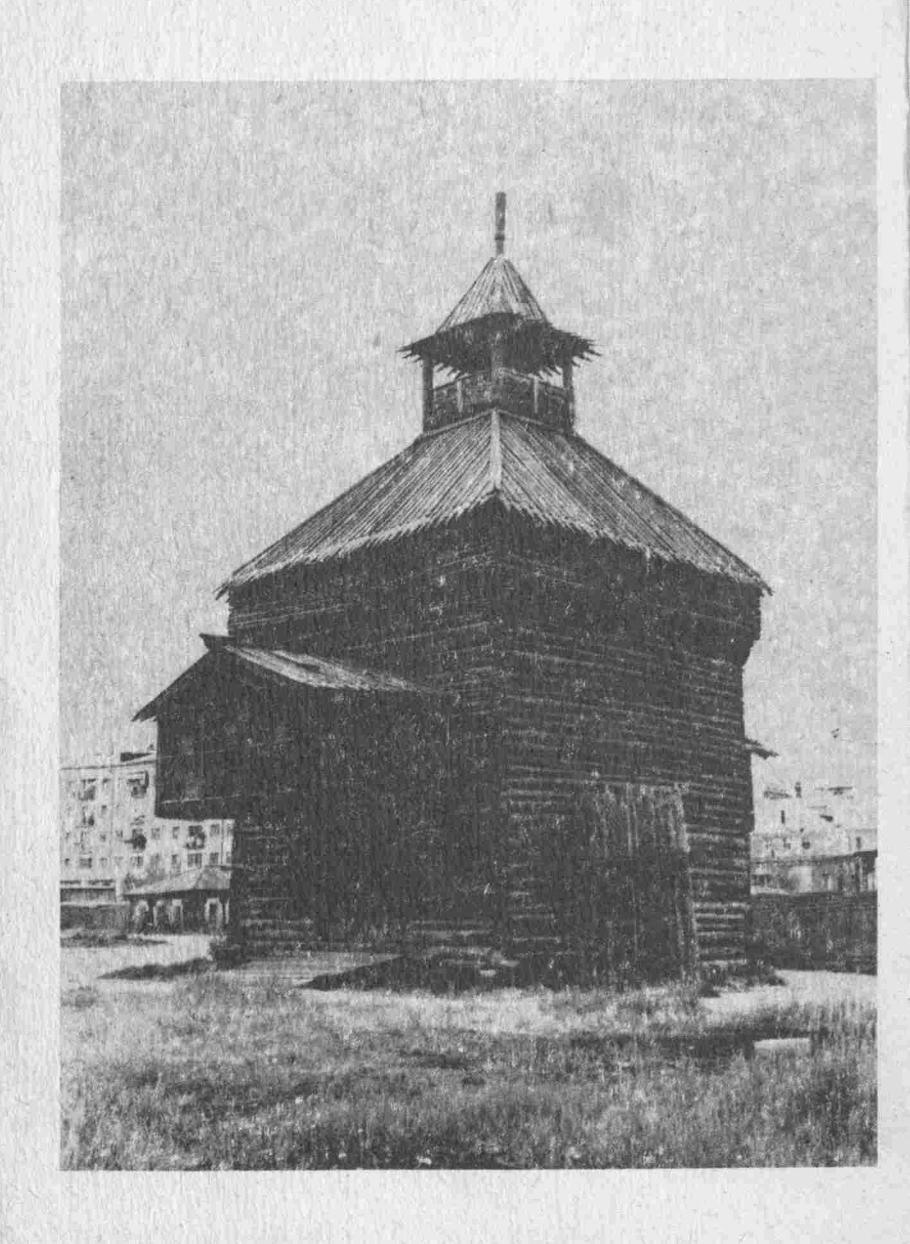
СИБИРЬ

6 91

Жития народные. Отец АРСЕНИЙ

Николай СИРОТЕНКО. Явки не будет. Повесть

Иркутская летопись



СИБИРЬ

6 91

Журнал писателей Восточной Сибири

Учредитель: Союз писателей РСФСР

Выходит 6 раз в год

Основан в 1930 г.

СОДЕРЖАНИЕ

На второй стороне обложки:
Образ Богоматери.
Серебряный оклад работы
иркутских мастеров. XVII век

На третьей стороне обложки:
Башня Якутского острога.
Фото Б. Дмитриева

ISSN 0132—6740

Перед тобою, читатель, одна из бессмертных книг России. Пришло и ей время поведать своим безыскусно-ясным, простым и высоким голосом суровую правду о русском православном подвижнике Петре Андреевиче Стрельцове — отце Арсении. Слишком тесный, поистине евангелиевый путь и тяжелый крест был уготован ему в этой жизни. Вначале ее ученый-искусствовед, автор известных исследований и монографий по истории древней живописи и архитектуре, потом священник, затем тридцать лет советских этапов, лагерей — политзаключенный, у которого на деле синий штамп: «Содержать в лагерях бессрочно — до смерти». И в конце концов бесправный старик, кротко доживающий у чужих людей в провинции, тайный учитель немногих, безвестный и одинокий. И все же книга о нем создана, потому что каждый, кто коснулся его жизни, имени, судьбы и личности, не в силах был забыть его. Ее написали люди, которым он помог выжить, сохранить веру в Бога и человеческое достоинство в страшные годы репрессий. А обработана рукопись одним автором, несомненно, сподвижником отца Арсения и свидетелем его жизни, который просит называть его, поминать Рабом Божиим Александром. Вряд ли он жив сейчас. Но, если жив, низкий поклон ему за труды, а если умер, то помяни его, Господи, в царствии Своем. Великое он сделал дело! И понятно, почему этот человек пожелал остаться неизвестным. Рукопись собиралась в шестидесятые годы, когда любимец нынешних прогрессистов типа Федора Бурлацкого, незабвенный Никита Сергеевич Хрущев добивал налогами последнего, чудом оставшегося в живых русского крестьянина и закрывал, разоряя, тысячи монастырей и храмов. Оклеветанные, лишенные человеческих прав, насельники этих монастырей молчаливо доживали в потаенных углах старинной русской провинции и на задворках вымирающих деревень.

Но есть еще одна провидческая суть в безвестном имени автора рукописи «Отец Арсений». Дело в том, что Петр Андреевич, несом-

ненно, живое лицо, и он был, и жил, и подвижничал, но его жизнь, словно капля, отразила в себе тысячи жизней и судеб страдавших и погибших за веру и Бога иереев, монахов, епископов, просто верующих людей. С редким достоинством переносили они нечеловеческие муки лагерей, каждый их день был подвижничеством, и души их горели тем неугасимо--святым огнем, которым окормлялись и находили в себе возможности жить и оставаться людьми все ближние. Недаром автор сравнивает их с великомучениками первых веков христианства. Их до сих пор и не реабилитировали, как положено...

В этой рукописи мы читаем потрясающую главу о пустынном лагере пятьдесят седьмого года, когда уже все заключенные были освобождены, а его, «попа», просто забыли или не знали, что с ним делать. Он не подлежал освобождению до смерти.

Особый интерес представляет для нас глава «Дети». Духовные дети отца Арсения, кого вел он по тернистому пути к истинной жизни. Бесхитростные их рассказы не только свидетельствуют о дальнейшем подвиге их духовного учителя, но и отображают церковные, полутайные общины после военного времени. Они жили своей замкнутой, напряженной жизнью. Именно в этих кругах и зародилась литература, подобная рукописи «Отец Арсений». Жизнеописательная, житейная, как бы продолжающая русскую житейную стезю, безавторская литература, она переписывалась тайными кругами, расходилась по всей стране, как своеобразная народная почта. Ее переписывали и школьники, и старушки, позже перепечатывали на пишущих машинках, и сберегли, дорогой ценой донесли до нас эти списки. Они несравнимы ни с какой печатью. Голос народной правды полногласно звучит в них. Правды неприкрытой, зачастую страшной и совершенно отличной от громких сталинских разоблачений последних лет. Записанная на листочках, в письмах, дневниках и фотографиях, сколько ее разбросано по городам и весям русской земли! Не пора ли собирать ее в одну житийную народную библиотеку? Какой урок принесет она нам! Пусть горькое, но лекарство от будущих ошибок, которые неизбежно повторяются, когда литература становится лживо-сладкой, лакируется или, как сейчас, — мазохистски разрушительной. В народе все в меру. И нравственное чувство его самое точное. Именно этим еще и привлекает рукопись Раба Божия Александра «Отец Арсений». Она не смакует жестокие подробности прошедшего режима, но сквозь эту нечеловеческую среду обитания проходит Великая личность, святая, можно сказать, высокое достоинство которой не умаляется от бытия, но крепнет в подвижничестве, являя собой живоносный пример для окружающих.

Думается, тогда Россия была богата такими людьми. Сколько их предстало перед престолом Божиим, один Господь и ведает. Свершилось дьяволово дело, и подвижники гибли во множестве в безвестности, в общих бараках и хоронились в общих могилах,

И нам пора во имя спасения России и ее будущего начать соборную деятельность по восстановлению образа русского подвижника, воссоздавать светоносные лики лучших людей России, дабы было на чем возрождать Святую Русь.

Рукопись эта не случайно попала в Иркутск. Ее передала мне Татьяна Павловна Евграфова, монахиня в тайном постриге, жительница поселка Листвянка. И ее жизнь явилась в какой-то мере подвижнической. Из дворянской семьи, красивая, очень образованная, она в молодости потеряла мужа, репрессированного в тридцать седьмом году. И вся ее жизнь принадлежала Церкви. Именно ее стараниями была спасена и вывезена из ложа Братского водохранилища и поставлена в поселке Листвянка Свято-Никольская церковь. Татьяна Павловна собирала вокруг себя крепкую живую общину верующих людей. Через ее руки проходила духовная литература, и через ее руки и попала в Иркутск рукопись Раба Божия Александра «Отец Арсений».

Много иркутских интеллигентов побывали у гостеприимной хозяйки двухэтажного домика подле деревянной уютной церковки в поселке Листвянка. Многие впервые у нее познакомились с духовной жизнью, впервые услышали зовущие звуки старинной церковной речи и по-настоящему взглянули на историю родимой земли. Она завещала похоронить себя в церковной ограде. В добрые русские времена так и делали. Хоронили в церковной ограде особо постаравшихся для Церкви граждан. И она выстрадала и заслужила всей жизнью это право. Но чиновничьи преграды оказались непреодолимы. Весною на Фоминой родительской неделе я побывала на могиле Татьяны Павловны, на высоком просторном кладбище поселка Листвянка. Высоко славно смотреть из ограды кладбища на весенний белесый в прозрачном просторе Байкал. Высок и свеж православный крест над небольшим холмиком, украшенный деревенскими бумажными цветами. Невдалеке огороженная могила двух братьев иереев Георгиевских. Оба они прошли за веру мученический путь, оба были репрессированы и провели в советских лагерях по десять лет. И, вернувшись, ушли в Церковь, служили с достоинством, любовно, учительно и преданно. И они повторили крестный путь отца Арсения.

Дул порывистый весенний ветер с Байкала, кричали вороны на поблекших соснах, и я поклонилась их могиле, о которой давно ничья рука не заботится. И нет на ней ни цветочка, ни листочка, лишь белые выгоревшие кресты.

Вот так же и затерялась где-то в русской провинции и могила отца Арсения, безвестная и одинокая. И я вспомнила строки из рукописи: «Двадцать веков копило человечество многочисленные знания, христианство принесло Свет и Жизнь людям, но в двадцатом веке эти люди отобрали из многочисленного арсенала знаний только зло и, помножив на достижения науки, доставили миллионам людей величайшие и длительнейшие страдания и мучительную смерть».

Настало время собирать камни, вспомнить и помянуть тысячи русских иереев, чья кровь пролилась во имя нашего спасения. Как поется в тропаре Всем святым в земле Российской просиявшим: «Якоже плод красный Твоего спасительного сеяния, земля Российская приносит Ти, Господи, вся святыя, в той просиявшия. Тех молитвами в мире глубоце Церковь и страну нашу Богородицею соблюди, Многомилостиве...»

Валентина Сидоренко

ОТЕЦ АРСЕНИЙ

ЧАСТЬ I

ЛАГЕРЬ

Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов (Гал. 6, 2).

Можно умереть, но остаться жить для людей и можно остаться жить, но быть погибшим...

Предисловие

В последние годы появилось много воспоминаний о жизни политических заключенных во времена «культа личности». Пишут ученые, военные, писатели, старые большевики, интеллигенты, люди самых различных профессий, рабочие, колхозники. Пишут о своей жизни в лагерях, в тюрьмах, о допросах, но никто еще не рассказал нам о миллионах верующих, погибших в этих лагерях и тюрьмах или переживших небывалые страдания на допросах.

Страдали и умирали они за веру свою, не отреклись от Бога и, умирая, славили Его, и Он не оставил их.

«Положить печать на уста своя» — значит предать забвению страдания, муки, подвижнический труд и смерть многих миллионов мучеников, пострадавших Бога ради и нас, живущих на земле. Не забыть, а рассказать должны мы об этих страданиях, это наш долг перед Богом и людьми.

Лучшие люди русской Православной Церкви погибли в это трудное время: иереи, епископы, старцы, монахи и просто глубоко верующие люди, в которых горел неугасимый огонь веры. Огонь веры, по силе своей равный, а иногда и превосходящий силу веры древних христиан-мучеников.

В этих воспоминаниях предстанет перед нами один, только один

из многочисленных подвижников первой половины 60-х годов XX века. А сколько было их, погибших за нас?

Двадцать веков копило человечество многочисленные знания, христианство принесло Свет и Жизнь людям, но в XX веке эти люди отобрали из многочисленного арсенала знаний только зло и, помножив на достижения науки, доставили миллионам людей величайшие и длительнейшие страдания и мучительную смерть.

Господь привел меня пройти малую часть лагерного пути с о. Арсением, но и этого достаточно, чтобы обрести веру, стать его духовным сыном, пойти его путем, понять и увидеть его глубочайшую любовь к Богу и людям и познать, что такое настоящий христианин. Прошлое не должно быть утеряно, на прошлом, как на фундаменте, утверждается новое, поэтому собрать воедино часть жизненного пути о. Арсения я посчитал своим долгом.

Для того, чтобы собрать драгоценные сведения об о. Арсении, мне пришлось обратиться к памяти его духовных детей, письмам, когда-то написанным им друзьям и духовным сыновьям, к воспоминаниям, написанным знавшими его людьми. Духовные дети о. Арсения многочисленны, и там, где поселял его Господь, появлялись и они вокруг него. Был ли это город, где он, ученый-искусствовед, принял иерейство и организовал в полузабытом приходе общину; деревня, куда его забросила ссылка, или затерянный в бескрайних лесах Севера маленький городок, или страшный лагерь «особого режима». Интеллигенция, рабочие, крестьяне, уголовники, политические заключенные — старые большевики, работники органов, соприкасаясь с ним, становились его духовными детьми, друзьями, верующими и шли за ним. Да, многие, узнав его, шли за ним. Каждый, знавший о. Арсения, рассказывал мне, что он видел и знал о нем.

Встречаясь с о. Арсением, я старался узнать о его жизни, но хотя он вел со мною много бесед, о себе рассказывал мало. Кое-что мне удалось записать еще при его жизни, и, давая ему на просмотр записки, я спрашивал:

— Так ли было?

И он всегда говорил мне:

— Да, было.

Но обязательно добавлял: «Господь всех нас водил по многим дорогам, и у каждого человека, если внимательно присмотреться к его жизни, есть много достойного внимания и описания. Моя жизнь, как и каждого живущего, всегда переплеталась или шла рядом с жизнью других людей. Много было всего, но все и всегда было от Господа».

Часто по нескольку раз он исправлял неточности в написанном. Для удобства изложения воспоминаний некоторые события сдвинуты мною во времени, изменены названия мест и имен почти всех участников, так как многие еще живы, а время переменчиво. Труден был поиск, но в результате появились эти воспоминания, письма и записки, хотя и несовершенные по своему изложению, но вос-

создавшие образ и жизнь о. Арсения.

Начиная свою работу, я не представлял вначале, какой соберу материал и каков будет объем книги, но теперь отчетливо вижу, что будет три части: «Лагерь» — первая часть, и вы прочтете ее сейчас, вторая часть — «Путь», в которую войдут отдельные письма, воспоминания, рассказы людей, знавших и знающих о. Арсения, и третья часть — «Дети».

Вторая часть написана, но требует доработки, а для третьей части собран многочисленный материал, над которым надо еще много работать. Молю Господа помочь мне.

Было бы самонадеянным говорить: «Я написал, я собрал». Писали и собирали, посылали мне свои записки многие и многие десятки человек, знающие и любящие о. Арсения, и это им принадлежит написанное. Я лишь пытался, как и все, кого взрастил и поставил на путь веры о. Арсений, трудом своим отдать малую часть неоплатного долга человеку, спасшему меня и давшему мне новую жизнь.

Прочитав записки, помяните о здравии раба Александра, и это будет мне великой наградой.

(1966—1974)

Лагерь

Темнота ночи и жестокий мороз сковали все, кроме ветра. Ветер нес снежные заряды, которые, крутясь, разрывались в воздухе, превращались в облака колючего снега. Налетая на препятствие, ветер кидал клочья снега, подхватывал с земли новые и опять рвался куда-то вперед. Иногда внезапно наступило затишье, и тогда среди темноты ночи высвечивалось на земле гигантское пятно света. В полосах света лежал город, раскинувшийся в низине. Бараки, бараки и бараки покрывали землю.

Вышки со стоящими на них прожекторами и часовыми уходили за горизонт, струны колючей проволоки, натянутой между столбами, образовывали несколько заградительных рядов, между которыми лежали полосы ослепительного света от прожекторов.

Между первыми и последними рядами колючей проволоки лениво бродили сторожевые собаки.

Лучи прожекторов срывались с некоторых вышек и бросались на землю, скользили по ней, взбирались на крыши бараков, падали с них на землю и опять бежали по территории лагеря, окруженного проволокой. Часть прожекторов вылизывала пространство за пределами лагеря и, обежав определенный сектор, возвращалась к рядам колючей проволоки, чтобы через несколько мгновений начать повторный бег.

Солдаты с автоматами, стоя на вышках, беспрерывно просматривали пространство между рядами проволочных заграждений. Затишье длилось недолго, ветер

опять внезапно срывался, и все снова ревело, гудело, выло, колючий снег заволакивал яркое пятно света, и темнота охватывала долину.

Лагерь особого назначения еще спал, но вдруг раздался удар по висевшему рельсу, сперва один у входа в лагерь, а затем под ударами зазвенели стальные рельсы в разных местах лагеря.

Прожекторы на вышках судорожно заметались, ворота лагеря открылись, и в зону стали въезжать один за другим крытые грузовики с «воспитателями», надзирателями, работниками по режиму и вольнонаемными. Машины разъезжались по территории лагеря, останавливались у бараков, из грузовиков выскакивали люди, по четыре человека шли к бараку, обходили его со всех сторон, проверяли сохранность решеток на окнах, наличие замков на дверях, отсутствие подкопов стен и других признаков, свидетельствующих о побегах заключенных. Осмотрев и убедившись, что ничего не повреждено, надзиратели отпирали двери бараков, и в это время прожекторы еще судорожно метались, а часовые внимательно оглядывали с вышек лагерь. Собаки между проволоками начинали нервно обегать свой участок.

Лагерь особого назначения начинал свой трудовой день. Тысячи, десятки тысяч заключенных приступали к работе. Медленно светлело, наступал серый северный зимний рассвет, но ветер попрежнему рвал снег, кидал его в воздух, выл и гудел, встречаясь с малейшим препятствием, и все дальше и дальше нес жесткий, колючий снег.

За пределами зоны лагеря, невдалеке от него горело несколько костров, пламя которых то вспыхивало, то затухало. Костры горели и днем и ночью беспрерывно, отогревая мерзлую землю для братских могил, в которых хоронили умерших заключенных. Лагерь ежедневно посылал туда десятки и сотни своих жителей, отдавая этим дань установленному лагерному режиму.

Барак

Лагерь особого режима ожил. Хлопали двери бараков, заключенные выбегали на улицу для проверки, строились. Раздавались крики, ругань, кого-то били. Холод, пронизывающий ветер и темнота сразу охватывали заключенных. Строясь бригадно в колонны, шли они на раздачу «пайка» и оттуда к месту работы.

Барак опустел, но запахи прелой одежды, человеческого пота, испражнений, карболки наполняли его.

Казалось, крики надзирателей, отзвуки потрясающей душу ругани, человеческих страданий, смрад уголовщины еще оставались в опустевшем бараке, и от этого становилось до отвратительности тоскливо среди голых скамей и коридора нар. Тепло, оставшееся в бараке, делало его жилым и смягчало чувство пустоты. 27° мо-

роза, порывистый ветер были сегодня страшны не только ушедшим на работу заключенным, но и сопровождающей их и тепло одетой охране. Те, кто несколько минут назад покинули барак, выходили на улицу со страхом, их ждала работа, пугавшая каждого непонятностью требований, бессмысленной жестокостью и непреодолимыми трудностями, создаваемыми лагерным начальством.

Выполняемая заключенными работа была нужна, но все делалось так, что труд стал невыносимым. Все становилось трудным, мучительным и страшным в лагере особого режима, все делалось для того, чтобы медленно привести людей к смерти. В лагерь направляли «врагов народа» и уголовников, преступления которых карались только смертью — расстрелом или заменяли заключением в «особом», из которого выход был почти невозможен.

О. Арсений, в прошлом Стрельцов Петр Андреевич, а сейчас «зек» — заключенный № 18376 — попал в этот лагерь полгода тому назад, и за это время понял, как и все живущие здесь, что отсюда никогда не выйти. На спине, шапке и рукавах был нашит лагерный номер 18376, что делало его похожим, как и всех заключенных, на «человека-рекламу».

Ночь переходила в темный рассвет и короткий полутемный день, но сейчас фонари и прожекторы еще освещали лагерь. О. Арсений был постоянным барачным «дневальным», колол у барака дрова и носил их охапками к барачным печам. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий! Помилуй мя грешного»,— беспрерывно повторял он, совершая работу. Дрова были сырые и мерзлые, кололись плохо. Топора или колуна в зону не давали, поэтому кололи поленья деревянным клином, загоняемым в трещину другим поленом. Тяжелое и мерзлое полено скользило и отскакивало в слабых руках о. Арсения и никак не могло попасть по торцу забиваемого клина. Работа шла медленно. Неимоверная усталость, глубокое истощение, изнурительный режим лагерной жизни не давали возможности работать — все было тяжело и трудно. К приходу заключенных огромный барак должен быть натоплен, подметен и убран. Не успеешь, надзиратель направит в карцер, а заключенные изобьют.

Бить в лагере умели и били в основном политических. Начальство било для воспитания страха, а уголовники избивали «отводя душу»: скопившаяся ненависть и жестокость выходили наружу. Били кого-нибудь каждый день, били умеючи, с удовольствием и радостью. Для уголовников это было развлечением.

— Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий! Помилуй мя грешного. Помоги мне. На Тя уповаю, Господи и Матерь Божия, не оставьте меня, дайте силы, — молился о. Арсений и, изнемогая от усталости, охапка за охапкой переносил к печам дрова.

Пора было затапливать, печи совершенно остыли и не давали больше тепла. Разжигать печи было нелегко: дрова сырые, сухой растопки мало. Вчера о. Арсений

набрал сухих щепок, положил в угол около одной из печей, подумав: «Положу на сохранение сушняк, а завтра дрова ими быстро разожгу». Пошел за сушняком, а уголовная шпана взяла и назло залила их водой.

Подошло время разжигать печи, запоздаешь, не прогреется барак к приходу заключенных. Кинулся о. Арсений искать березовую кору или сухих щепок в дровах за бараком, а сам творит молитву Иисусову: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий! Помилуй мя грешного, — и добавляет: — Да будет воля Твоя». Дрова за бараком перебрал и увидел, что ни коры, ни сушняка, нет, как растапливать печи, не придумаешь.

Пока о. Арсений перебирал дрова, из соседнего барака вышел дневальный, старик, уголовник больших статей, жестокости непомерной. Говорили, что еще в старое время на всю Русь гремел. Дел за ним числилось такое множество, что даже забывать стал. О своих делах не рассказывал, а за малое, что следователь узнал, дали «вышку» — расстрел, да заменили «особым», что для старых уголовников иногда было хуже. Расстрел получил и сразу отмучился, а в «особом» смерть мучительная, медленная. Те, кто из «особого» случайно выходили, становились полными инвалидами, потому, попав сюда, люди ожесточались, и выливалось это ожесточение в том, что били политических и своих уголовников насмерть. Этот уголовник держал в строгости весь свой барак, и начальство его даже побаивалось. Случалось, мигнет ребятам, и тогда готов несчастный случай, а там веди следствие.

Звали старика Серый, по виду ему можно было дать лет 60, внешне казался добродушным. Начинал говорить с людьми ласково, с шуткой, а кончал руганью, издевательством и побоями.

Увидел, что о. Арсений, несколько раз перебирал дрова, крикнул:

— Чего, поп, ищешь?

— Растопку приготовил с вечера, а ее водой для смеха облили, вот хожу и ищу сушняк. Дрова сырые, что делать, ума не приложу.

— Да, поп, без растопки тебе хана, — ответил Серый.

— Народ с работы придя замерзнет, вот что плохо, да и меня изобьют, — проговорил о. Арсений.

— Идем, поп, дам я тебе растопку.

И повел о. Арсения к своим дровам, там сушняка целая поленница, Мелькнула у о. Арсения мысль: шутку придумал Серый, знал его характер и помощи от него не ждал.

— Бери, о. Арсений, бери сколько надо.

Стал о. Арсений собирать сушняк и думает: «Наберу, а он меня на потеху другим бить начнет и кричать: «Поп — вор!». Но тут же удивился, что назвал его Серый «отец Арсений». Прочел про себя молитву, крестное знамение мысленно положил и стал собирать сушняк.

— Больше бери, о. Арсений! Больше!

Нагнулся Серый и сам стал собирать сушняк и понес охапку следом за о. Арсением в барак. Положили сушняк около печей, а о. Арсений поклонился Серому и сказал: «Спаси тебя Бог».

Серый не ответил и вышел из барака. О. Арсений разложил в печах растопку стоечкой, обложил дровами, поджег, и огонь быстро охватил поленья в первой печи, успевай только забрасывай дрова носил их к печам, убирал барак, вытирал столы и опять носил дрова.

Время подходило к трем часам дня, печи раскалились, в бараке постепенно теплело, запахи от этого стали резче, но от тепла барак стал близким и уютным.

Несколько раз в барак приходил надзиратель, и, как всегда, первыми его словами была озлобленная матерная ругань и угрозы, а при одном заходе в барак, увидев на полу щепку, ударил о. Арсения по голове, но не сильно.

Ношение дров и беспрерывное подбрасывание их в печи, совершенно обессилили о. Арсения, в голове шумело от слабости и усталости, сердце билось, дыхания не хватало, ноги ослабли и с трудом держали худое и усталое тело.

— Господи, Господи! Не остави меня, — шептал о. Арсений, сгибаясь под тяжестью носимых дров.

Больные

В бараке о. Арсений был не один, оставались еще трое заключенных. Двое тяжело болели, а третий филонил, нарочно повредив себе руку топором. Валяясь на нарах, он временами засыпал и, просыпаясь, кричал:

— Топи, старый хрен, а то холодно. Слезу, в рыло дам.— И тут же опять засыпал.

Другие двое лежали в тяжелом состоянии, в больницу не взяли, переполнена. Часов в 12 зашел в барак фельдшер из вольнонаемных и, посмотрев на больных, не прикасаясь к ним, громко сказал, обращаясь к о. Арсению:

— Дойдут скоро, мрут сейчас много. Холода.

Говорил не стесняясь, что двое лежат и слышат его. Да и почему было не говорить, все равно рано или поздно должны они были умереть в «особом». Подойдя к третьему больному, повредившему себе руку и сейчас демонстративно стонавшему, сказал:

— Не играй придурка, завтра тебе на работу, а пересолишь, за членовредительство в карцере отдохнешь.

В перерывах между рубкой дров, топкой печей и уборкой барака о. Арсений успевал подходить к двум тяжелобольным и чем можно помогать.

— Господи, Иисусе Христе. Помоги им, исцели. Яви милость Твою, дай дожить им до воли,— беспрерывно шептал он, поправляя грубый тюфяк или прикрывая больных. Время от времени давал воду и лекарство, которое фельдшер небрежно бросил больным. В «особом» основным лекарством

считали аспирин, которым лечили от всех болезней.

Одному, наиболее тяжелому больному и физически слабому, о. Арсений дал кусочек черного хлеба от своего пайка. Кусок составлял четверть дневного пайка. Размочив хлеб в воде, стал кормить больного, тот открыл глаза и, с удивлением посмотрев на о. Арсения, оттолкнул его руку, но о. Арсений шепотом сказал:

— Ешьте, ешьте себе с Богом.

Больной, глотая хлеб, произнес со злобой:

— Ну тебя с Богом, чего тебе от меня надо? Чего лезешь? Думаешь, сдохну, что-нибудь от меня достанется? Нет у меня ничего, не крутись.

О. Арсений ничего не ответил, заботливо закрыл его и, подойдя к другому больному, помог ему перевернуться на другой бок, а потом занялся делами барака.

Растопку, что зал Серый, хоронить не стал, а положил на виду у одной из печей. Чего убирать-то, вчера убрал, а получилось плохо, а сегодня Бог помог. Собрался было нарубить дров на завтра, вышел из барака, но потом решил, что все равно истопники других бараков растащат до проверки.

Печи накалились, и от них несло жаром. О. Арсений радовался, придут люди с мороза, отогреются, отдохнут. Во время этих размышлений вошел надзиратель, на вид ему можно было дать лет 30. Всегда веселый, улыбающийся, радостный, прозванный за это заключенными Веселым.

— Ты что, поп, барак натопил, словно баню? В карцер захотел? Дрова народные для врагов народа переводишь. Я тебе, шаман, покажу. — И, засмеявшись, ударил наотмашь по лицу и, улыбаясь, вышел.

Вытирая кровь, о. Арсений повторял слова молитвы:

— Господи, не остави меня грешного, помилуй.

Филонивший Федька сказал:

— Ловко он, подлюга, тебя в морду двинул, с весельем, а за что, он и сам не знает.

Через час Веселый опять появился в бараке и, войдя, закричал:

— Проверка. Встать!

С нар соскочил Федька, а о. Арсений вытянулся с метлой, которой только что подметал барак.

— Кто еще в бараке? — кричал надзиратель, хотя уже утром производил проверку и знал, кто оставался.

— Двое освобожденных лежачих больных и третий на выписке, ходячий.

Веселый пошел по коридору, образуемому нарами и, увидев двух лежащих больных, понял, что встать они не могут, но для вида раскричался, однако подойти побоялся, а вдруг зараза какая.

— Ты смотри, поп, чтобы порядок был, скоро позовут куда надо, там запоешь,— и скоро вышел, ругаясь скверно.

День был на исходе, быстро темнело, и заключенные вот-вот должны были прийти с работы. Приходили обмерзшие, усталые, валились на нары. С приходом заключенных барак наполнился

холодом, сыростью, злобной руганью, выкриками, угрозами.

Через полчаса после прихода водили на обед. Время обеда для многих заключенных было временем страдания. Уголовники отнимали все, что могли, и били при этом нещадно; те, кто был слаб и не мог постоять за себя, часто лишались еды.

Политических в бараке было значительно больше, чем уголовников, однако уголовники держали всех, а особенно политических, в жестоком режиме. Ежедневно какая-то часть политических лишалась пайка, что являлось невыносимым страданием. Усталые, голодные, вечно продрогшие, заключенные постоянно мечтали о еде как о чем-то единственно радостном в этой обстановке. Во время обеда люди отогревались и частично утоляли чувство голода. Обед был жалким, порции ничтожны, продукты полугнилые и почему-то часто пахли керосином. И этот скудный обед, который не восстанавливал силы и был рассчитан на медленное истощение заключенных, не каждый день доставался политическим.

О. Арсений, попав в «особый», часто лишался обеда, но никогда не роптал. Останется без обеда, придет в барак, ляжет на нары и начинает молиться. Вначале кружилась голова, знобило от холода и голода, сбивались мысли, но прочитав вечерню, утреню, акафист Божией Матери, Св. Николаю и своему св. Арсению, помянув своих духовных детей, всех усопших, кого сохранила память, и только, бывало, всю ночь молится, а утром встанет и сила есть, как будто спал и ел.

Духовных детей у о. Арсения было много и на воле, и в лагерях, и душа его болела за них. Раньше в простых лагерях получал иногда письма, а когда перевели в «особый», все кончилось. Духовные дети о. Арсения считали, что он умер. Обращались в органы, а там ответ один, если переведен в лагерь особого режима, — «не значится».

...Было темно, колонны заключенных одна за другой входили в зону и растекались по баракам. Бараки оживали. В бараке о. Арсения сегодня было жарко, ребята входили злые, усталые, но, входя в теплый барак, радовались и ругались больше для порядка. О. Арсения не били и при обеде пайку не отняли, то ли случайно, то ли других шарашили. Двум лежащим больным досталась от обеда только половина пайкового хлеба, да о. Арсений от себя кусок прогорклой трески спрятал за пазуху. Придя в барак, о. Арсений стал кормить больных: нагрел воду с хвоей, добавил аспирин и обоих напоил. Хлеб и треску пополам разделил и дал каждому. Дней через пять пошли больные на поправку, стало видно, что останутся живы, но лежали еще недвижны и шагу сделать не могли.

Все это время о. Арсений урывками и ночами ухаживал за ними и делился частью своего пайка. Что это за люди, о. Арсений не знал. Попали в барак больными с этапа, почти в беспамятстве,

и поэтому никто их толком не знал.

Заботы о. Арсения больные принимали холодно, но обойтись без него не могли, и если бы не он, то давно бы им лежать в мерзлотной земле. О себе они не рассказывали, а о. Арсений и не спрашивал, по лагерным обычаям не полагалось, да и ни к чему это было. Сколько таких людей видел он по лагерям, не счесть. Бывало, выходит больного, расстанется и никогда больше не увидит. Да разве всех запомнишь!

Как-то о. Арсений узнал, что одного больного зовут Сазиков Иван Александрович. Молча подавая Сазикову, о. Арсений молился по своему обыкновению, и губы его беззвучно двигались, шепча молитву. Заметив это, Иван Александрович проговорил:

— Молишься, папаша! Грехи замаливаешь и нам поэтому помогаешь. Бога боишься! А ты Его видел?

Посмотрел на Сазикова о. Арсений и с удивлением произнес:

— Как же не видел? Он здесь, посреди нас, и соединяет сейчас нас с вами.

— Да что ты, поп, говоришь, в этом бараке — и Бог! — и засмеялся.

Посмотрел о. Арсений на Сазикова и тихо сказал:

— Да! Вижу Его присутствие, вижу, что душа ваша хоть и черна от греха и покрыта коростой злодеяний, но будет в ней место и свету. Придет для тебя, Серафим, свет, и святой твой Серафим Саровский тебя не оставит.

Исказилось лицо Сазикова, задрожал весь и с ненавистью прошептал:

— Пришибу, поп, все равно пришибу. Знаешь много, только понять не могу, откуда?

О. Арсений повернулся и пошел, повторяя про себя:

— Господи, помилуй меня, грешного.

Время шло, работы надо было сделать много, и, совершая ее, читал о. Арсений акафисты, правила про себя, по памяти, вечерню, утреню, иерейское правило.

Второй больной был из репрессированных, и стал он постепенно поправляться. История его была самая обыкновенная, таких историй в лагере были тысячи, все одна на другую похожи. Революцию Октябрьскую «делал», член партии с 17 года, Ленина знал, армией командовал в 1920 году, в ЧК занимал большой пост, приговоры «тройки» утверждал, а в последнее время в НКВД работал членом коллегии, но теперь его посадили в лагерь «особого» назначения умирать. В бараке репрессированные разные были, одни за глупое слово умирали, большинство попали по ложным доносам, другие за веру, третьих — идейных коммунистов, кому-то надо было убрать, так как стояли поперек дороги. Всем им, сюда попавшим, необходимо было рано или поздно умереть в «особом». Всем!

Был «идейным» и Авсеенков Александр Павлович. Как фамилию эту назвали, сразу вспомнил о. Арсений этого человека. Часто упоминалась эта фамилия в газетах, да и приговор о. Арсению

утверждал Александр Павлович. Когда постановление «тройки» о расстреле о. Арсения за «контрреволюционную деятельность» и о замене расстрела 15 годами «лагеря особого режима» зачитывали, то фамилия эта запомнилась.

Авсеенков был уже в летах, с виду около сорока-пятидесяти лет, но лагерная жизнь наложила на него тяжелый отпечаток. В лагере ему было труднее многих. Голод, изнурительная работа, избиения, постоянная близость смерти — бледнели перед сознанием, что вчера еще он сам посылал сюда людей и искренне верил тогда, подписывая приговоры, что посланные в лагерь или приговоренные к расстрелу люди были действительно враги народа. Попав в лагерь и соприкоснувшись с заключенными, понял, что совершил дело страшное, чудовищное, послав на смерть десятки и сотни тысяч невинных людей. Не видя с высоты своей должности положения вещей и событий, утерял правду, верил протоколам допросов, льстивым словам подчиненных, сухим директивам, а связь с живыми людьми и жизнью утерял. Мучился безмерно, переживал, но ничего решить для себя Авсеенков не мог. Сознание духовной опустошенности и ущербности сжигало его. Был молчалив, делился с людьми последним, уголовников и начальства не боялся. В гневе был страшен, но головы не терял, за обиженных вступался, за что и попадал часто в карцер.

Привязался Авсеенков к о. Арсению, полюбил его за доброту и отзывчивость. Бывало, часто говорил о. Арсению:

— Душа-человек вы, о. Арсений (в бараке большинство заключенных звали о. Арсения о. Арсений), — вижу это, но коммунист я, а вы служитель культа, священник. Взгляды у нас разные. По идее я должен бороться с вами, так сказать, идеологически.

О. Арсений, бывало, улыбнется и скажет:

— Э, батенька! Чего захотели, бороться. Вот боролись, боролись, а лагерь-то вас с вашей идеологией взял да и проглотил, а моя вера Христова и там на воле была, и здесь со мною. Бог всюду один и всем людям помогает. Верю, что и вам поможет!

А как-то раз сказал:

— Мы с вами, Александр Павлович, старые знакомые. Господь нас давно вместе свел и встречу нам в лагере уготовил. Знаете, Александр Павлович, в 1933 году, когда дела церковные круто решались, брата нашего — верующих — сотнями тысяч высылали, церквей видимо-невидимо позакрывали, так я тогда по вашему ведомству первый раз проходил. Кого куда? Первый приговор вы мне утверждали в 1939 году, опять же по вашей «епархии». Только одну работу в печать сдал, взяли меня по второму разу и сразу же приговорили к расстрелу. Спасибо вам, расстрел «особым» заменили. Вот так и живу по лагерям и ссылкам, все вас дожидался, ну, наконец, и встретились. Бога ради не подумайте, что я хочу упрекнуть вас в чем-то, во всем воля Божия, и моя жизнь в общем океане жизни — капля воды, кото-

рую вы и запомнить, естественно, в тысячном списке приговоренных не могли. Одному Господу все известно. Судьба людей в Его руках.

Попик

Жизнь и работа в лагере нечеловеческие, страшные. Каждый день к смерти приближает и часто года вольной жизни стоит, но, зная это, не хотели заключенные, не желали умирать духовно, пытались внутренне бороться за жизнь, сохранить дух, хотя это и не всегда удавалось. Говорили, спорили о науке, жизни, религии, иногда читали лекции об искусстве, научных открытиях, устраивали маленькие литературные вечера, вспоминали, читали стихи. На общем фоне жестокости, грубости и сознания близкой неизбежной смерти, голода, крайней степени истощения и постоянного присутствия уголовников это было поразительно. «Особый» жил страхом, насилием голодом, но заключенные стремились найти друг в друге поддержку, и это помогало жить. Авсеенков, наблюдая жизнь заключенных, пришел и выводу, что в среднем больше 2-х лет редко кто выживал в «особом», и думал, а сколько еще осталось ему?

В зависимости от волны арестов в барак попадали инженеры, военные, церковники, ученые, артисты, колхозники, писатели, агрономы, врачи, и тогда в бараке невольно возникали «землячества», состоящие из людей этих профессий. Все было забыто, но тем не менее можно было видеть желание этих людей не забыть своего прошлого, своей профессии. Все вспоминалось в совместных разговорах. Особенно жаркими были споры, возникающие по любому поводу, люди горячились, старались доказать только свое, при этом каждый говорил так, как будто от этого доказательства зависит исход любых событий и решений.

О. Арсений в спорах не участвовал, ни к кому не примыкал, был со всеми общителен и ровен. Начнется спор, а о. Арсений отойдет к своему лежаку, встанет или сядет на него и начнет про себя молиться. Интеллигенция барака относилась к о. Арсению снисходительно. Одно слово «попик», да еще при том весьма серенький, добрый, услужливый, но культуры внутренней почти никакой нет, потому так и в Бога верит, другого-то ничего нет за душой. Такое мнение было у большинства.

Случилось как-то, что собралось в бараке человек 10—12 художников, писателей, искусствоведов, артистов. Придут, бывало, с работ, в «столовую» сбегают, отдохнут, пройдет проверка, запрут барак, ну и начинаются разговоры: о театре, литературе, медицине, искусстве. Оживятся, спорят. Как-то зашел разговор о древней русской живописи и архитектуре, и один заключенный, высокого роста, сохранивший даже в лагере барственную осанку и манеры, с большим апломбом и жаром рассуждал об этих предметах. Соб-

равшиеся с большим интересом слушали его.

Говорил «высокий» веско, с знанием дела и удивительно утвердительно. Во время этого разговора проходил мимо собравшихся о. Арсений, а «высокий» (как оказалось впоследствии, искусствовед и профессор) снисходительно обратился к о. Арсению:

— Вы, батюшка, очень верующий и духовного звания, так не скажете ли нам, как вы оцениваете связь православия с древней русской живописью и архитектурой и есть ли какие связи?— сказал и улыбнулся.

Все окружающие засмеялись. Авсеенков, сидящий невдалеке и слышавший этот разговор, тоже невольно улыбнулся. Таким нелепым показался всем этот разговор. Кто пожалел его, а кто и захотел посмеяться. Все отлично понимали, что этот простенький «попик», каким был о. Арсений, ничего не ответит, не сможет ответить, так как ничего не знает. Понимали, что вопрос издевательский.

О. Арсений куда-то шел, остановился, выслушал вопрос, заметил усмешки и сказал:

— Сейчас, я сейчас, только вот дело доделаю,—и побежал дальше.

— А попик-то не дурак, от срама сбежал.

— Да русское духовенство всегда было некультурным,— бросил кто-то фразу.

Минут через 10 к группе интеллигентов подошел о. Арсений и, прервав лекцию «высокого», сказал:

— Кончил я дела свои, прошу вас повторить вопрос.

Профессор посмотрел на о. Арсения так, как он, вероятно, оглядывал невежд, неучей, студентов, и размеренно произнес:

— Вопрос, батюшка, довольно простой, но интересный. Как вы, представители русского духовенства, оцениваете влияние православия на древнерусское изобразительное искусство и архитектуру? Хотелось бы услышать о сокровищах Суздаля, Ростова Великого, Переяславля Залесского в Ферапонтовом монастыре, возможно, слышали. Иконы Владимирской Божией Матери и Троицу Рублева, вероятно, по церковным литографиям знаете, так вот и скажите, как оцениваете вы все это с точки зрения связей?

Вопрос был профессорский, и все это поняли, и у большинства мелькнула мысль, что не надо было задавать его такому простецкому, но доброму попику. Ясно, что не ответит, по одному виду определишь.

О. Арсений как-то выпрямился, внешне даже изменился и, взглянув на профессора, произнес:

— Взгляды на влияние православия на русское изобразительное искусство и архитектуру существуют различные. Много по этому поводу высказано разных мыслей, и вы, профессор, по этому поводу много писали и говорили, но ряд ваших положений глубоко ошибочен, противоречив и, откровенно говоря, конъюнктурен. То, что вы сейчас говорили, значительно ближе к истине, чем то, что вы так пространно излагали в статьях ваших книг.

Вы считаете, что русское изобразительное искусство развивалось только на народной основе, почти отрицаете влияние на него православия и в основном придерживаетесь мнения, что только экономические социальные факторы, а не духовное начало русского народа и благотворное влияние христианства оказали на него влияние — на живопись и архитектуру. Лично я, профессор, держусь другого мнения о путях развития древней русской живописи и архитектуры, так как считаю, что влияние православия на русский народ и его культуру было решающим фактором, начиная с IX по XVIII век.

Восприняв в IX веке Византийскую культуру, русское духовенство, русское иночество понесло, передало ее в виде книг, икон, первых образцов возведенных греками храмов, строя богослужений, описания житий святых — русскому народу, и это все оказало решающее влияние на дальнейшее развитие всей русской культуры.

Вы упомянули икону Владимирской Божией Матери, а разве этот образ, как и другие произведения живописи, пришедшие к нам от греков, не явились той основой, на которой в дальнейшем расцвела иконопись и живопись. Любое творение русской иконописной школы неразрывно связано с душой художника-христианина, с душой верующего, прибегающего к иконе, как к духовному символическому изображению Господа, Матери Божией или святых Его. Русский человек приходил к иконе не как к идолу, а как к символу, в котором видел, подразумевал и представлял духовно и внутренне образ, запечатленный в виде изображения.

В этом существенном символе видел православный христианин образ Того, к Кому прибегала душа его в горестной или радостной молитве. Русский иконописец с молитвой и постом запечатлевал образ Господа, Божией Матери и святых, и недаром русский народ хранит много прекрасных и дивных преданий о том, как создавались иконы, и верит, что рукою художника-иконописца водил ангел Господень, а не сам иконописец. Древний русский иконописец никогда не подписывал своим именем икон, ибо считал, что не рука, а душа его с благословения Божия создавала образ, а вы во всем видите влияние социальных и экономических предпосылок. Взгляните на нашу древнюю икону Божией Матери и западную Мадонну, и вам сразу бросится в глаза огромная разница. В наших иконах духовный символ, дух веры, знамение православия; в иконах запада дама-женщина — одухотворенная, полная земной красоты, но в ней не чувствуется Божественная сила и благодать, это только женщина. Взгляните в глаза Владимирской Божией Матери — и вы прочтете в них величайшую силу духа, веру в безграничное милосердие Божие к людям, надежду на спасение.

О. Арсений воодушевился, както весь переменился, распрямился и говорил ясно, отчетливо, и необыкновенно выразительно. Назы-

вая иконы, давая пояснения, он раскрыл душу древней русской иконописи и, перейдя к архитектуре, на примерах Ростова Великого, Суздаля, Владимира, Углича и Москвы, показал связи ее с православием.

Ответ свой о. Арсений закончил словами:

— Строя церкви, русский человек во славу Бога заставил петь камень, заставил его рассказать христианину о Боге и прославлять Бога.

Говорил о. Арсений часа полтора, а слушавшая его группа интеллигентов замерла. Профессор потерял свой полунасмешливый и барственный вид, съежился както весь и спросил:

— Простите! Откуда вы знаете труды мои и русскую древнюю живопись и архитектуру? Где изучали? Ведь вы священник?

— Любить надо Родину свою и знать ее. Надо, как вы изволили сказать о духовенстве, чтобы поп понимал душу русского искусства и, будучи пастырем душ человеческих, умел показать им правду и истину в их незапятнанном виде, ибо, профессор, многие люди, и вы в том числе, облекают измышлением и ложью самое святое, что есть у человека. Делается это ради выгоды или ради политических, временно возникающих установок и взглядов, ради социального заказа.

Профессор еще более переменился и спросил.

— Кто вы? Фамилия ваша?

— В миру был Стрельцов Петр Андреевич, а сейчас о. Арсений, как вы, заключенный «особого».

Профессор подался вперед и с трудом повторил:

— Петр Андреевич, извините меня, извините. Не думал, не мог предполагать, что известнейший искусствовед, автор многих исследований и монографий по истории древней живописи и архитектуры, учитель многих и многих встретитсясо мною здесь под видом священника, а я задам ему глупый вопрос. Несколько лет не было слышно о вас, только статьи и книги рассказывали ваши мысли, и я еще год тому назад вступил с вами в полемику, лично не зная вас. Как вы, известный ученый, стали духовным лицом?

— Потому и стал о. Арсением, что вижу и ощущаю Бога во всем, и, будучи о. Арсением, особенно понял, что попу надо много знать. А если говорить о русских попах, то вы должны знать, что они были той силой, которая собрала в XIV и XV веках русское государство воедино и помогла русскому народу сбросить татарское иго. Действительно, в XVI—XVII веках стало морально падать русское духовенство и только отдельные светочи русской церкви озаряли ее небосклон, а до этого было оно главной силой Руси.

Сказал и пошел, а профессор и все стоящие, в том числе Авсеенков, остались стоять пораженные и удивленные.

— Вот тебе и попик блаженненький, товарищи! — произнес кто-то из слушавших, и все стали молча расходиться.

Авсеенков заметил, что с этого момента интеллигенция барака и лагеря стала относиться к о. Ар-

сению совершенно по-другому. Понятие Бог, наука, интеллигент для многих стало сближаться.

Авсеенков, бывший старым, идейным коммунистом и почти фанатично веривший в идеи марксизма, в первый год жизни в «особом» пытался жить обособленно от окружающих его людей, но потом сблизился с некоторыми из них, но, увидя, что мысли бывших коммунистов в основном были направлены только на желание вернуться к прежней удобной жизни и совершенно были свободны от идеи добиться справедливости и бороться против произвола Сталина, отошел от этих людей. Свою прежнюю жизнь Авсеенков пересмотрел и понял, что давно растерял идеи, их заменили приказы, стандартные, прописные истины и циркуляры. Связь с живым народом он утерял, доклады и газетные статьи — вот что заменило ему живого человека.

Соприкасаясь с заключенными, увидел Авсеенков жизнь подлинную, не выдуманную, настоящую. Авсеенков тянулся к о. Арсению. Его необычное отношение ко всем без различия людям, сердечность, доброта, постоянно оказываемая всем помощь в любых ее формах и, как теперь он узнал, глубокая интеллигентность и образованность покорили его. Беспредельная вера в Бога, постоянная молитва вначале отталкивали его от о. Арсения, но в то же время что-то необъяснимое притягивало его. С о. Арсением чувствовал он себя хорошо: трудности, тоска, лагерный гнет сглаживались. Почему? Он не понимал.

Сазиков Иван Александрович оказался старым и известным уголовником. Был он человек властный, жестокий, уголовную братию знал хорошо и скоро подчинил себе весь барак. Слово его было законом, боялись его, но в дела барака вмешивался он мало и как-то стороной.

В первые месяцы после своей болезни отдалился он от о. Арсения и вроде бы замечать не стал, но, повредив как-то ногу, пролежал 5 дней в бараке, рана стала загнивать, и создалась опасность потери ноги. И вторично выходил Сазикова о. Арсений.

Попробовал Сазиков дать о. Арсению подачку, но о. Арсений улыбнулся и сказал:

—Не ради вознаграждения вам делаю, а ради вас, человека, ради вас самого.

Помягчел Сазиков к о. Арсению, мимоходом вроде бы и о своей жизни рассказал, а однажды вдруг сказал:

— Не верю я людям, а попам, говорят, и совсем верить нельзя, а вам, Петр Андреевич, верю. Не продадите. В Боге своем живете, добро делаете не для своей выгоды, а ради людей. Мать у меня такая же была! — сказал и пошел.

*«Прекратите сие...»**

Холода стояли страшные, заключенные сильно мерзли на работах, обмораживались, приходя в барак после работы буквально валились с ног. Умирало много, барак постоянно обновлялся.

Трудно было всем, но особенно доставалось политическим. Все вставали, уходили на работу и приходили с работы озлобленные и вечно голодные, а тут еще при раздаче хлеба уголовники два дня подряд отнимали у политических весь паек.

На второй день к вечеру, после кражи и после закрытия барака, произошла в бараке драка не на жизнь, а на смерть между уголовниками и политическими из-за хлеба.

Во главе политических встал Авсеенков, несколько бывших военных и человек пять из интеллигенции, а у уголовников Иван Карий — отпетый бандит, хулиган и многократный убийца. В лагере убил не одного человека, любил играть в карты на жизнь человеческую.

Политические требуют справедливости и порядка, а уголовники со смехом отвечают: «Брали и брать будем»,— прекрасно понимая, что лагерная администрация не встанет на защиту политических, а молчаливо одобрит эти кражи.

Сперва началась кулачная драка, а потом в ход пошли поленья, а некоторые уголовники достали ножи. В лагере они запрещались, их постоянно искали, беспрерывно обыскивали заключенных, но почти никогда ножи не находили. Порезали одного военного, нескольким политическим тяжело повредили головы. Уголовники действовали сообща, а основная масса политических только кричала, боясь помочь своим. Уголовники били жестоко, одолевали политических, кругом лилась кровь. О. Арсений бросился к Сазикову и стал просить: «Помогите! Помогите, Иван Александрович! Режут людей. Кругом кровь, Господом Богом прошу вас, остановите! Вас послушают!»

Сазиков засмеялся и сказал:

— Меня-то послушают, ты вот своим Богом помоги! Смотри, твоего Авсеенкова Иван Карий сейчас прирежет. Двоих-то уже уложил. Бог твой, поп, ух как далек!

Смотрит о. Арсений: кровь на людях, крики, ругань, стоны, и так все это душу переполнило болью за страдания людей, что, подняв руки свои, он пошел в самую гущу свалки и голосом ясным и громким сказал:

— Именем Господа повелеваю, прекратите сие! Уймитесь! — и, положив на всех крестное знамение, тихо произнес:

— Помогите раненым,— и пошел к своим нарам.

Стоит весь какой-то озаренный и словно ничего не слышит и не

---

* Записано по воспоминаниям Авсеенкова Александра Павловича, по рассказам Сазикова Ивана Александровича и ряда других людей, бывших в то время в лагере.

видит. Не слышит, как кладут у выхода из барака мертвых, помогают раненым. Стоит и, уйдя в себя, молится.

Тихо стало в бараке, только слышно, как люди укладываются на нары и стонет тяжелораненый. Сазиков подошел к о. Арсению и сказал:

— Простите меня, о. Арсений, усомнился я в Боге-то, а сейчас вижу — есть Он. Страшно даже мне. Великая сила дана тому, кто верит в Него. Простите меня, что смеялся над вами!

Дня через два, придя с работы, подошел Авсеенков к о. Арсению и сказал:

— Спасибо вам! Спасли вы меня, спасли! Бесконечно вы в Бога верите, я, смотря на вас, тоже начинаю понимать, что Он есть.

Жизнь в бараке шла размеренно. Одни заключенные приходили в барак и, прожив в нем недолго, ложились в мерзлую землю, другие приходили им на смену. Воровство хлеба прекратилось, а если и случалось, то уголовники крепко учили своих за это.

О. Арсений работал по бараку, сильно уставал, истощение организма, как и у остальных заключенных, было предельным, но держался и духом не падал.

В бараке, населенном самыми разными людьми, разными по своим характерам, жизни и настроениям, и при этом обреченными на смерть, людьми измученными, озлобленными и ожесточенными, о. Арсений стал для очень многих связующим и сближающим началом, смягчающим жестокость лагерной жизни.

Добротой своей, теплым ласковым словом согревал он многим душу, и был ли то верующий, коммунист, уголовник или какой-либо другой заключенный, для каждого из них находил он необходимое только этому человеку слово, и оно проникало в душу, помогало жить, заставляло надеяться на лучшее, вело к совершению добра.

Как-то произошло незаметно, что Сазиков и Авсеенков сблизились. Казалось, что общего между уголовником и бывшим членом коллегии? Их невидимо, можно сказать, соединял о. Арсений.

*Вызов майора**

Надзиратель Веселый, когда барак бывал пуст и о. Арсений топил печи или убирал барак, стал часто проводить «проверку барака» и придирался ко всему, а в этот день, зайдя раза три, беспрерывно матерился и ударил его по лицу, грозился и пугал, а к вечеру о. Арсений был вызван в «особый отдел».

Вызов к вечеру считался плохим вызовом, каким-то недобрым признаком. Говорили, что начальником особого отдела назначили нового майора. «Особый отдел» в лагере «особого режима» был

* Записано по рассказам Авсеенкова, офицера Зорина, Глебова, Сазикова.

страшен заключенным. Вызовы в «особый отдел» всегда сопровождались неприятностями: снимали допросы по какому-либо дополнительному делу, заставляли стать «сексотом» — «секретным сотрудником» и за отказ били нещадно. При допросах тоже били. Единственно, когда не били — при зачитывании постановления об увеличении срока заключения.

Заключенные боялись «особого отдела», работало в нем человек 20 сотрудников — в основном проштрафившиеся где-то на службе в органах и переведенные служить в отдаленные лагеря для известного рода «исправления». Было много и сильно пьющих. Допросы вести умели, били с умением, «признаешься» во всем.

О. Арсения «принимал» лейтенант лет 27. Началось, как всегда, с шаблонных вопросов: имя, отчество, фамилия, статья, по которой осужден, крики: «все знаем, давай рассказывай», угрозы, после чего предъявлялась главная цель вызова:

— Давай показания о своей агитации в лагере.

Ответив на стандартные вопросы, о. Арсений замолчал и стал молиться. Лейтенант гнусно матерился, бил кулаком по столу, грозил, а потом, встав, сказал:

— Сейчас через майора пропустим, заговоришь.— И, выругавшись, вышел.

Минут через 10 вернулся и повел к майору — начальнику «особого отдела». О. Арсений, зная лагерные порядки, понял, что дело его плохо.

— Оставьте нас, — приказал майор, взял дело и протокол допроса. Лейтенант вышел.

Майор встал, плотно закрыл дверь кабинета, вернулся, сел в кресло и стал читать дело о. Арсения.

О. Арсений стоял и молился:

— Господи, помилуй меня, грешного.

Майор посмотрел дело и вдруг неожиданно, простым доброжелательным голосом сказал:

— Садитесь, Петр Андреевич! Это я приказал вас вызвать.

О. Арсений сел, повторяя про себя: «Господи, помилуй, меня грешного! Уповаю на Тебя!»— и при этом подумал: «Сейчас начнется».

Майор помолчал, полистал еще раз дело, посмотрел на о. Арсения и на вклеенное в дело фото, отстегнул пуговицу верхнего кармана и достал сложенный листок бумаги.

— Возьмите, записка вам от Веры Даниловны, жива и здорова. Прочтите.

«Дорогой о. Арсений, милость Господа не имеет пределов. Он сохранил Вас, ничему не удивляйтесь. Доверьтесь. Молитесь о нас грешных. Бог многих сохранил из нас. Молите Бога о нас. Вера».

Почерк был Веры Даниловны, сестры Веры, одной из самых близких дочерей о. Арсения. Сомнений в том, что писала именно она, быть не могло, так как когда-то условились, что при писании особо важных писем в слове «молите» одна из букв делалась измененной.

— Господи! Благодарю, что дал узнать мне о детях моих. Благо-

дарю, Господи, за милость!

Майор взял записку из рук о. Арсения и сжег. Оба молчали. Отец Арсений — от волнения и неожиданности, а также от непонятности происходящего. Майор молчал, понимая состояние о. Арсения, понимая, что он ошеломлен. Смотря на о. Арсения, майор видел перед собой измученного старика с небольшой бородкой, обритого наголо, в старой и залатанной телогрейке и ватных брюках.

Из лежащего перед ним дела майор знал, что прошлое у старика большое: «выходец» из семьи известного ученого, окончил Московский университет, известен в Союзе и за рубежом как блестящий искусствовед, автор глубоких исследований по древней русской живописи и архитектуре, и одновременно иеросхимонах, руководитель большой и сильной общины, которая, как предполагали органы, не распалась даже после его ареста.

И этот старик, живя на свободе, мог совмещать глубокую веру с наукой, и в книгах своих прославлял красоту Родины и призывал любить ее. Сейчас майор видел, что все это умерло в сидящем перед ним человеке, он растоптан и сломлен. Смерть скоро придет к нему, она не заставит себя ждать.

Просьба жены, которую майор беспредельно любил и всегда прислушивался к ее советам, а также просьба Веры Даниловны, оказавшей в прошлом немалую помощь его жене и дочери, побудили майора взяться за это рискованное поручение.

Веда Даниловна была врач, и случилось так, что жизнь самых близких майору людей сохранилась благодаря самоотверженной и бескорыстной ее помощи. В условиях взаимных доносов и слежки помощь со стороны майора была для него самого крайне опасной, но была еще одна причина, побудившая его связаться в лагере с о. Арсением.

О. Арсений молился и, казалось, так ушел в себя, что не видел майора и кабинета, в котором находился, забыл обо всем, но вдруг, подняв глаза и смотря на майора, спокойно сказал:

— Благодарю за весть добрую, именем Господа благодарю.

И майор, взглянув в глаза о. Арсению, понял, что не старик перед ним изможденный, а какой-то особый человек, необычный, и годы лагерной жизни не согнули, а увеличили силу его духа, ибо глаза о. Арсения излучали силу и свет, никогда до того не виданные майором, и в силе и свете была бесконечная доброта и великое знание души человеческой.

Майор понял, почувствовал, что взглянет о. Арсений на любого человека, скажет ему и будет так, как хочет о. Арсений. Повелит — и любые отворятся ворота и спадут запоры. Самое сокровенное в душе человеческой видят эти глаза и читают мысль человеческую. Понял также майор, что не будет расспрашивать о. Арсений, почему он, вновь назначенный начальник «особого отдела» лагеря, передал ему записку от Веры Даниловны.

О. Арсений смотрел куда-то вверх мимо майора и, смотря,

встал. Встал, перекрестился несколько раз, поклонился кому-то, и, глядя на него, встал майор, ибо предстал перед ним в тот момент не старик в рваной телогрейке, а иерей в полном облачении церковном, который совершил таинство молитвы перед Богом. Майор вздрогнул от неожиданности и непонятности происходящего, что-то далекое, забытое пришло ему на память — время, когда мать водила его в старую деревенскую церковь маленьким мальчиком молиться в большие праздники, и что-то мягкое и доброе охватило его душу.

О. Арсений сел, и опять перед майором был изможденный старик, но глаза его по-прежнему излучали свет.

— Петр Андреевич! Послали работать в лагерь. Узнал, что вы здесь, был в Москве, сказал Вере Даниловне и взялся передать вам записку и, кроме того, прошу вас помочь одному человеку, живет с вами в бараке,— и майор замялся.

— Понял я, понял вас! Александру Павловичу помогу. Все передам. Понимаю, что трудно вам здесь, Сергей Петрович, не привыкли к новой работе. Трудно привыкнуть. Что здесь делается? Но будьте милостивы в меру сил своих и возможностей, это-то и будет большой помощью заключенным.

— Да, трудно! Очень трудно сейчас всюду, — произнес майор, — вот поэтому я здесь и оказался. Сердце кровью обливается, когда смотришь, что делается кругом. Слежка, доносы друг на друга, секретные инструкции одна страшней другой. Делаешь, но ничтожно мало. Стыдно сказать, но боюсь. Надзиратель Пупков доносит на вас все время, явно не любит. Уберем его, поставим приличного, другого. Тяжело вам, Петр Андреевич, тяжело! Помочь, как уже говорил, могу мало, но стараться буду. Вызывать буду через лейтенанта Маркова, это тот, что вас допрашивал, человек трудный, подозрительный, но на этом я его возьму. Предложу иметь за вами особый надзор и после своих допросов ко мне направлять. Не беспокойтесь, особый надзор на ваших делах не отразится и в дело личное не будет внесен.

Александру Павловичу скажите, что генерал Абросимов Сергей Петрович, разжалованный теперь в майоры, здесь. Помнят Александра Павловича в верхах многие, но помочь трудно. Стараются, и не один заход к главному делали, но безрезультатно. Главный отвечает: «Пусть посидит», а заместитель пытается уничтожить. Много знает Александр Павлович. Идейный, прямой, а таких не любят. Давали указание убрать, но главный санкции не дал. Пытаются окольными путями через уголовников действовать. Уголовника Ивана Карего толкают на это. Передайте Александру Павловичу записку от жены, это его поддержит. Помогите ему. Пусть остерегается Савушкина, бывшего секретаря обкома, доносы на него строчит, тоже в вашем бараке живет. Протоколы вам надо подписать, идите, напишу при следующей встрече.

Улыбнулся о. Арсений и, взяв чистый лист, подписал: «Впишите, что надо».

Майор встал, подошел к о. Арсению и, взяв его за плечи, почему-то неожиданно сказал:

— Помните меня.

Полный впечатлений и переживаний, беспрерывно славя Господа, усталый от всего пережитого, вошел о. Арсений в свой барак и лег на нары. Ждали его с нетерпением, мог и не вернуться. Лежа читал молитвы и псалмы, благодарил Бога и повторял:

— Господи, славлю дела Твои, благодарю, что оказал мне великую милость Твою. Помилуй мя, Боже!

В лагерях был заведен порядок: вызывали заключенного в «особый отдел», пришел оттуда, не расспрашивай и не подходи к человеку. Боялись, что на подходящих падет подозрение, что боится он, не спрашивали ли о нем. Придет время, найдет нужным, сам человек расскажет.

Глаз не смыкал всю ночь о. Арсений. Промыслу Божию умилялся, славил Бога, молился Божией Матери, а утром встал и с легким сердцем занялся делами.

Надзиратель Веселый (Пупков) раза два забегал в барак, оглядывал все бегающим взглядом, потом спросил:

— Ну что, поп? Не добили тебя в «особом»? Добьют, — и, засмеявшись, вышел.

Вечером, после прихода заключенных с работы и получения пайки, о. Арсений обратился к Авсеенкову:

— Александр Павлович, помогите мне до проверки дров наколоть, а то не успею.

Теперь у о. Арсения заранее нарубленные дрова не воровали, барак за этим смотрел.

Времени до проверки оставалось немногим более часа. Фонари и прожекторы ярко освещали территорию лагеря. Дрова можно было колоть и вечером. Вышли к дровам, тут о. Арсений и сказал:

— Полено буду передавать, записку возьмете, прочтете и проглотите, а потом все расскажу.

— Какую записку? — опешив, спросил Авсеенков, — какую?

Схватил и стал деревянным клином колоть поленья, потом встал под фонарь, будто разглядывает полено, и стал читать записку. Прочел раз, второй, и по лицу потекли слезы. О. Арсений прошептал:

— Проглотите записку, — и добавил: — Возьмите себя в руки.

Пока дрова кололи и собирали, рассказал, что говорил Абросимов. Рассказал, что из генерала в майоры разжаловали, что друзья хотят помочь, но трудно и что есть указание убрать его, Авсеенкова.

— Петр Андреевич! Отец Арсений! Не верю я в Бога, а здесь начинаю верить, надо верить. Письмо от Катерины получил — от жены и приписка в нем от моего друга, большого, влиятельного человека. Помочь хочет, эта приписка смерти подобна, если кто узнает. Старый разведчик, бесстрашный. Есть еще люди там, на воле, не все еще в подлости потонули. Катерина пишет, что Бога молит обо мне, вероятно, по-настоящему молит, а тут вы мне в этом аду

помогаете, сердце согреваете, одного со своими мыслями не оставляете, но и не только мне — многим. Смотрите, каким стал Сазиков, жестокий и страшный, а теперь помогает и верит вам во всем.

Вы не видите, а я вижу! Нет! Не вы, а верно, Бог ваш все это делает вашими руками. Не знаю, буду ли я глубоко верующим, но знаю и вижу есть Он — Бог, есть!

Внесли дрова в барак. Сазиков слез с нар, подошел помогать. О. Арсений рассказал Сазикову, какой разговор был с начальником «особого отдела», что хотят Авсеенкова руками уголовников убрать и попросил:

— Помогите, Серафим Александрович! — наедине звал Сазикова Серафимом, а не Иваном, именем вымышленным. Рассказывая, знал о. Арсений, что не выдаст и не продаст Сазиков — изменился он сильно.

— Редкий случай, — сказал Сазиков.— Поможем, убережем Александра Павловича. Человек он хороший, стоящий. Убережем, не бойтесь. У нас тоже свои секреты есть. Ребятам скажу, убережем.

Жизнь идет

Время шло. Зима кончилась, и наступила весна. Все больше и больше заключенных стало болеть и умирать. Цинга в разных ее формах охватила почти всех, лагерная больница переполнилась, люди лежали в бараках.

О. Арсений совершенно ослаб, но свои обязанности по бараку выполнял. Сильно потеплело, было слякотно, сыро, барак приходилось топить так же часто, как и зимой, чтобы не отсырели стены и вещи. Истощенный, еле передвигающийся, о. Арсений по-прежнему помогал людям, всем, кому мог, и его помощь несла необыкновенное внутреннее тепло людям. Помогал без просьб, подходил, оказывал помощь и молча уходил, не ожидая благодарности.

Надзирателя Веселого (Пупкова) давно заменили и послали начальником лесопункта. Пришел новый надзиратель — молчаливый, требовательный, но справедливый. Заключенные быстро все подметили и дали ему прозвище— Справедливый. Надзиратель строго требовал соблюдения лагерных правил и особенно следил за чистотой. Не бил и почти не ругался.

Пришло лето, короткое, но жаркое, с изнуряющими комарами, вечно висящими над человеком, доводящими до изнурения и нервного расстройства. Барак уже не топили, и о. Арсений по преклонности лет и слабости здоровья от тяжелых работ был освобожден, но по-прежнему убирал барак, территорию вокруг него и чистил выгребные ямы.

В «особый отдел» вызывали два раза. Первым допрашивал лейтенант Марков, но к начальнику отдела не отправлял, второй раз, допросив, отвел к майору, тот был встревожен, нервничал и сказал:

— Трудное время сейчас. Стро-

гости усилились; друг за другом слежка неимоверная. Лицо я в лагере большое, все боятся, даже начальник лагеря, но никому и ничем помочь не могу. Нет людей верных, нет связующего звена. Когда еще позову, не знаю. Просто сказать боюсь, но ни вас, ни Александра Павловича ни на одну минуту не забываю и из вида не выпускаю. Записку опять Александру Павловичу передайте, не забыт он в Москве, протокол допроса подпишите, заранее написал. Делаются кругом дела страшные, и я тоже их пособник.

Записку о. Арсений передал Авсеенкову, и тот опять воспрянул духом.

Спешите делать добро

В последнее время о. Арсений стал сильно уставать, еле-еле справлялся с уборкой барака и, видя это, заключенные помогали ему. Держался он одной молитвой. Знающим его иногда казалось, что живет он не в лагере, а где-то далеко-далеко, в каком-то особом, одному ему известном, светлом мире.

Бывало, работает, губы беззвучно шепчут слова молитв, и вдруг он радостно и как-то по-особенному светло улыбнется и станет каким-то озаренным, и чувствуется, что сразу прибавится в нем сила и бодрость. Но никогда внутренне-углубленное его состояние не мешало ему видеть трудности окружающих его людей и стремиться помочь им. Люди верующие, общаясь с ним, видели, что о. Арсений как бы вечно пребывал на молитвенном служении в храме Божием, вечно стремился творить добро.

Оказывая помощь, о. Арсений не размышлял, кто этот человек и как он отнесется к его помощи. В данный момент он видел только человека, которому нужна помощь, и он помогал этому человеку. Думали когда-то заключенные, что он заискивает и ждет благодарности, оказалось не то. Потом его назвали «блаженненький», и это оказалось не то. Большинство поняло его. Изменился барак по отношению к о. Арсению. Интеллигенция видела в нем ученого, совместившего веру и знание. Бывшие коммунисты по поведению о. Арсения по-другому стали рассматривать веру и верующего, и многим из них верующий не казался «мракобесом». Верующие видели в нем иерея или старца, достигшего духовного совершенства и несшего в лагере свой подвиг. Смотря на жизнь о. Арсения многие люди находили спокойствие и в какой-то мере примирялись с жизнью в лагере.

Уголовники защищали о. Арсения и относились к нему уважительно по-своему. Если кто-либо из вновь пришедших заключенных пытался обидеть его, то давали понять, что за это могут избить. Было довольно много случаев, когда уголовники прибегали к духовной помощи о. Арсения, они понимали и видели, что он не из-

бегал и не сторонился их, как другие заключенные. Самое главное — о. Арсений никогда не боялся.

*Где двое или трое собраны во имя мое...**

В одну из зим поступил в барак с этапа юноша лет двадцати трех, студент, осужденный на 20 лет по 58-й статье. Лагерным житейским премудростям еще в полной мере не обучился, так как сразу после приговора попал в «особый» из Бутырок.

Молодой, зеленый еще, плохо понимающий, что с ним произошло, попав в «особый», сразу столкнулся с уголовниками. Одет парень был хорошо, не износился по этапам. Уголовники во главе с Иваном Карим решили его раздеть. Сели в карты играть на одежду парня. Все видят, что разденут его, а сказать никто ничего не может, даже Сазиков не смел нарушить лагерную традицию. Закон — на «кон» парня поставили — молчи, не вмешивайся. Вмешался — прирежут. Те из заключенных, кто долго по лагерям скитался или жил, знали, если на их барахло играют, сопротивляться нельзя — смерть.

Иван Карий всю одежду с парня выиграл, подошел к нему и сказал:

— Снимай, дружок, барахлишко-то.

Парня Алексеем звали, он не понял сперва ничего, думал смеются, не отдает одежду.

Иван Карий решил для барака «комедию» поставить, стал с усмешкой ласково уговаривать, а потом бить начал. Алексей сопротивлялся, но теперь уже барак знал, что парень будет избит до полусмерти, а может быть и забит насмерть, но «концерт» большой будет. Затаились, молчат все, а Иван Карий бьет и распаляется, Алексей пытается отбиться, да где там, кровь ручьем по лицу течет. Уголовники для смеха на две партии разделились, и одна Алексея подбадривает.

О. Арсений во время «концерта» этого дрова около печей укладывал в другом конце барака и начала не видел, а тут подошел к крайней печке и увидел, как Карий студента насмерть забивает. Алексей уже только руками закрывается, в крови весь, а Карий озверел и бьет. Конец парню.

О. Арсений дрова молча положил перед печью, спокойно подошел к месту драки и на глазах изумленного барака схватил Карего за руку, тот удивленно взглянул и потом от радости даже взвизгнул. Поп традицию нарушил, в драку ввязался. Да за это полагалось прирезать. Ненавидел Карий о. Арсения, но не трогал, барака боялся, а тут законный случай сам в руки идет.

Бросил Карий Алешку бить и проговорил:

— Ну, поп, обоим вам конец, сперва студента, а потом — тебя.

Заключенные растерялись. Всту-

---

* Записано со слов Алексея и некоторых очевидцев по бараку.

пись, все уголовники, как один, поднимутся. Карий нож откуда-то достал и бросился к Алешке. Что случилось? Никто толком понять не мог, но вдруг всегда тихий, ласковый и слабый о. Арсений выпрямился, шагнул вперед к Карему и ударил его по руке, да с такой силой, что у него нож выпал из руки, а потом оттолкнул Карего от Алексея.

Качнулся Карий, упал, об угол нар разбил лицо, и в этот момент многие засмеялись, а о. Арсений подошел к Алексею и сказал:

— Пойди, Алеша, умойся, не тронет тебя больше никто.

И будто бы ничего не случилось, пошел укладывать дрова.

Опешили все. Карий встал. Уголовники молчат, поняли, что Карий «свое лицо» потерял перед всем бараком.

Кто-то кровь на полу растер, нож поднял. У Алеши лицо разбито, ухо надорвано, один глаз совсем закрылся, другой багровый. Молчат все. Несдобровать теперь о. Арсению и Алексею, прирежут уголовники. Обязательно прирежут.

Случилось однако иначе. Уголовники поступок о. Арсения расценили по-своему, увидев в нем человека смелого и главное — необыкновенного. Не побоялся Карего с ножом в руках, которого боялся весь барак. Смелость уважали и за смелость по-своему любили.

Доброту и необыкновенность о. Арсения давно знали. Карий к своему лежаку ушел, с ребятами шепчется, но чувствует, что его не поддерживают, раз сразу не поддержали.

Прошла ночь, утром на работу пошли, а о. Арсений делами по бараку занялся: топит печи, убирает, грязь скребет. Вечером заключенные пришли с работы, и вдруг перед самым закрытием барака влетает с несколькими надзирателями начальник по режиму:

— Встать в шеренгу! — заорал сразу. Вскочили, стоят, а начальник пошел вдоль шеренги, дошел до о. Арсения и начал бить, а Алексея надзиратели из шеренги выволокли.

— За нарушение лагерного режима, за драку попа № 18376 и р. 281 в холодный карцер № 1, на двое суток без жратвы и воды, — крикнул начальник.

Донес, наклепал Карий, а это среди уголовников считалось самым последним, позорным делом.

Карцер № 1 — небольшой домик, стоящий у входа в лагерь. В домике было несколько камер — одиночек и одна камера на двоих с одним узким лежаком, вернее, доской шириною сантиметров в двадцать. Пол, стены карцера были сплошь обиты листовым железом. Сама камера была шириной не более трех четвертей метра, длиной два метра.

Мороз на улице 30°, ветер, трудно дышать. На улицу выйдешь, так сразу окоченеешь. Поняли заключенные барака — смерть это верная. Замерзнут в карцере часа через три. Наверняка замерзнут. При таком морозе в этот карцер не посылали, при 5—6 градусах бывало, посылали на одни сутки. Живыми оставались лишь те, кто все 24 часа прыгал на од-

ном месте. Перестанешь двигаться — замерзнешь, а сейчас — 30°.

Отец Арсений — старик, Лешка избит, оба истощены. Потащили обоих надзиратели. Авсеенков и Сазиков из строя вышли и обратились к начальству:

— Гражданин начальник! Замерзнут на таком морозе, нельзя их в тот карцер, умрут там.

Надзиратели наподдали обоим так, что от одного конца барака до другого очумелыми летели.

Иван Карий плечи в голову вобрал и чувствует, что не жилец он в бараке, свои за донос пришьют.

Привели о. Арсения и Алексея в карцер, втолкнули. Оба упали, разбились, кто обо что. Остались в темноте, поднялся о. Арсений и проговорил:

— Ну, вот и привел Господь вместе жить. Холодно, холодно, Алеша. Железо кругом.

За дверью громыхал засов, щелкал замок, смолкли голоса и шаги, и в наступившей тишине холод схватил, сжал их обоих. Сквозь узкое решетчатое окно светила луна, и ее молочный свет слабо освещал карцер.

— Замерзнем, о. Арсений,— простонал Алексей,— из-за меня замерзнем. Обоим смерть, надо двигаться, прыгать двое суток. Сил нет, весь разбит, холод уже сейчас забирает. Ноги окоченели. Так тесно, что и двигаться нельзя. Смерть нам, о. Арсений, это не люди! Правда? Люди не могут сделать того, что сделали с нами. Лучше расстрел.

Отец Арсений молчал. Алексей пробовал прыгать на одном месте, но это не согревало. Сопротивляться холоду было бессмысленно. Смерть должна была наступить через два-три часа, для этого их и послали сюда.

— Что вы молчите? Что вы молчите, о. Арсений? — почти кричал Алексей, и, как будто пробиваясь сквозь дремоту, откуда-то издалека прозвучал ответ:

— Молюсь Богу, Алексей!

— О чем тут можно молиться, когда мы замерзаем! — Проговорил Алексей и замолк.

— Одни мы с тобой, Алеша! Двое суток никто не придет. Будем молиться. Первый раз допустил Господь молиться в лагере в полный голос. Будем молиться — а там воля Господня.

Холод забирал Алексея, но он отчетливо понял, что сходит с ума о. Арсений, а тот, стоя в молочной полосе лунного света, крестился и вполголоса что-то произносил. Руки и ноги окоченели полностью, двигаться не было сил. Замерзал Алексей, ему стало все безразлично.

Отец Арсений замолк, и вдруг Алексей услышал отчетливо произносимые отцом Арсением слова и понял — это молитва.

В церкви Алексей был один раз, из любопытства. Бабка когда-то его крестила. Семья неверующая или, вернее сказать, абсолютно безразличная к вопросам религии, не знающая, что такое вера. Алексй — комсомолец, студент. Какая могла быть здесь вера? Сквозь оцепенение, сознание наступающей смерти, боль от побоев и холода, сперва смут-

но, но через несколько мгновений отчетливо стали доходить до Алексея слова:

— Господи, Боже! Помилуй нас грешных многомилостиве и Всемилостиве Боже наш, Господи, Иисусе Христе, многия ради любве сшел и воплотился еси, яко да спасеши всех. По неизреченной Твоей милости спаси и помилуй нас и отведи от лютыя смерти, ибо веруем в Тя, яко Ты Бог наш и Создатель наш...— полились слова молитвы, и в каждом слове, произносимом о. Арсением, лежала глубочайшая любовь, надежда, упование на милость Божию и незыблемая вера.

Алексей стал вслушиваться в слова молитвы. Вначале смысл их смутно доходил до него, было что-то непонятное, но чем больше холод охватывал его, тем отчетливее осознавал он значение слов и фраз. Молитва охватывала душу спокойствием, уводила от сердца леденящий страх и соединяла со стоящим с ним рядом стариком — о. Арсением.

— Господи, Боже наш, Иисусе Христе! Ты рекл еси пречистыми устами Твоими, когда двое или трое на земле согласятся просить о всяком деле, дано будет им Отцом Небесным, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них...

Холод полностью охватил Алексея, все застыло в нем. Лежал ли, сидел на полу или стоял, он не осознавал. Все леденело, но вдруг наступил какой-то момент, когда карцер, холод и оцепенение тела, боль от побоев, страх исчезли.

Голос о. Арсения наполнял карцер. Да карцер ли?

— Там я посреди них...

Кто же может быть здесь? Посреди нас. Кто? Алексей обернулся к о. Арсению и удивился. Все кругом изменилось, преобразилось. Пришла мучительная мысль: «Брежу, конец, замерзаю».

Карцер раздвинулся, полоса лунного света исчезла, было светло, ярко горел свет, и о. Арсений, одетый в сверкающие белые одежды, воздев руки вверх, громко молился. Одежды на о. Арсении были именно те, которые Алексей видел на священнике в церкви.

Слова молитвы, читаемые о. Арсением, сейчас были понятны, близки, проникали в душу. Тревоги, страдания, опасения ушли, было желание слиться с этими словами, познать их, запомнить на всю жизнь. Карцера не было, была церковь. Но как сюда попали и почему еще кто-то здесь, рядом с ними? Алексей с удивлением увидел, что помогали еще два человека, и эти двое тоже были в сверкающих одеждах и горели необыкновенным белым светом. Лица этих людей Алексей не видел, но чувствовал, что они прекрасны.

Молитва заполнила все существо Алексея, он поднялся, встал за о. Арсением и стал молиться. Было тепло, дышалось легко, ощущение радости жило в душе. Все, что произносил о. Арсений, повторял Алексей, и не просто повторял, а молился с ним вместе. Казалось, что о. Арсений слился воедино со словами мо-

литв, но Алексей понимал, что он не забывал его, а все время был с ним и помогал ему молиться.

Ощущение, что Бог есть, что Он сейчас с ними, пришло к Алексею, и он чувствовал, видел своей душой Бога, и эти двое были Его слуги, посланные Им помогать о. Арсению. Иногда приходила мысль, что они оба уже умерли или умирают, а сейчас бредят, но голос о. Арсения и его присутствие возвращали к действительности.

Сколько прошло времени, Алексей не знал, но о. Арсений обернулся и сказал:

— Пойди, Алеша! Ложись, ты устал, я буду молиться, ты услышишь.

Алексей лег на пол, обитый железом, закрыл глаза, продолжая молиться. Слова молитвы заполнили все его существо. «...согласятся просить о всяком деле, дано будет Отцом Моим Небесным...— на тысячи ладов откликалось в сердце его.— ...собраны во имя Мое...» «Да, да! Мы не одни»,— временами думал Алексей, продолжая молиться.

Было спокойно, тепло, и вдруг откуда-то пришла мать и, как это было еще год назад, закрыла его чем-то теплым. Руки сжали ему голову, она прижала его к своей груди. Он хотел сказать: «Мама, ты слышишь, как молится о. Арсений? Я узнал, что есть Бог. Я верю в Него».

Хотел ли он сказать или сказал, но мать ответила:

— Алешенька! Когда тебя взяли, я тоже нашла Бога, и это дало мне силы жить.

Было хорошо, ужасное исчезло. Мать и о. Арсений были рядом. Прежде незнакомые слова молитв сейчас обновили, согрели душу, вели к прекрасному. Необходимо было сделать все, чтобы не забыть эти слова, запомнить на всю жизнь. Надо не расставаться с о. Арсением, всегда быть с ним.

Лежа на полу у ног о. Арсения, Алексей слушал сквозь состояние легкого полузабытья прекрасные слова молитв. Было беспредельно хорошо. Отец Арсений молился, а двое в светлых одеждах молились и прислуживали ему и, казалось, удивлялись, как молится этот человек.

Сейчас он ничего не просил у Бога, а славил Его и благодарил.

Сколько времени продолжалась молитва о. Арсения и сколько времени лежал в полузабытьи Алексей, никто из них не помнил. В памяти Алексея осталось только одно — слова молитв, согревающий и радостный свет, молящийся о. Арсений, двое служащих в одеждах из света и огромное, ни с чем не сравнимое чувство внутреннего обновляющего тепла.

Били по дверному засову, визжал замерзший замок, раздавались голоса. Алексей открыл глаза. Отец Арсений еще молился. Двое в светлых одеждах благословили его и Алексея и медленно вышли. Ослепительный свет постепенно исчезал, и, наконец, карцер стал темным и по-прежнему холодным и мрачным.

— Вставай, Алексей! Пришли,— сказал о. Арсений.

Алексей встал. Входили начальник лагеря, главный врач, начальник по режиму и начальник «особого отдела» Абросимов.

Кто-то из лагерной администрации говорил за дверью:

— Это недопустимо, могут сообщить в Москву. Кто знает, как на это посмотрят. Мороженые трупы не современно.

В карцере стояли: старик в телогрейке и парень в разорванной одежде и с кровоподтеками и синяками на лице. Выражение лица того и другого было спокойным, одежда покрылась толстым слоем инея.

— Живы? — с удивлением спросил начальник лагеря.

— Как вы тут прожили двое суток?

— Живы, гражданин начальник лагеря,— ответил о. Арсений. Стоящие удивленно переглянулись.

— Обыскать,— бросил начальник лагеря.

— Выходи! — крикнул один из пришедших надзирателей.

О. Арсений и Алексей вышли из карцера. Их стали обыскивать. Врач, сняв перчатку, засунул руку под одежду о. Арсения и Алексея и задумчиво, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Удивительно! Как могли выжить. Действительно теплые.

Войдя в камеру и внимательно осмотрев ее, врач спросил:

— Чем согревались?

И о. Арсений ответил:

— Верой в Бога и молитвой.

— Фанатики, быстро в барак,— раздраженно сказал кто-то из начальства. Уходя, Алексей слышал спор, возникший между пришедшими. Последняя фраза, дошедшая до его слуха, была:

— Поразительно! Необычайный случай, они должны были прожить при таком морозе не более 4-х часов. Это поразительно, невероятно, учитывая 30-градусный мороз. Вам повезло, товарищ начальник лагеря по режиму! Могли быть крупные неприятности.

Барак встретил о. Арсения и Алексея как воскресших из мертвых и только спрашивали:

— Чем спасались?

На это оба отвечали:

— Бог спас.

Ивана Карего через неделю перевели в другой барак, а еще через неделю придавило его породой. Умирал мучительно. Ходили слухи, что своя братва помогла породе придавить его.

Алексей после карцера переродился, привязался к о. Арсению и всех верующих, находящихся в бараке, расспрашивал о Боге и православных службах.

*Надзиратель Справедливый**

Надзирателя Веселого сменили и вместо него назначили нового, которому за неукоснительное требование по выполнению лагерных

* Записано по рассказу Андрея Ивановича, бывшего надзирателя барака, где долгие годы провел о. Арсений. Использованы также отдельные рассказы и воспоминания о. Арсения.

правил, но справедливое отношение к заключенным дали прозвище Справедливый.

К о. Арсению новый надзиратель относился безразлично и, если находил какие-то неполадки, то говорил насмешливо:

— Службу, службу, батюшка, надо исправно править.

Скажет и пойдет, а через час зайдет проверить.

Летом со Справедливым произошел необычайный случай. Пошел он осматривать бараки, территорию вокруг них, а о. Арсений в это время подметал дорожки между бараками. Прошел Справедливый по баракам, остановился на одной дорожке, вынул что-то из кармана бокового, раскрыл бумажник, посмотрел, положил назад и пошел дальше. О. Арсений, подметая дорожки, дошел до того места, где стоял надзиратель и увидел, что на земле валяется красная книжечка, поднял, а это оказался партийный билет Справедливого. О. Арсений поднял билет, положил в карман телогрейки, закончил подметать и пошел убирать барак, но поглядывает в окно, не идет ли надзиратель.

Часа через два бежит Справедливый сам не свой. О. Арсений вышел из барака и пошел к нему навстречу. Потерять партийный билет, да еще в лагере, было для надзирателя в то время смерти подобно. Справедливый все это понимал. Бежит Справедливый по лагерным дорожкам, лицо от расстройства почернело, под ноги смотрит и все вокруг внимательно осматривает, а народ по дорожкам уже ходил.

О. Арсений подошел к надзирателю и сказал:

— Гражданин надзиратель, разрешите обратиться!

Лицо Справедливого перекосилось от злости, и он закричал:

— Прочь, поп, с дороги! — и даже размахнулся для удара, а о. Арсений молча дал ему билет и пошел в барак.

Справедливый билет схватил и закричал:

— Стой! — и, подойдя, спросил: — Ну! Кто видел?

— Никто не видел, гражданин надзиратель. Нашел на дорожке часа два тому назад.

Повернулся Справедливый и пошел.

Ничего вроде бы не изменилось, но стал надзиратель с отца Арсения все строже спрашивать, и подумалось, уж не хочет ли Справедливый убрать о. Арсения как нежелательного свидетеля.

В лагерях такие дела просто делались, убил надзиратель заключенного, а докладывает начальству: «Напал на меня» и благодарность еще за бдительность получит.

Убрать заключенного в лагере было 1000 способов, и все они были безнаказанными. Время шло.

Матерь Божия! Не оставь их

В основу написанного здесь положены воспоминания о. Арсения, рассказанные им самим своим духовным детям, а также мне.

Мои послелагерные встречи с Авсеенковым, Сазиковым и Алексеем-студентом тоже послужили основой для восстановления всего происшедшего, так как эти люди присутствовали при физической смерти о. Арсения в бараке, а также были очевидцами его возвращения к жизни.

Написав все это, я счел необходимым показать рукопись о. Арсению. Он, прочтя ее, долго молчал и на мои вопросы «Разве что не так? Разве неправильно?» — ответил:

— Великую милость явил мне Господь и Матерь Божия, показав самое сокровенное и великое — душу человеческую, исполненную веры, любви и добра. Показали, что никогда не оскудеет вера, и множество людей несет ее в себе, одни пламенно, другие трепетно, иные несут в себе искру, и необходимым является приход пастыря, чтобы возгорелась малая искра в неугасимое пламя веры. Показал Господь, что люди, несущие веру, и особенно пастыри душ человеческих, должны помогать и бороться за каждого человека до последних сил своих и последнего своего вздоха, и основой борьбы за душу является любовь, добро и помощь ближнему своему, оказываемая не ради себя, а ради брата своего. По отношению человека люди судят о вере, о Христе, ибо сказано: «От дел своих оправдаешься и от дел своих осудишься». И еще сказано: «Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов».

То, что произошло со мною, было для меня величайшим уроком, наставлением и поставило меня на свое место.

Будучи много лет в лагерях и сохраняемый в них милостью Божией, подумалось мне, что верой я силен, а когда умер, то показал мне Господь и Матерь Божия, что не достоин я даже коснуться одежды многих людей, находящихся в заключении, и должен учиться, учиться у них. Смирил меня Господь, поставил на место, которое должен был я занимать, показал глубокое мое несовершенство и дал время на исправление моих ошибок и заблуждений. Исправил ли я их только? Господи! Помоги мне!

Сказав это, о. Арсений взял рукопись и через несколько дней возвратил мне ее. Читая после просмотра написанное, я увидел внесенные им исправления и дописанные места. Вот в таком виде и лежит перед вами эта тетрадка.

Отдавая мне рукопись, о. Арсений сказал:

— Пока я жив, не показывайте никому, а умру, тогда и читать можно.

*

Жаркое изнурительное лето, лето вечно жужжавшего гнуса сменила промозглая, дождливая осень.

Землю попеременно то схватывал мороз, то заливали потоки оттаявшей грязи. В бараке было сыро и холодно и поэтому по-особенному тяжко. Одежда на заключенных неделями не просыхала, мокрые ноги были вечно стерты и постоянно болели. Началась повальная эпидемия лагерного

гриппа. Ежедневно в бараке умирало по три-пять человек. Дошла очередь и до о. Арсения. Слег он. Температура за сорок, озноб, кашель, мокрота, сердце отказывается работать.

В «особом» при повальных гриппозных заболеваниях в больницу не клали; вот если ногу отрезало или сломали, голова пробита, то клали на излечение, а при любой форме гриппа — лежи и лечись в бараке.

В лагерях закон — на ногах стоишь — работай! упал — докажи, что не симулянт. Доказал — будут лечить, если начальство одобрит. А еще в лагере установлен план выработки на каждого заключенного, начальство за перевыполнение плана ежемесячную премию получает. Заключенный, хотя этого и не видит, но за ним идет контроль рублем. Начальство обязано соблюдать лагерный режим, так что «телячьи нежности» разводить некогда.

Заболел заключенный, температура высокая, надо у надзирателя-воспитателя просить разрешения, чтобы идти в санчасть. Там температуру измерят, если ниже 39°, то топай на работу, а заспоришь, в карцер засадят, и надзиратель в морду даст для повышения твоей сознательности. Если температура выше 39° — лежи в бараке, но каждый день являйся в санчасть. Когда же лежишь в бараке без памяти, по вызову старшего по бараку придет фельдшер, измерит температуру, бросит лекарство, ну тогда лежи, выкарабкивайся, но не прозевай, когда температура упадет до 38°,

В общем, закон — ходить можешь, то иди лучше работать, с лагерными врачами не связывайся. Врачи в «особом» вольнонаемные, дело свое хорошо знали, чуть что — крик: «Симулянт! Марш на работу! В карцер пошлю!» В лагере среди заключенных врачей много было, но работать по специальности им не разрешали, а использовали на общих работах и притом тяжелых.

Когда заболел о. Арсений, то на 3-й день врач из заключенных осмотрел его, позвал для консультации профессора-легочника, тот послушал. Постояли, поговорили между собой и сказали Авсеенкову:

— У больного общее воспаление легких, полное истощение, авитаминоз, сердце изношено. Дела его плохи, вряд ли проживет больше двух дней. Нужны лекарства, кислород, уход, но при таком истощении всего организма уже ничего не поможет.

О. Арсений — почти старик, в «особом» не один год, за это время барак не один раз обновлялся, из «старожилов» осталось человек 10—12. Глядя на «старожилов», начальство лагерное и сами заключенные удивлялись как и почему эти «патриархи» барака еще живы.

Вызвали через надзирателя фельдшера, осмотрел он о. Арсения издалека, с расстояния 2-х метров, бросил аспирин, градусник дал Авсеенкову, чтобы тот измерил температуру о. Арсению, посмотрел, что сорок с лишним и, сказав «грипп», ушел.

О. Арсению все хуже и хуже.

Друзья видят, что пришел его черед умирать, пытаются спасти. Окольными путями послали в больницу ходока, включились в помощь дружки из уголовников, обихаживают надзирателей, где-то достали сухую горчицу, малину, несли все, что могли.

Ходок, проникший через верных людей в больницу, просил помощи, лекарства, рассказал, что с о. Арсением. Врач ходока выслушал и спросил:

— Сколько лет зеку, который год в лагере?

Ходок объяснил, что больному 40 и в «особом» три года. Врач на это только ответил:

— Вы что думаете, что лагерь особого режима — санаторий и зеки в нем до ста лет должны жить? Ваш больной рекордсмен, три года прожил. Пора и честь знать. Лекарства нет, для фронта нужны.

...Температура поднималась, все чаще и чаще исчезало сознание. Авсеенков аспирином с малиной о. Арсения поит. Сазиков тряпку горчицей обмазал и положил на грудь и спину. Врачи из заключенных, придя с работы, тоже помогают, чем могут, но о. Арсению становится все хуже и хуже. Затихать временами стал. Умирает.

Смерть в лагере — дело обыденное, привыкли все к ней, а тут все, как один человек, как-то по-особому переживали. (Из конца в конец барака только и слышалось: «Умирает о. Арсений. Умирает Петр Андреевич». Ибо для каждого он сделал что-то хорошее, доброе. Уходил человек необычный, понимали это и политические, и уголовники.) Фраза в скобках включена мною в воспоминание только после смерти о. Арсения и принадлежит Сазикову и Алексею-студенту.

Молится и молится о. Арсений, чувствует помощь друзей своих, но постепенно стал затихать.

— Отходит, — проговорил кто-то.

Затих о. Арсений и сам чувствует, что умирает. Барак, Сазиков, Авсеенков, Алексей, врач Борис Петрович, все куда-то ушло, провалилось, пропало.

Через какое-то время о. Арсений почувствовал необычайную легкость, охватившую его, и услышал, что его окружает тишина. Спокойствие пришло к нему.

Одышка, мокрота, завалившая горло, жар, сжигавший тело, слабость и беспомощность исчезли. Он чувствовал себя здоровым и бодрым. Сейчас о. Арсений стоял около своих нар, а на них лежал худой, истощенный, небритый, почти седой человек со сжатыми губами и полуоткрытыми глазами. Около лежащего стояли: Авсеенков, Сазиков, Алексей и еще несколько человек, знаемых и любимых о. Арсением.

О. Арсений стал вглядываться в лежащего человека и вдруг с удивлением осознал, что это же лежит он, отец Арсений.

Друзья, собравшиеся около нар, огромный барак с его многочисленным населением, обширный лагерь, вдруг стали как-то особенно видны о. Арсению, и он понял, что сейчас видит не только физический облик людей, но и душу их.

Сквозь охватившую его тишину

он видел движение заключенных, не слышал, но почему-то отчетливо понимал, что говорили и думали эти люди. Со страхом понял о. Арсений, что видит состояние и содержание каждой души человеческой, но однако он уже не был с этими людьми, он уже не жил в этом мире, из которого только что ушел. Невидимая черта четко отделяла его от этого мира, и эту невидимую черту он не мог преодолеть.

Вот Сазиков поднес кружку с водой к его губам и попытался влить в рот, но не смог. Вода облила лицо. Что-то говорили между собой Авсеенков и Алексей и другие стоящие люди.

О. Арсений, стоя в ногах своего собственного тела, смотрел на себя и окружающих людей как посторонний, и вдруг понял, что душа его покинула тело и он, иерей Арсений, физически мертв.

О. Арсений растерянно оглянулся, барак уходил в темноту, но где-то в темноте далеко-далеко горел ослепительный свет.

Сосредоточившись, о. Арсений стал молиться и сразу почувствовал спокойствие, понял, что надо куда-то идти и пошел к ослепительному свету, но, сделав несколько шагов, вернулся в барак, подошел к своим нарам и, смотря на Алексея, Александра Павловича Иванова, Сазикова и многих других, с кем проходил в лагере тернистый путь страданий, понял, что не может оставить этих людей, не может уйти от них.

Став на колени, он стал молиться, умоляя Господа не оставить Алексея, Авсеенкова, Александрова, Федора, Сазикова и всех тех, с кем он жил в лагере.

— Господи, Господи! Не оставь их! Помоги и спаси! — взывал он и особенно просил Матерь Божию, умоляя Ее не покинуть, не оставить милостью Своею заключенных «особого». Молясь и плача, умоляя и взывая ко Господу, Матери Божией и Святым, просил о. Арсений милости, но все было безмолвным, и только барак и весь лагерь предстали перед духовным взором иерея Арсения както особенно.

Весь живущий лагерь со всеми живущими в нем заключенными и охраной увидел о. Арсений как бы изнутри. Каждый человек нес в себе душу, которая сейчас была ощутимо видна для о. Арсения.

У одних душа была объята пламенем веры и опаляла этим пламенем окружающих у других, как у Сазикова и Авсееенкова, горела небольшим, но все же разгорающимся огнем, у некоторых искры веры тлели, и нужен только приход пастыря, чтобы раздуть их в пламень. Но были люди, у которых душа была темной, мрачной, без малейшего намека на искру Света. Всматриваясь сейчас в души людей, раскрывшиеся ему по повелению Божию, о. Арсений испытал величайшее волнение.

— Господи, Господи! Я жил среди этих людей и не замечал, и невидимыми были они мне. Сколько прекрасного несут они в себе, сколько здесь настоящих подвижников веры, нашедших себя среди окружающего мрака и невыносимых человеческих страданий, и

не только нашедших себя для себя, но отдающих жизнь свою и любовь окружающим людям, помогают всем своим словом и делом. Господи! Где же я был, ослепленный своей гордостью и малое делание мое принявший за большое!

О. Арсений видел, что Свет веры горел не только у заключенных, но был и у некоторых людей охраны и администрации и, по мере сил своих и возможностей, совершающих добро, а для них это было большим подвигом. «К чему все это? — пронеслось в мыслях о. Арсения, — к чему?» Он стоял, всматриваясь в духовный мир людей, с которыми он постоянно жил, общался, говорил или видел, и каким неожиданным, многообразным и духовно прекрасным предстал он перед ним. Люди, казавшиеся в общей массе заключенных духовно опустошенными и обезличенными, несли в себе столько веры, столько неисчерпаемой любви к окружающим, совершали добро и безропотно несли свой жизненный крест, и он, о. Арсений, живя с ними рядом, он — иеромонах Арсений, — видел только около себя и не заметил, не увидел этого, не нашел общения с этими людьми.

— Господи, где же я был? Прости и помилуй мя, что я только видел себя и обольщался собой, мало верил в людей.

Склонившись, о. Арсений долго молился. Поднявшись с колен, он увидел, что стоит еще в лагере, но раскрывшееся ему видение лагеря исчезло, пропали нары и барак.

О. Арсений стоял у выхода из лагеря, кинжальные лучи прожектора скользили по территории его, у ворот стояли часовые.

Была ночь, лагерь спал. Обернувшись к лагерю, о. Арсений благословил его и стал молиться о тех, кто оставался в нем:

— Господи! Как я оставлю их? Как буду без них? Не остави всех здесь живущих Своею милостию. Помоги им! — и, опустившись на колени, в снег, стал молиться.

Было холодно, ветер бросал снег, а о. Арсений стоял и ничего не чувствовал. Он долго молился и, поднявшись с колен, вышел из лагеря. Миновал охрану и пошел по дороге.

В темной ночи где-то далеко-далеко горел яркий зовущий свет, вот к нему и пошел о. Арсений.

Шел легко, спокойно. Миновал лес, поселок и вдруг вошел в свой город, где была его, именно его церковь. Церковь, где он начинал служение, церковь-храм, в которую он вложил вместе со своими духовными детьми много сил, чтобы восстановить старинное древнее ее великолепие.

— Что это, Господи! Почему я здесь? — проговорил он про себя и вошел в церковь.

Первое, что он увидел, была икона Божией Матери, та древняя чудотворная икона, скорбный лик которой проникновенно и внимательно взирал на приходящих к Ней. В церкви все было так же, как он когда-то оставил ее, но сейчас она была полна народа, причем собравшихся было необычайно много. Лица молящихся были радостными и смотре-

ли на икону Божией Матери.

О. Арсений подошел к алтарю, молящиеся расступились, образуя проход, и он, с восторгом и благоговением смотря на иконы, както особенно и легко шел вперед.

Войдя в алтарь, стал приготовляться к служению, хотел снять телогрейку, чтобы надеть облачение, но кто-то стоявший рядом повелительно сказал:

— Не снимайте, это тоже облачение для служения.

Взглянув, отец Арсений увидел свою стеганку, но она была какаято сверкающая, ослепительно белая.

Надев эпитрахиль, он стал совершать служение и удивился: алтарь был залит ярким светом, вся церковь светилась, иконы както особенно выглядели на стенах и, казалось, ожили, молящихся было много, и они все углубились в молитву, и при этом лица их были радостными.

Совершая обедню, о. Арсений увидел, что вместе с ним служит иеромонах Герман, иерей Амвросий, дьякон Петр и еще несколько иереев. И он, о. Арсений, знает всех служащих с ним, а сбоку в алтаре скромно стоят владыки Иоанн, Антоний, Борис и его духовный отец и друг владыка Феофил, и они радостно смотрят на него, о. Арсения.

— Господи!— подумалось о. Арсению,— ведь они умерли давно, а сейчас здесь хорошо, что мы вместе.

Служит о. Арсений, а душа его переполняет радость, молитва охватывает всего и поднимает ввысь.

Благословляя молящихся, увидел о. Арсений, что стоящих он тоже знает. Вот дети его духовные, вот прихожане этой церкви, а этих встречал и общался в своих странствиях или лагерях, жил когда-то с этими людьми.

И все эти люди за кого-то молятся, просят. Взглянул о. Арсений на этих людей и отчетливо понял, что они, как и владыки и священники, служащие с ним, умерли, кто давно, а кто и недавно.

— Матерь Божия, что это такое? — пронеслось в мыслях о. Арсения, но не ответив себе на этот вопрос, весь ушел в служение и молитву. Совершает служение о. Арсений и чувствует, что сгорает он от той радости и тепла внутреннего. Принял Святых Таин, окончил служение и припал к образу Царицы Небесной — Владимирской, моля о прощении грехов своих.

— Призвал меня, Мати Божия, на Суд Свой Отец Небесный, ибо умер я, не остави меня грешного и буди заступница и ходатаица о душе моей грешной у Царя Небесного. Не остави меня. На Тя уповаю, аз есмь грешен и недостоин.

Молясь о прощении грехов своих, просил он Матерь Божию не оставить Своею помощью всех, кого знал и кто оставался в миру. Просил за детей своих духовных и за тех, кто в лагерях с ним жил и там оставался. Просил за Алексея-студента, Сазикова, Авсеенкова, Абросимова, Алческого и многих-многих лагерных. Ушел весь в молитву, забыл о времени и так просил Царицу Небесную, что, казалось, молящиеся в хра-

ме слышали его молитвы. Беспрестанно повторяя: «Мати Божия, не остави их, страждущих», — плакал об оставленных навзрыд, заливаясь слезами.

Сжимается, ноет сердце о. Арсения, как же будут жить его друзья, оставленные в лагере? Знает, тяжко там, невыносимо и, припадая к иконе Божьей Матери, просит и просит не оставить друзей его, помочь им, облегчить страдания и муки, превышающие меру человеческих тягот. Вдруг услышал голос, исполненный необычайной мягкости, отчетливости и в то же время повелительности:

— Не пришел еще час смерти твоей, Арсений. Должен ты еще послужить людям. Господь посылает тебя помогать детям моим. Иди и служи, не оставлю тебя помощию Своею.

О. Арсений поднял голову, взглянул на икону и увидел, что Матерь Божия как бы сошла с иконы и стоит на месте ее. О. Арсений, пораженный, упал у ног Матери Божией и только повторяет:

— Матерь Божия, не оставь их. Помилуй мя грешного, — и опять услышал голос:

— Подними лицо свое, Арсений, взгляни на Меня и скажи Мне, что хотел сказать.

Поднял лицо о. Арсений, взглянул на Матерь Божию и, пораженный добротой ЕЕ и величием неземным, склонившись низко, сказал:

— Матерь Божия, Владычица! Да исполнится воля Твоя и Господа, но я стар и немощен. Смогу ли я послужить людям, как Ты, Владычица, хочешь?

А Матерь Божия продолжала:

— Не один ты у Меня, Арсений, со многими людьми служить Мне будешь помогут тебе, и ты с ними многим поможешь. Показал тебе Господь сейчас, что у Него помощников много. Показал тебе Господь души людей, населяющих лагерь, не думай, что ты один совершать добро будешь, во многих людях живет вера и любовь. Иди и служи Мне. Помогу тебе, — и почувствовал о. Арсений, что коснулась головы его рука Матери Божией.

Встал о. Арсений с колен, вознес молитву еще и еще раз, снял епитрахиль, поклонился всем молящимся и священству, опять понял, что всех молящихся в храме знает, большинство из них провожал он в последний путь и жизнь свою как-то связал с этими людьми. Подошел к Царским Вратам, встал на колени и, поднявшись с колен, обратился к молящимся, прося их молитв и помощи, и пошел к выходу из храма, благословляемый народом.

Вышел из храма, душу переполнила радость. Идти было легко, шел к бараку, в лагерь. Лес, дорога, дома — все мелькало и неслось мимо него. Прошел мимо охраны, вошел в барак, увидел свой лежак, тело свое, лежащее на нем, людей, окружавших его.

Вошел, лег на лежак и услышал разговор:

— Все теперь! Холодеет. Умер наш о. Арсений. Пять часов прошло, скоро подъем, придется сообщить старшему.

Кто-то из окружающих продолжал:

— Осиротел барак, многим он помогал. Мне, всю жизнь боровшемуся против Бога, показал Его, и показал делами своими.

Неожиданно о. Арсений глубоко вздохнул и, испугав и поразив окружающих, проговорил:

— Уходил я в храм, да вот Матерь Божия сюда к вам послала.

Слова эти никому не показались странными или удивительными, так неожиданно было его возвращение к жизни.

Недели через две поднялся о. Арсений и как-то по-другому стали ему жизнь и люди видны. Все ему, чем могут, помогают, кто что может от обеда урвет и несет, надзиратель Справедливый масла сливочного стал приносить и Сазикову отдавал для о. Арсения.

Встал, ожил о. Арсений. Тяжелая болезнь была и ушла.

Господь и Матерь Божия послали его служить людям, послали в мир.

Михаил

Поверка кончилась, заключенных по счету загнали в барак и заперли дверь. Перед сном можно было немного поговорить друг с другом, обменяться лагерными впечатлениями, новостями дня, сыграть партию в домино или лечь на нары и думать о прошлом. Часа два после закрытия барака еще слышались разговоры, но постепенно они стали стихать, и тишина завладела бараком, заключенные засыпали.

После закрытия барака о. Арсений долго стоял около нар и молился, а потом лег и, продолжая молиться, уснул.

Спал, как всегда, тревожно. Приблизительно около часу ночи почувствовал, что его кто-то толкает. Вскочив, увидел незнакомого взволнованного человека, говорящего шепотом:

— Пойдемте скорее, умирает сосед, зовет вас!

Умирающий находился в другом конце барака, лежал на спине, дышал тяжело и порывисто, глаза были неестественно широко открыты.

— Простите, нужны вы мне. Ухожу, — сказал он о. Арсению, а потом почти повелительно произнес:

— Садитесь.

О. Арсений сел на край нар. Свет, идущий из коридора, образуемого нарами, слабо освещал лицо умирающего, покрытое крупными каплями пота. Волосы слиплись, губы были болезненно сжаты. Был он измучен, смертельно болен, но глаза, широко открытые глаза, как два пылающих факела, смотрели на о. Арсения. В этих глазах сейчас жила, горела и металась вся прожитая этим человеком жизнь. Он умирал, уходил из жизни, исстрадался, устал, но хотел отдать во всем отчет Богу.

— Исповедуйте меня. Отпустите. Я инок в тайном постриге.

Соседи по нарам ушли и где-то

легли. Все видели, что пришла смерть и надо было быть милостивым и снисходительным к умирающему в лагерном бараке.

Склонившись к иноку, проведя рукой по его слипшимся коротким волосам, поправив рваное одеяло, о. Арсений положил руку на голову, шепотом прочел молитвы и, внутренне собравшись, приготовился слушать исповедь.

— Сердце сдало, — проговорил умирающий, назвав свое имя в иночестве — Михаил, — и начал исповедь.

Склонившись к лицу лежащего, о. Арсений слушал чуть слышный шепот и невольно смотрел в глаза Михаила. Иногда шепот прерывался, в груди слышались хрипы, и тогда Михаил жадно ловил открытым ртом воздух. Временами замолкал, и тогда казалось, что он умер, но в эти мгновения глаза продолжали жить, и о. Арсений вглядывался в них, читал все то, что хотел рассказать еле слышный прерывающийся шепот.

Многих людей исповедовал о. Арсений в их последний смертный час, эти исповеди всегда до глубины души потрясали его, но сейчас, слушая исповедь Михаила, о. Арсений отчетливо понял, что перед ним лежит человек необычный, большой духовной жизни.

Умирал праведник и молитвенник, положивший свою жизнь Богу и людям. Умирал праведник, и о. Арсений стал сознавать, что иерей Арсений недостоин поцеловать край одежды инока Михаила и ничтожен и мал перед ним.

Шепот прерывался все чаще и чаще, но глаза горели, светились, жили, и в них, в этих глазах, попрежнему читал о. Арсений все, что хотел рассказать умирающий.

Исповедуясь, Михаил судил себя сам, судил сурово и беспощадно. Временами казалось, что он отдалился от самого себя и созерцал другого человека, который умирал. Вот этого умирающего он и судил вместе с о. Арсением. И о. Арсений видел, что житейский мир, как корабль со всем грузом тягот, тревог и горестей прошлого и настоящего, уже отплыл от Михаила в далекую страну забвенья, и сейчас осталось только то, что необходимо было подвергнуть рассмотрению, отбросив все наносное, лишнее и отдать это главное в руки присутствующего здесь иерея Арсения, и он властию Бога должен был простить и разрешить содеянное.

За считанные минуты, оставленные ему для жизни, должен был инок Михаил передать о. Арсению все, открыто показать Богу, осознать свои прегрешения и, очистившись перед судом своей совести, предстать перед судом Господа.

Человек умирал так же, как умирали многие и многие в лагерях на руках о. Арсения, но эта смерть потрясла и повергла о. Арсения в трепет, и он понимал, что Господь даровал ему великую милость, разрешив исповедовать этого праведника. Господь показывал сейчас свое величайшее сокровище, которое он долго и любовно растил, показывал, до какой степени духовного совершенства может подняться человек, бесконечно полюбивший Бога, взявший

по Апостольским словам «иго и бремя» христианства на себя и пронесшего его до конца. Все это видел и понимал о. Арсений.

Исповедь умирающего Михаила давала возможность увидеть, как в неимоверно сложных условиях современной жизни, во время революционных потрясений, культа личности, сложных человеческих отношений, официально поддерживаемого атеизма, общего попрания веры, падения нравственности, постоянной слежки и доносов, отсутствия духовного руководства, человек глубокой веры может преодолеть все мешающее и быть с Богом.

Не в скиту или в уединенной монастырской келье шел Михаил к Богу, а в сутолоке жизни, в грязи ее, в ожесточенной борьбе с окружающими его силами зла, атеизма и богоборства. Духовного руководства почти не было, были случайные встречи с тремя—четырьмя иереями и почти годовое радостное общение с владыкой Федором, постригшим Михаила в монахи, а далее два—три коротких письма от него и неистребимое, горячее желание идти и идти ко Господу.

— Шел я путем веры, шел ли я так, как надо, к Богу или неправильно, не знаю, — говорил Михаил.

Но о. Арсений видел, что не только не отступил Михаил от предначертанного пути, на который направлял его владыка Федор, а далеко прошел по этому пути, опередив и превзойдя своих наставников.

Жизнь Михаила была подобна «битве в пути» за духовное и нравственное совершенство среди обыденной жизни века сего, и о. Арсений понимал, что Михаил выиграл эту битву, битву, где он был один на один со злом, окружающим его. И, живя среди людей, творил добро во имя Бога и нес в душе, как пламя, слова апостола: «Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов». О. Арсений понимал все совершенство и величие Михаила, сознавая свое ничтожество и страстно молил Господа дать ему, о. Арсению, силы облегчить последние минуты умирающего. Временами о. Арсений становился беспомощным и в то же время восторженным от сознания близости с Михаилом, предсмертная исповедь которого открывала ему сокровенные пути Господни, учила и наставляла на путь глубочайшей веры.

И вот наступил момент, когда Михаил отдал все, что было на душе, о. Арсению и, отдав через него Господу, вопросительно взглянул на о. Арсения.

Взяв бремя грехов умирающего и держа в руках своих, принял о. Арсений все на душу свою иерейскую и затрепетал еще раз от сознания своего ничтожества и беспомощности человеческой и, провозгласив молитву отпущения рабу Михаилу, сперва внутренне зарыдал, а потом, не сдержавшись, заплакал на глазах умирающего.

Михаил поднял глаза и, устремив их на о. Арсения, произнес:

— Спасибо! Успокойтесь! Настал час воли Божией, молитесь

обо мне, пока живете на земле. Ваш земной путь еще долог. Прошу вас, возьмите шапку мою, записка там двум людям, души и веры они большой. Очень большой. Адреса написаны. На волю выйдете, передайте, и вы им нужны, и они вам. Номер на шапке перешейте. Молите Бога об иноке Михаиле.

Во все время исповеди были в бараке они одни. Барак, люди, его населяющие, обстановка барака, все отдалилось, ушло в какое-то небытие, и только состояние близости Бога, молитвенное созерцание и тишина внутреннего единения охватили их обоих и поставили перед Господом. Все мучительное, мятежное, человеческое ушло — был Бог, к Которому сейчас один уходил, а другой был допущен созерцать великое и таинственное — смерть, уход из жизни.

Умирающий сжал руку о. Арсения, молился, молился столь проникновенно, что отделился от всего внешнего, а о. Арсений, прильнув к нему душой и молитвенным единением, отрешился от всего и благоговейно и безропотно шел за молитвой инока Михаила.

Но вот наступила минута смерти, глаза умирающего засветились, загорелись тихим светом восторга, и он еле слышно произнес:

— Не отрини меня, Господи!

Михаил поднялся с нар, протянул вперед руки, почти шагнув, и громко произнес дважды:

— Господи! Господи! — И потянувшись еще немного вперед, упал навзничь и сразу вытянулся. Рука, держащая руку о. Арсения, разжалась, черты лица приобрели спокойствие, но глаза еще светились и с восторгом смотрели вверх, и о. Арсению показалось, что он воочию увидел, как душа Михаила покидала тело.

Потрясенный, о. Арсений упал на колени и стал молиться, но не о душе и спасении умершего, а о той великой милости к нему, о. Арсению, милости, даровавшей, сподобившей увидеть Невиданное, Непознаваемое и самое таинственное из тайн — смерть праведника. Поднявшись с колен, о. Арсений склонился над телом Михаила, глаза которого были еще раскрыты и озарены светом, но свет постепенно гас, озаренность пропадала, чуть заметная дымка покрыла их, потом веки медленно закрылись, по лицу пробежала тень и от этого лицо стало величественным, радостным и спокойным.

Склонившись над телом, о. Арсений молился, и хотя он только что присутствовал при смерти Михаила-инока, на душе не было скорби, было спокойствие и внутренняя радость. Сейчас он видел праведника, прикоснулся к милости Божией и славе Его.

О. Арсений бережно оправил одежду умершего, поклонился телу Михаила и вдруг осознал, что он находится в бараке лагеря «особого режима», и мысль, как молния, пришла к нему, что Сам Господь был сейчас здесь и принял душу Михаила.

Скоро должен был начаться подъем. О. Арсений взял шапку Михаила, спорол номер со своей и его шапки и пошел к старшему сказать о смерти Михаила.

Старший из старых уголовников спросил номер умершего и посочувствовал. Барак открыли, заключенные выбегали на поверку, строились. Перед входом в барак стояли надзиратели, старший по бараку, подойдя к ним, сказал:

— Мертвяк у нас № 382.

Один из надзирателей вошел в барак, посмотрел на умершего, толкнул тело носком сапога и вышел.

Часа через два из санчасти приехали на санях за телом. Вошел врач из вольнонаемных, небрежно скользнул взглядом по телу Михаила, рукавицей поднял веко и брезгливо сказал дневальному:

— Быстрее на отвоз.

В санях уже лежало несколько трупов. Михаила вынесли из барака и положили на тела других заключенных. Возница стал усаживаться на перекладину саней, опираясь ногами на окоченевшие тела. Было морозно и тихо, шел редкий снег и, падая на лица мертвых, медленно таял, от чего казалось, что они плачут. Около барака стояли надзиратели, разговаривая с врачом, дневальные и о. Арсений, прижавший к груди руки и молящийся про себя. Сани тронулись, о. Арсений, низко поклонившись, перекрестил мертвых и вошел в барак.

Возница, дергая возжами, отвратительно ругаясь, понукал лошадей, и сани, медленно двигаясь, скрылись за бараком.

*Ты с кем, поп?**

В начале заключения считаешь дни, потом недели, но уже на 2-й год наступает момент, когда ты ждешь смерти.

Изнурительная работа, полуголодное существование, драки, избиения, оторванность от дома отупляли, заставляли думать о неизбежной смерти в течение двух-трех лет лагерной жизни, поэтому основная масса заключенных морально опускалась, внутренне разлагалась.

У большинства из нас, политических, и у всех уголовников мысли менялись в соответствии с лагерной жизнью: приходом надзирателя, отнятым пайком, дракой, которую затевали уголовники, работой, которую дали бригаде, карцером, отмороженным пальцем или очередной смертью барачного жителя. На этих событиях наши мысли месились, как раствор глины, и от этого становились однозначными, ограниченными страшной лагерной действительностью.

Основная масса заключенных мечтала нажраться до отвала, или, как говорили в лагере «отпуза», выспаться дня два подряд, достать где-то пол-литра спирта, выпить его и опять нажраться. Но все это были несбыточные и неосуществимые мечты.

---

* Записано в 1960 году со слов о. Арсения. В 1966 году разрозненные записи были систематизированы иеромонахом Андреем.

Очень малая часть политических заключенных старалась сохранить в себе человека, пыталась держаться особняком, поддерживать друг друга, не опускаться до уголовников, держаться с достоинством, насколько позволяла лагерная обстановка. Эти заключенные собирались в пределах одного барака группой, читали лекции, стихи, воспоминания и иногда даже что-то писали на обрывках грубой бумаги. Часто возникали горячие споры на политические темы, в которые нерёдко ввязывались уголовники и заключенные из безликой массы опустившихся политических. Спорили со злостью, ненавистью друг к другу. О. Арсений в спорах не участвовал, но один раз его втянули насильно.

Обыкновенно заключенные боялись высказаться, но спор разжигал страсти и заставлял забывать о возможных последствиях в «особом отделе», и иногда кто-нибудь из спорящих говорил:

— Была не была, все равно подыхать, так хоть перед смертью выскажусь.

Прошла проверка, барак заперли, за стенами метался ветер, снег завалил окна, было душно, сыро, но тепло. Лампочки горели вполнакала, и от этого становилось сумрачно и тоскливо, одиночество угнетало.

Заключенные собирались в группы, и начинались разговоры, споры, воспоминания. Уголовники играли в карты или в домино на деньги или пайки.

Около одного лежака, недалеко от нар о. Арсения, собралось несколько человек и в скором времени возник ожесточенный спор на тему: «Отношение зеков (заключенных) к власти».

Минут через 15 народу стало уже человек 20, спор приобрел острый характер. Люди перебивали друг друга, угрожали. Собрались бывшие партийцы, интеллигенты разных профессий, несколько бывших власовцев и еще какие-то заключенные. Раздавались крики:

— За что сидим? Ни за что. Где справедливость? Расстрелять всех их надо!

Лица спорящих были озлобленные, раздраженные, и только трое или четверо бывших членов партии возражали и пытались доказать, что все происходящее является какой-то грандиозной ошибкой, которую рано или поздно исправят. Возможно, это вредительство, что Сталин ничего об арестах не знает, или его обманывают.

— Обманывают, а пол-России посадили, это продуманная система уничтожения кадров, — вопил чей-то голос.

— Знает Сталин, это его приказ, — вторил другой.

Один заключенный, осужденный за агитацию и подготовку покушения на жизнь Сталина, был особенно озлоблен. Лицо его кривилось, голос дрожал. Несколько власовцев ругали все и вся.

— Уничтожать их надо, вешать, расстреливать, партийцев этих.

Секретарь одного из ленинградских райкомов, большевик с 17 года, буквально на кулаках сцепился с каким-то типом, служившим у немцев.

— Предатель, — кричал сердито секретарь, — тебя расстрелять надо, а ты еще живешь!

— Я-то таких, как ты, повешал, пощелкал не один десяток, жалею, что ты, падло, не попался. За дело сижу, а ты своим задницу лизал и со мной здесь дохнешь, как предатель!

— Я предатель? Я предатель? Да я Советскую власть утверждал!

— Я да я, а сидишь как предатель, вот и вся твоя власть в этом сказалась.

Кругом смеются, но спор попрежнему остается ожесточенным. Один из заключенных проговорил:

— Церкви разрушили, веру попрали.

Кто-то из собравшихся, увидя о. Арсения, сидевшего на своих нарах, сказал, обращаясь к нему:

— А ну-кась, Петр Андреевич! Слово свое о властях скажите. Как Церковь к властям относится?

О. Арсений промолчал, но его буквально втащили в круг спорящих. Секретарь райкома, друживший с о. Арсением, как-то сразу поник. Что должен был ответить отец Арсений, всем было ясно, уж много натерпелся он в лагере.

Власовец Житловский, командир какого-то соединения власовской армии, в прошлом журналист и командир Красной Армии, человек жестокий и властный, державший в своих руках группу власовских офицеров, живших в лагере в бараке, снисходительно смотрел на о. Арсения.

Власовцы держались в лагере независимо, ничего не боялись, так как им все уже было отмерено, конец свой знали и сидели действительно за дело.

— Давай, батя, сыпь!

О. Арсений, помедлил несколько мгновений, сказал:

— Жаркий спор у вас. Злой. Трудно, тяжело в лагере, и знаем мы конец свой, поэтому так ожесточились. Понять вас можно, да только никого уничтожать и резать не надо. Вот сейчас ругали власть, порядки, и меня притащили сюда лишь для того, чтобы привлечь к одной из спорящих сторон и этим самым досадить другой.

Говорите, что коммунисты верующих пересажали, церкви позакрывали, веру попрали. Да, внешне все выглядит так, но давайте посмотрим глубже, оглянемся в прошлое.

В народе упала вера, люди забыли свое прошлое, забросили многое, дорогое и хорошее. Кто виновен в этом? Власти? Виноваты мы с вами, потому что собираем жатву с посеянных нами же семян. Вспомним, какой пример давала интеллигенция, дворянство, купечество, чиновничество народу, а мы, священнослужители, были еще хуже всех. Из детей священников выходили воинствующие атеисты, безбожники, революционеры, потому что в семьях своих видели они безверие, ложь и обман. Задолго до революции утратило священство право быть наставниками народа, его совестью. Священство стало кастой ремесленников. Атеизм и безверие, пьянство, разврат стали обычными в их среде. Из огромного

количества монастырей, покрывающих нашу землю, лишь пять или шесть были светочами христианства, его совестью, духом, совершенством веры. Это — Валаамский монастырь, Оптина Пустынь с ее великими старцами, Дивеская обитель, Саровский монастырь, а остальные стали общежитиями почти без веры, а часто монастыри, особенно женские, потрясали верующих своей дурной славой.

Что мог взять народ от таких пастырей? Какой пример? Плохо воспитали мы сами народ свой, не заложили в него глубокий фундамент веры. Вспомните все это. Вспомните! Поэтому так быстро забыл нас народ, своих служителей, забыл веру и принял участие в разрушении церквей, а иногда и сам первый начинал разрушать их.

Понимая это, не могу я осуждать власть нашу, потому что пали семена безверия на уже возделанную нами почву, а отсюда и все остальное: лагерь наш, страдания наши и напрасные жертвы безвинных людей.

Однако, скажу вам, что бы ни происходило в моем отечестве, я гражданин его и, как иерей, всегда говорил своим духовным детям — надо защищать его и поддерживать, а что происходит сейчас в государстве, должно пройти, это грандиозная ошибка, которая рано или поздно должна быть исправлена.

— Попик-то наш красненький,— сказал Житловский, — придавить тебя надо за такую паскудную проповедь. Святошей притворяется, а сам в агитаторах ходит. На «особый отдел» работаешь! — с силой вытолкнул о. Арсения из круга спорящих.

Спор продолжался с прежней силой, но кое-кто из спорящих стал покидать собравшихся.

После этого спора некоторые заключенные стали преследовать о. Арсения, а особенно из группы Житловского. Раза два его избивали ночью, облили мочой нары, отнимали пайку. Мы, дружившие с ним, решили оберегать о. Арсения от людей Житловского, зная, что это народ отпетый, может сделать все, что хочет.

Как-то вечером пришел киевлянин Жора Григоренко, близкий друг Житловского, и позвал о. Арсения к своему шефу. О. Арсений пошел. Житловский, развалившись на нарах, говорил со своими дружками, собравшимися вокруг.

— Ну-ка, поп, с нами или с большевиками пойдешь, душа продажная? На «особый отдел» работаешь, исповедуешь нашего брата, а потом доносишь. Прибьем тебя скоро, а сейчас выпорем для примера. Давай, Жора. Хотя дай попу высказаться.

Жора Григоренко был всеми ненавидим. Коренастый, широкий в плечах, с головой без шеи, лицом, прорезанным шрамом, отчего оно было перекошено и постоянно улыбалось, производил отталкивающее впечатление. Ходили слухи, что у немцев он был исполнителем приговоров, хотя осужден был только за службу рядовым во власовской армии.

О. Арсений спокойно посмотрел на Житловского и сказал:

— Жизнью людей распоряжаетесь не вы, а Господь. С вами я не пойду, — и, сев на нары против Житловского, продолжал, — не пугайте меня, все это было в прошлом: крики, избиения, угрозы смерти. Богом, в которого я верю, каждому человеку отмерены длина пути и мера страданий, и если путь мой оборвется здесь, то на это будет Господня воля, и не мне и вам изменять ее, и каждый из нас в конце концов придет на Суд Божий, где от совершенных дел примет меру свою. Я верю в Бога, верю в людей и до последнего своего вздоха буду верить. А вы? Где ваш Бог? Где вера ваша? Вы много говорите о том, что хотите защищать угнетенных и обиженных людей, но пока вы уничтожали, убивали и унижали всех, соприкасающихся с вами. Взгляните на руки ваши, они у вас в крови.

Житловский поднял руки и как-то странно посмотрел на них, потом взглянул на о. Арсения и не опустил, а бросил руки на колени и, сорвавшись на визг, крикнул:

— Не заговаривайтесь, полегче! — и опять впился глазами в лицо о. Арсения.

С верхних нар раздался голос Григоренко:

— Аркадий Семенович, попик-то на разговорном подъеме может акцию совершить.

— Замолчи, Григоренко! — ответил Житловский. — Дадим ему перед издыханием наговориться. Попы, как советские профсоюзные работники, всю жизнь болтают.

А о. Арсений продолжал:

— Как-то мне сказали, что верующий вы, но во что? Пытали и убивали людей во имя чего? Помню ваше упоминание о Достоевском, о котором говорили как о любимом писателе и душе русского народа. Вспомню вам по памяти слова старца Зосимы из «Братьев Карамазовых», которые он говорил перед смертью, обращаясь к братии: «Не ненавидьте атеистов, злоучителей, материалистов, даже злых из них, не только добрых, ибо из них много добрых, наипаче в наше время. Народ Божий любите... Веруйте и знамя держите. Высоко возносите его. Творите добро людям и тяготы их носите». А ваша жизнь проходит в ненависти и злобе. У каждого человека есть время одуматься и исправиться, и у вас есть.

Сказав, о. Арсений встал с нар и пошел в свой конец барака, но сверху с искаженным от злобы лицом соскочил Григоренко и бросился душить о. Арсения, но, расталкивая столпившихся дружков Житловского, появился высокий и мощный заключенный, носивший в бараке прозвище Матрос. Был он действительно матросом из Одессы, осужденным за «политику» к пятнадцати годам нашего лагеря. Бесшабашный, постоянно веселый, хороший товарищ, Матрос, находясь в лагере, почему-то не терял здорового вида, хотя жил как и все заключенные.

Растолкав собравшихся, Матрос схватил Григоренко, приподнял, словно мешок, и бросил в тол-

пившихся дружков Житловского.

— Ты, деточка, забылся. Здесь не полицейский участок у немцев, а наш лагерь.— И, обернувшись к Житловскому, схватил его за руки, повернул к себе лицом и сказал:— Милый ты мой, угомони своих холуев немецких, а то всех перережем, всех!

Люди Житловского растерялись, в проходе между рядами нар появилось много заключенных, готовых вступиться за о. Арсения и Матроса.

Подойдя к поднявшемуся Григоренко, Матрос произнес:

— Ты, немецкий прихвостень, Петра Андреевича не трогай. Не приведи Бог, что случится, я тебя с Житловским лично пришибу, а перед этим котлету сделаю. Пошли, Петр Андреевич, а то мы им на нервы действуем. Ну, почтение мое вам, до лучших встреч!

Недели через три Жору Григоренко перевели в другой барак. Житловский после этого случая затих и в общении с людьми помягчел. Споры в бараке попрежнему не утихали. О. Арсений в них не участвовал, но сказанное им однажды мнение по вопросу отношения к власти еще долго жило в бараке.

Сазиков

Время шло. Сазиков все больше и больше привязывался к о. Арсению, заботился о нем, многое рассказывал о себе. Говорил о детских годах: родился в Ростове, в интеллигентной семье, окончил Ростовский индустриальный институт, стал инженером, и как-то случилось, что попал в компанию «друзей», и все вдруг завертелось, закружилось, и почти 20 лет прошагал с тех пор Сазиков по уголовной дороге. Шел, шел, оглядывался иногда, задумывался, а свернуть на верную дорогу не мог.

Для следственных органов и для дружков особая жизнь была, а для о. Арсения показывал свою жизнь правдиво, ничего не скрывал. Крещен Серафимом в честь Серафима Саровского, мать верующая была, до 14 лет по церквам водила, в вере наставляла. Умерла, когда Серафиму было 23 года, отец бросил семью давно.

Закружила компания Серафима и пошло, как всегда, с маленького, а потом пошли грабежи, разгул, были убийства. Остановки нет, такой дорогой пошел, сойти с нее трудно, чуть в сторону, дружки назад ворочают.

Чему мать учила, забылось, выветрилось, жизнь другое показывала. О Боге и не думал, где. Его в уголовном мире найти? До этого ли? Забот много. Только посматривай.

С Серым «работать» приходилось. Серый человек страшный, но вдруг иногда и душу покажет. Сложный он.

«Работал» Сазиков по большим делам, деньги брал крупные. Поступал в большое учреждение, крупный магазин, вообще туда, где денег много скапливается, то

ли перед получкой, то ли после выручки. Работая, изучал обстановку учреждения, женщины помогали, благо сам высокий, красивый, речь интеллигентная, статный, одевался модно. Работал хорошо, ценили, отмечали, документы всегда имел чистые, верные. Знания имел тоже хорошие, ведь инженер по образованию. Экономику тоже знал, поэтому в больших универсальных магазинах за него держались как за специалиста. Вот так и бывало — изучит, узнает, что и как. А потом брали большую сумму. Многое сходило благополучно, но и в тюрьмах и лагерях побывал и не малые сроки. Попадался на мелких делах, о больших не знали. Завалился на ерунде, дружок под нажимом на следствии «разболтался», добрались до одного крупного дела, дали «вышку» (расстрел), но потом направили умирать в «особый».

— Встретился с вами, о. Арсений, поразили вы меня, вижу, все для других делаете. Подумал, расчет какой-то хитрый имеете или блажной, но потом понаблюдал за вами, мать свою покойную вспомнил. Многое сказанное ею в детстве припомнилось. Поразили меня, назвав Серафимом. Подумалось, в бреду сказал, да вижу, что не только со мною такое у вас было.

Наблюдать стал за вами и отчетливо понял: не для себя живете, а для людей — во имя своего Бога. Стал и я свою жизнь пересматривать и вижу, что была она, как говорится, «хоть час, да мой, а там хоть потоп». Думаю, для чего так жил? Друзей нет, есть дружки, никому я не нужен. Если и делают что-нибудь мне, то только из страха.

За сердце взяли меня, примером своим поразили. Решил кончать с прошлым. Трудно это сделать. Кончай, да оглядывайся, свои же убьют.

Между прочим, Серый к вам тоже приглядывается. В лагерях уголовники народ отпетый, а в «особом» тем более. Бояться нечего, все равно — смерть. В своих-то бараках мы с Серым порядок навели, но трудно с народом. Знаю, жизнь свою здесь кончу, но хочу вашим путем пойти, верить хочу.

Исповедь

Пришел как-то Сазиков, стоял, маялся, то о том, то о другом разговаривал, а потом сказал:

— Отец Арсений! Хотел бы исповедоваться, если допустите, конец скоро придет, не выйдешь из «особого», а грехов много ношу, очень много.

Трудно в лагере на час, на два из барака вырваться, все время под наблюдением, на то и «особый». Но удалось Сазикову вырваться и прийти к о. Арсению на исповедь.

Остались вдвоем, до поверки часа два было. Застанут вместе, карцер на 5 суток обеспечен. Встал Серафим на колени, волнуется, трясется. Положил о. Арсений на голову Серафима руку и стал молиться. Ушел в молитву. Прошло несколько минут.

Заговорил Серафим сначала отрывочно, сбивчиво, с большим внутренним напряжением.

О. Арсений молчал, не направлял, не подсказывал, а, слушая, молился, считая, что человек сам должен найти себя. Исповедовать в лагерных условиях приходилось много, но старых матерых уголовников редко.

В большинстве своем это были люди, потерявшие все на свете, ничего не имеющие за душой. Совесть, любовь, правда, человечность, вера во что бы то ни было давно были утрачены, разменяны, смешаны с кровью, жестокостью, развратом.

Прошлое не радовало их, оно пугало. Оторваться от своей среды они не могли, а поэтому жили в ней до последнего своего часа жестокими, не надеявшимися ни на что. Впереди была смерть или удачный побег. Исповеди, если такие случались, были всегда одинаковыми. Начало жизненного пути было разным, а все остальное у всех повторялось: грабежи, убийства, разгул, разврат и вечный страх попасться. В зависимости от души человека мера падения была разной, одни сознавали и понимали, что делают, но не могли остановиться и падали все ниже и ниже; другие же упивались содеянным, жили насилием, кровью, жаждали этого и с наслаждением доставляли страдания и муки окружающим, считая свою жизнь правильной и геройской.

Серафим понимал меру своего падения, пытался остановиться, но не мог найти выхода из уголовного мира. Когда приходила старость, многие из уголовников задумывались над своим положением, но решить, что же делать, не могли. Отец Арсений это знал.

Сазиков говорил, но исповедь не шла. Идя на исповедь, он долго думал, что и как рассказать, но сейчас все потерял, смешался. Хотелось искренности, но говорил не от души: то, что хотел сказать, ушло. Потеряла его исповедь связь с душой и остался рассказ.

Видел и понимал это о. Арсений и хотел, чтобы в борьбе с самим собой победил сам Серафим. Победил свое прошлое и этим бы открыл путь к настоящему.

Волновался, сбивался и, открыто рыдая, говорил Серафим, а исповедь от души не шла. Борется прошлое с настоящим, и ощутил о. Арсений, что нужна сейчас помощь Серафиму, нужно то «луковое перышко» апокрифической луковки, которое хоть и тонко и непрочно, но спасает тонущего, ухватившегося за него.

И потянул о. Арсений это «луковое перышко», сказав:

— Вспомни, как умоляла тебя в лесу женщина пощадить, а ты, не пощадив, разве потом не стыдился самого себя?

И в это мгновение понял Серафим, что все видит и знает о. Арсений. Не надо подбирать слова, чтобы показать себя. Надо, не боясь ничего, открыть свою душу, а о. Арсений увидит, поймет и взвесит все сам и скажет, можно ли простить его, Серафима.

Кончил Серафим исповедь, отдал душу и самого себя в руки о. Арсения, стоит на коленях, лицо в слезах. Первый раз в жизни своей открыл самого себя, показал всю, всю свою жизнь и сейчас ждал приговора, наказания, осуждения.

О. Арсений, низко склонившись, молился и никак не мог найти самых простых и нужных слов, которые бы очистили, освежили и направили человека на новый жизненный путь. Искренность исповеди, глубочайшее сознание греховности совершенного и в то же время страшнейшие преступления, доставившие людям страдания, несчастия и муки,— все как бы смешалось вместе, и надо было измерить, взвесить, разделить одно от другого и определить меру всему этому.

Иерей Арсений, прощающий и разрешающий грехи человеческие именем Бога, боролся сейчас с человеком Арсением, не могущим еще по-человечески принять, осознать и простить совершенное Серафимом.

— Господи, Боже мой! Дай силу мне познать волю Твою, указать путь Серафиму, помочь ему найти себя. Матерь Божия! Помоги мне и ему, грешным. Помоги, Господи!

И, молясь, понял, что говорить ничего не надо, взвешивать и решать не нужно, ибо исповедь Серафима, человека, ранее утерявшего связь с Богом, была столь глубокой и искренной, обнажавшей душу свою и показавшей, что этот человек стремился к Богу, нашел Его и уж теперь будет продолжать идти к Нему. За свои дела даст ответ Серафим Самому Господу на Суде Божием и перед совестью своей.

Встал о. Арсений и, прижав голову Серафима к своей груди, сказал:

— Силою и властию, данной мне Богом, я, недостойный иерей Арсений, прощаю и разрешаю грехи твои, Серафим. Твори добро людям, и Господь простит многие грехи твои. Иди и живи с миром, и Господь укажет тебе путь.

И невидимые узы навсегда соединили о. Арсения и Серафима. Окончив исповедь и обняв Серафима, о. Арсений, как бы предвидя будущее, произнес:

— Не оставлю тебя в жизни твоей, Серафим. Господь поможет нам.

Не оставлю тебя

Во время одного разговора Сазиков как-то сказал:

— Вижу, о. Арсений, молитесь вы по памяти, книг-то церковных у вас нет, а узнали мы, что коечто достать можно. Серый с ребятами говорил, а те сказали, что есть.

— Бога ради! Прошу, ни у кого не отнимайте, грех на мою душу не берите.

— Да что вы, о. Арсений, все по-хорошему будет, никого не обидим. В зоне складик есть, все, что у заключенных отбирают, особенно у пришедших по этапу. туда и складывают. Узнали через верных людей, что есть

там книги. Давно лежат. Решили ребята этот складик взять, ну я и сказал, чтобы книги церковные захватили. Рассказал, какие взять.

Заволновался о. Арсений, как это так. Стал ночью молиться и вроде бы к утру задремал и видит: вошел к нему монах, старец, благословил и говорит:

— Не бойся, Арсений. Возьми, что нужно, и молись митрополиту Алексею Московскому. Господь не оставит тебя.

Благословил вторично и ушел, спокойный, величественный.

Дня через два начался в бараке переполох, повальные обыски по баракам, вызовы в особый отдел. Оказывается, уголовники разграбили склад сданных вещей.

Прошло дней 10, и передает Серафим Сазиков о. Арсению две маленькие книжки — Евангелие и служебник. Взял о. Арсений все с благословением, отошел к нарам, раскрыл Евангелие и затрепетал от сознания необыкновенной милости Божией. Во внутреннюю сторону переплета врезан кусочек шелка размером сантиметра четыре, квадратный, древний, пожелтевший, а под ним надпись: «Антиминс Мощи святого митрополита Алексея Московского» 1883 года, а рядом врезан овальный серебряный образок размером в 20-копеечную монету.

Припал к святыне о. Арсений и возблагодарил Господа:

— Господи, Боже мой! Милостию Твоею жив, и дела Твои неисповедимы,— и заплакал от радости.

— Вы, о. Арсений, как службу справите, так мне или Серому отдавайте, у нас не найдут, а у вас сразу отберут. Не беспокойтесь, ничего не оскверним, все будет в целости.

Начались для о. Арсения дни, полные радости: работу дневную переделает, а ночью при мигающем свете читает Евангелие и правит службы, при подъеме на работу отдавал на хранение Сазикову. Месяца два прошло, обыски утихли, и о. Арсений иногда оставлял на день Евангелие у себя, только прятал его в стенной тайник под доску. Сазиков сделал. Плановые и ночные обыски всегда бывали, но в тайнике было безопасно.

Как-то днем, когда все были на работе, а о. Арсений работал по бараку и вроде бы все переделал, достал Евангелие и стал читать. Только сел, дверь барака открылась, и пришли с обыском лейтенант, трое солдат и надзиратель Справедливый.

О. Арсений растерялся и спрятал Евангелие во внутренний боковой карман телогрейки. Стоит молится. Солдаты идут по бараку и все переворачивают, вынимают качающиеся половицы, боковые доски дергают, вещевые мешки трясут. Дошли до о. Арсения, лейтенант из «особого отдела» приказал надзирателю Справедливому:

— Попа обыщите, товарищ! — и пошел с солдатами.

Справедливый стал о. Арсения ощупывать и сразу наткнулся на Евангелие, подержал руку на нем, потом из кармана вынул и быстро себе в карман перело-

жил и стал обыскивать дальше. Кончил обыск и докладывает:

— Товарищ лейтенант, ничего не обнаружено!

— Больно быстро обыскали. Раздевайся, поп, сами обыщем по-нашенскому.

Разделся о. Арсений донага, солдаты одежду осмотрели, швы руками помяли, из карманов на пол все выбросили и, конечно, ничего не нашли. Лейтенант озлобился, обругал о. Арсения матерно и вышел. О. Арсений одевается, молится и плачет за великую радость, за веру в человека. Оделся, вещи собрал, швы зашил и пошел барак убирать после обыска.

Часа через полтора заходит надзиратель Справедливый и спрашивает о. Арсения:

— Есть кто в бараке?

— Все на работах,— отвечает о. Арсений.

Справедливый обошел весь барак, под лежаки заглянул и вдруг спросил:

— Евангелие-то из склада?

О. Арсений молчал.

— Сказывайте, сказывайте — оттуда?

— Да, из склада,— ответил о. Арсений.

— Вы что, голубчик, о двух головах, что ли. Думать надо. Возьмите книгу, а коли взяли, так убирать надо. Нашел бы лейтенант, насмерть бы забили,— и тихо добавил: — Простите меня, батюшка, трудно здесь в лагере не только заключенным, а и нам, если хоть капля совести осталась. Знаю, все знаю, отец Арсений! Каково здесь всем вам, понимаю, но от трусости и слабости человеческой приходится работать в этом аду. Помогу вам, чем смогу, может, устрою куда полегче, но время для этого надо. Исподволь буду делать, а на людях нарочно лют буду. Вы уж простите,— проговорил и, не оборачиваясь, вышел из барака.

Посмотрел о. Арсений вслед Справедливому и устыдился, что усомнился в великом провидении Божием, в путях Его неисповедимых, и еще раз понял, как разнообразна и полна душа человеческая и что в каждой душе можно найти искру Божию и любовь, и тихо стал произносить молитвы, повторяя:

— Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот твоих... Господи! Господи! Велик Ты и славен делами Своими. Вот они, помощники Твои, о которых говорила Матерь Твоя. Мог ли я думать, что надзиратель будет помощник Твой. Мог ли?

И, вспомнив имя Справедливого — Андрей, стал молиться о нем, а молясь, увидел его жизнь, всю его жизнь, и понял, что это за человек. Хороший и добрый.

Этап

Прозорливость о. Арсения поражала и подчас пугала людей, приходивших к нему, но сам он не понимал и не чувствовал, что Господь даровал ему великое знание души человеческой.

Постоянно соприкасаясь с о. Арсением, я видел, что он искренне верил, что понимание души является совершенно естественным для иерея, и ему думалось, что, читая мысли человеческие, он не читает их, а сам пришедший рассказывает о себе.

Он оказывал огромное и поразительное влияние на людей, общающихся с ним, а тех, кто внимательно наблюдал его жизнь, удивлял глубиной силы провидения, данной ему Богом.

Авсеенков рассказывал мне, что его до глубины души поразили два случая, происшедшие перед его глазами еще тогда, когда он только начинал становиться верующим под влиянием о. Арсения.

Пригнали в лагерь почти перед самой поверкой большую партию новых заключенных. Начальство стало распределять их по баракам на пустые места. Человек 25 попало в наш барак. Этап, видимо, был тяжелый. Этапников загнали в барак. Вошли не люди, а тени. На ногах не стоят, во многих жизнь еле-еле теплится. На улице мороз, ветер, в дороге два дня не выдавали питание, не спали трое суток. Чем живы, понять нельзя.

Народ по составу сборный, большинство интеллигенция, «враги народа» — инженеры, агрономы, врачи и несколько уголовников. Пригнали перед проверкой, когда в лагере заканчиваются все дела: хлеб выдан, обед из баланды съеден, начальство ушло или собиралось уходить. Вначале хотели хлеб выдать и обед, но потом поразмыслили — хлопотно. Котлы надо разогревать, кладовки отпирать, хлеб резать, да еще ведомости писать, чтобы поставить на довольствие. Хлопотное дело. Решили: подождут. А завтра все сделаем — успеют.

Начальник по режиму сказал:

— Не барыня они, чтобы за ними ухаживать, а враги народа. Проживут.

На этом и порешили. Понимали, конечно, что будет в этот день в лагере большая смертность, так что придется по дням расписать умерших. Этапное начальство людей сдало, теперь лагерному заботиться. Перемрут — лагерю отвечать.

Вошли этапники в барак, а новичков всегда всюду плохо встречают, что в детстве в школе, что на работе, а в лагере и подавно. Смотрим: вошли люди, а стоять не могут. Трудно понять, как дошли до лагеря. К стенкам прислонились, за лежаки держатся.

Старший по бараку осмотрел их и сказал:

— На свободные лежаки разбирайтесь, — а свободные лежаки от печей далеко. Холодно там, не согреешься за ночь. Старожилы барака в это время спать устраивались, кто уже лежал, кто в карты доигрывал. Уголовники осмотрели этапных, увидели, что взять с них нечего, занялись своими делами.

О. Арсений лежал и молился, когда этапные вошли, встал, осмотрел их и подошел к барачной «головке», так в бараке называли заправил из «серьезных» уголовников, их слово в бараке

— закон для шпаны и политических, которые на них всегда с опаской поглядывали, а проще говоря, боялись. «Головку» не послушаешь — все случиться может. Подошел о. Арсений к «серьезным» и сказал:

— Надо этапным помочь, голодные, мерзлые, обмороженные, истощенные, если не поможем, то часть народа умрет к утру.

«Серьезные» уважали о. Арсения, не один год с ним жили, знали, что за человек, любили по-своему, а тут один из «серьезных» сплюнул, выругался и проговорил:

— Да ну их, пусть дохнут. Сами скоро дойдем, от своей пайки жрать не дам. Понял, папаша!

Остальные молчали. Кому хочется со своим расставаться, да и закон лагерный — только дружкам помогай. Смотрят все в бараке на о. Арсения и «головку», чем дело кончится.

Этапники у входа в кучу сбились, слушают.

О. Арсений на людей «головки» взглянул, перекрестился и спокойно сказал:

— Этапных положим на лежаки у печей, сами на холодные переляжем, что у кого из еды есть, на стол кладите, а воду в печах нагреем, еще не остыли, давайте скорее.

«Серьезные» молча поднялись и пошли по бараку народ перекладывать, что у них из еды было, первые достали и положили на стол. Остальные барачные жители тоже, конечно, класть стали, что у них было из еды. Кто-то из шпаны пытался утаить хлеб, им наподдали, надолго запомнили.

Еды по крохам собрали много, накормить 25 человек было можно. Воду в кружках нагрели в печах. О. Арсений собранное разделил, роздал, а ребята развели этапных по теплым лежакам.

Все новенькие выжили, не то, что в других бараках. На третий день этапные ожили, а на четвертый на работу послали.

Поразило меня спокойствие и сосредоточенность о. Арсения, когда он тихо и просто сказал: «Давайте быстрее!» Сказал людям, у которых, казалось, не было за душой ничего. Сказал, и пошли выполнять, словно приказ.

— Часто задумывался я, — говорил Авсеенков, — в чем сила о. Арсения: то ли он смог воззвать к совести людей, то ли просто именем Бога потребовал от них выполнения необходимого долга.

И Авсеенков решил, что требовал все это о. Арсений от имени Бога.

Остановитесь

Второй случай, виденный Авсеенковым, еще более поразил его.

— Перед тем, как запирать барак на замок, — рассказывал он, — происходила поверка. Заключенных из бараков выгоняли на улицу, строили в шеренги и производили перекличку. Был ли мороз 40°, проливной ли дождь или беспощадно осаждал гнус и

комары, надо было мгновенно выбегать и вставать на свое место в ряд. Больные, имевшие освобождение из больницы, оставались в бараке и лежали на нарах, но, пока заключенные стояли на поверке, надзиратели осматривали барак и пересчитывали оставшихся.

На этот раз заключенные выбежали, стали в шеренгу. Было морозно, пересчитали уже по второму разу, но одного человека не хватало. Люди мерзли, надзиратели злились, начали третий пересчет, и вдруг из барака выскочил парень лет 25 и бросился на свое место, в ряд, но встать не успел.

Надзиратели сбили его и стали бить ногами, парень пытался встать, что-то кричал, но его ожесточенно избивали. Строй стоял молча, не шелохнувшись, у всех сумрачные лица, возмущенные, злые, но сказать, а тем более сделать, ничего нельзя.

Я стоял с о. Арсением и вдруг увидел, как тот вышел на шаг из строя, перекрестился, перекрестил надзирателей, избиваемого парня и отчетливо сказал:

— Именем Господа говорю вам — остановитесь! Прекратите! — и, положив еще раз на всех крестное знамение, встал обратно в строй.

И сейчас же перестали бить парня, надзиратели занялись пересчетом, парень, шатаясь, встал на место. Я потом спросил своего соседа по шеренге:

— Видели, что сделал Петр Андреевич (о. Арсений), когда били парня?

— Что сделал? Стоял как вкопанный.

Я всему этому страшно поразился, поразился той силе, которую дал Бог этому человеку. «Может быть, это гипноз», — подумалось мне. И тут же я ответил сам себе: «Нет, конечно, нет. Не для себя, а ради других совершает он все эти дела».

Совершаемое о. Арсением часто было необычным, казалось, нелогичным, но все проистекало из самого простого и обычного.

Народ в лагере попадался самый разный, были и сектанты, фанатичные до безумия и абсурда. Иногда шли на смерть, лишь бы не попуститься малым. В своих убеждениях были совершенно искренни, поэтому ко всем относились, как к заблудшим овцам. Часто эти сектанты помогали людям, но создавалось такое впечатление, что делали они это не ради человека, а ради самих себя. К о. Арсению относились хорошо и пытались убедить в неправильности его веры, но на это о. Арсений всегда говорил:

— Разве я убеждаю, что ваша вера плоха? Верьте, как душа ваша велит, и тогда придете к истине. Помните слова апостола Павла: «Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов». Побеждайте зло добром.

И мне всегда казалось, что именно то, что он нес тяготы других, давало ему возможность побеждать многие трудности, влекло к нему людей, заставляло их следовать за ним и в ряде

случаев давало ему ту необыкновенную силу духа, которая невольно принуждала людей повиноваться ему во имя Бога, и эти два случая, рассказанные мною, были тому примером.

Радость

Лагерь жил своей размеренной жизнью. Одни умирали, другие приходили, чтобы умереть в нем и ждали своего часа. Из «особого» на свободу почти никогда не выходили. Было несколько случаев освобождения бывших партийных работников из правительственных учреждений или очень видных ученых. Рассказывали, что за последние три года освободили около девяти человек, из которых один умер, когда ему сообщили это известие.

В 1952 году о. Арсения вызвали в особый отдел сначала к лейтенанту, а потом к майору.

Майор встретил радостно:

— Здравствуйте, отец Арсений! Здравствуйте, Петр Андреевич! Вести у меня сегодня хорошие. Александра Павловича Авсеенкова освобождают. Добились друзья с большим трудом. Завтра к себе вызываю. Боюсь, чтобы это известие его не потрясло. Сердце у него плохое. Прошу осторожно сообщить ему о предстоящем освобождении. Завтра буду объявлять ему при начальнике лагеря, пусть не волнуется. И не только освобождают, а в партии восстанавливают. Главный решил.

А с вами плохо — церковник вы. На вашем деле штамп: «Содержать в лагерях бессрочно — до смерти». Хочу помочь вам и не могу. Из нашего «особого» таких, как вы, освобождают только по личным решениям Берии или его заместителя. С вашим делом не пойдешь, оснований нету. Освободишь без их разрешения, донесут немедленно, и сам в лагере будешь. Если что-нибудь переменится, все для вашего освобождения сделаю, а теперь и Александр Павлович включится в это дело.

Меня тоже в Москву переводят, «простили», так сказать, восстанавливают в генеральском звании и опять посылают в разведку. Всю жизнь государство охранял. Родину любил и своей работой в Отечественную войну не один десяток дивизий спас, а потом кому-то помешал, донесли Главному и чуть было под расстрел не подвели «за связь с немцами». Главный велел проверить и послал работать в лагерь. Сюда попал и ужаснулся: помочь ничем не могу, следят за каждым твоим шагом. То, что увидел, даже предположить не мог. При тебе бьют, а ты остановить не имеешь права. Раз остановил, сообщили: мешаю и задерживаю следствие. Страшно. Для чего все это делается, понять сейчас невозможно. Петр Андреевич, уходя отсюда, хочу помочь кому надо. Скажите, сделаю, плохо, что вам не могу помочь.

О. Арсений задумчиво посмотрел на майора и сказал:

— Спасибо вам! Спасибо! Мне помочь нельзя, когда нужно будет, Господь поможет, но помогите выйти из этого лагеря Сазикову, бывшему студенту Алексею Никонову, врачу Денисову, и бывшему уголовнику Трифонову. Переведите в простой лагерь, там проще жить и помочь можно.

Уголовника Серого о. Арсений не назвал. Посмотрев на Сергея Петровича — майора, сказал:

— Сергей Петрович, приедете в Москву, сделайте все, чтобы уйти со своей работы, не нужно работать вам в органах. Перейдите на что-то другое, а то сгорите. Увидев, что происходит здесь, сами стали другим человеком. Спасите свою душу.

Абросимов смотрел на сидящего перед ним старика и думал, что ему, Абросимову, еще не совсем ясна его дальнейшая жизнь, а он, о. Арсений, вероятно, знает многое из его прошлой и будущей жизни. И опять воспоминания детства пришли к майору. Да, такой человек, как о. Арсений, настоящий христианин, о таком он читал когда-то.

Чувство глубокой скорби и одновременно радости охватило Сергея Петровича, он встал, подошел к о. Арсению и, волнуясь, сказал:

— Встречу ли я вас еще, не знаю, но вы оказали на меня огромное влияние. Многое я стал оценивать по-другому. Верю вам, понимаю, почему верите, понимаю Веру Даниловну и жену свою. Все понимаю. Знаю, что вы все время молитесь. Не забывайте меня, Петр Андреевич! Отец Арсений, не забывайте!

Отец Арсений поднялся со стула, подошел к Абросимову, обнял его за плечи и сказал:

— Да хранит вас Бог, Сергей Петрович. Не забывайте людей, помогайте им, совершайте добро, где бы вы ни были. Помогайте людям. Встретимся мы еще с вами. — Низко поклонился и вышел. Вышел так, что Абросимов почувствовал, что не он вызывал к себе о. Арсения, а о. Арсений пригласил его к себе.

Встречи с о. Арсением Абросимов никогда не забывал. Увидел он старика в рваной телогрейке, изможденного, усталого, и показалось ему, что сломлен он и опустошен, но когда взглянул ему в глаза, понял, что полон он жизни, веры и бесконечной любви к людям, и не сломлен он и не опустошен, а горит силой внутренней, которую отдает людям, облегчая их страдания, тяготы, отгоняет уныние, страх и несет людям веру.

Абросимов понимал, что, пожелай этот старик выйти на волю или совершить что-то необходимое ему, то все совершится, так велика сила его духа, обогащенная и вскормленная верой. Здесь в «особом» совершает он свой христианский подвиг, неся людям помощь и свет Бога и ради людей, при этом наравне со всеми неся страдания и лишения.

Страшна была работа Абросимова, тяжелым был его жизнен-

ный путь, в результате чего связь с Богом была утеряна, но встреча с о. Арсением всколыхнула его душу, заставила задуматься над многим, переоценить прошлое.

Долго надо было еще Абросимову идти к Богу, но первый шаг на тропу веры он с помощью о. Арсения сделал.

Много лет спустя Абросимов рассказал:

— Возвращение мое в Москву было трудным. Все было мне отдано — и звание, и должность, но что-то встало между моей прежней и настоящей жизнью. Много я работал и ушел с этой работы. Буду откровенен: совершал я раньше много тяжелого, страшного и, делая все это, был уверен, что все делал правильно.

Во многом помог мне и Александр Павлович Авсеенков. Помог разобраться. Осознав многое, подумал, что нет мне прощения, но однажды Александр Павлович передал мне записку от о. Арсения (он тогда был уже освобожден), в которой были слова: «Помните и не сомневайтесь! Господь, наказующий нас за прегрешения наши, волен и отпустить их нам с присущим Ему милосердием, и что нет столь тяжкого прегрешения или проклятия, которых нельзя было бы искупить делами своими и молитвой».

В дальнейшем много помог мне о. Арсений в познании веры. Конечно, не стал я таким, как многие его духовные дети, но пытаюсь идти к Богу.

О. Арсений, которому я часто говорил о многих моих сомнениях и колебаниях, связанных с вопросами веры и обрядов, всегда говорил мне: «При вашем жизненном пути, долгих безыдейных скитаниях, внутренней потерянности сомнения и колебания естественны и неизбежны, но разве в этом дело — вы поняли, ощущаете, что Бог есть, знаете путь к Нему. Верьте — и все наносное отойдет».

Замечательный человек о. Арсений, настоящий христианин.

О. Арсений возвратился в барак. Было радостно за Александра Павловича, Сазикова, Алексея, Денисова, Трифонова, они покинут «особый» и в конце концов выйдут на волю, но чувство грусти, что друзья уйдут, охватило душу.

Помощников и друзей станет меньше. Верилось, что Господь не оставит его одиноким и придут, найдутся новые люди и заменят ушедших. Вечером сообщил Авсеенкову об освобождении. Ночь провели в разговорах, а утром простились. Время и дела крепко привязали Авсеенкова к о. Арсению, привязали навсегда. О. Арсений и лагерь полностью переменили образ мыслей, восприятие окружающего и мировоззрение Александра Павловича. Попав в лагерь, хотел кончить жизнь самоубийством, стал беспомощным, безвольным, а уходил из лагеря духовно обогащенным, сильным духом и с крепкой устоявшейся верой в Бога, человеком, понимающим человеческие страдания.

Ночью долго молились оба.

Обнимая о. Арсения, Авсеенков повторял:

— Не забывайте меня, отец Арсений, с вашими, а теперь моими буду встречаться. Молитесь о нас.

Авсеенков простился с Сазиковым и Алексеем утром, зная, что после объявления сообщении об освобождении не дадут ему вернуться в барак. Недели через четыре внезапно вызвали Сазикова, Алексея, Денисова и Трифонова в особый отдел. В барак не вернулись. Заключенные гадали, что случилось с ними.

Майор Абросимов, а теперь генерал, сдержал свое обещание.

*Жизнь продолжается**

Жизнь в лагере продолжалась. Систематически привозили новых заключенных на место ушедших на лагерное кладбище. Смерть почти ежедневно посещала то один, то другой барак, каждый раз уносила с собой новую жертву.

Завтрашний день был известен, он был голодным, изнурительным, тягостным, наполненным до предела унижениями и тяжелой многочасовой работой. Отупение, безразличие, желание близкой смерти ощущали заключенные.

О. Арсений продолжал жить обычной подвижнической жизнью. Было тяжело без Алексея-студента, Сазикова, Авсеенкова, он полюбил их, привык и опирался на них в своих делах. Появились новые люди, с которыми он сроднился, но они переводились из барака в барак, умирали или угоняли их в дальние отделения лагеря, в шахты.

По-прежнему помогая окружающим, неся им добро и духовное утешение, о. Арсений был необходим для многих. Как-то случилось, что он входил незаметно в жизнь людей, помогая им, облегчая страдания, сглаживая трудности жизни, и примером своего отношения ко всему происходящему показал, что даже жизнь в «особом» не так страшна, если за тобой стоит Бог, к которому всегда нужно прибегать.

Уголовник Серый тяжело заболел. Болело в области живота, обратился к лагерным врачам, сперва дали аспирин, потом ревень, но ничего не помогало. Лечили чем попало, почти не осматривая, а потом определили запущенный рак печени с метастазами.

Серый умирал тяжело, в больницу не брали и не лечили. Боли были страшные, но приходилось передвигаться по бараку, ходить к нарам, выходить на поверку. О. Арсений терпеливо ухаживал за Серым, старался помочь, чем мог, ходил к врачам, просил нар-

---

* Рассказ заключенного Серого записан в 1965 году со слов о. Арсения, но рассказу придан тон и манера, присущие уголовникам. Описание жизни отца Арсения в лагере написано А. Р., живущим в то время в одном бараке с о. Арсением и уголовником Серым.

коз для обезболивания, но ничего не получал.

Серый был озлоблен на всех и вся, но о. Арсения принимал кротко, ждал его прихода и просил сидеть около него. Когда о. Арсений садился около него, Серый начинал рассказывать о своей жизни и как-то забывал о боли. Два дня до смерти рассказал:

— Умираю и мучаюсь за дело. Много людям горя принес, погубил многих. Жизнь не с того конца начал. Каяться не хочу, столько дел в жизни наворочал, не счесть. Знаю, что простить меня нельзя, да и не для чего. В Бога я почти не верю, так, больше в приметы какие-то, но знаю и чувствую, что Бог есть, потому что вы в Него верите и Им живете. Из поповичей я. Отец дьякон был, в Бога не верил, служил по расчету, деться-то некуда было, в общем, служил как профессионал. Когда я рос, то видел кругом ложь и обман, потом многие водку пили, развратничали, баб хватали, над Богом и обрядами издевались, а этим же Богом прикрывались. На словах одно ,а на деле другое. Бывало, отец из церкви после службы придет и начнет доходы считать, за водкой посылает, над верой насмехается, матерится. Рассказывает, как деньги с тарелок таскал или бабу деревенскую облапошил.

Не верил я в Бога: казалось, блажь людская, в семинарии учился, кончил, воровать начал, по тюрьмам пошел, а потом революция началась, беспорядки, грабежи, разгул. Грабь, режь, Бога нет, сам себе хозяин. Компания подвернулась мне, ну и началось... Сперва дела маленькие пошли, потом средние, добрался до крови человеческой, где уж остановиться? Так и пошло, отец Арсений.

Много я ее, кровушки, пролил. То о новом деле думаешь, то в загул с бабами пойдешь, то от тюрьмы бегаешь. Времени-то не было вспомнить — есть Бог или нет. Да, по правде говоря, и думать о Нем не хотелось. Вас в лагере встретил, подумал, что юродствуете или хотите выгоду какую-то извлечь. Но вот увидел, как дружку моему Серафиму Сазикову и чекисту Авсеенкову Александру Павловичу душу перевернули, понял — искренне верите в Бога, и сам понял, что Бог, конечно, есть, ведь недаром в церковь, где отец дьяконом служил, народ валом валил.

Знаю, что Бог есть, но мне к Нему дороги закрыты — дела мои прошлые никакими молитвами не замолить. Умираю, смерти не боюсь, но чего-то страшно, вот чего, разобраться не могу. Думал одно время исповедоваться у вас, да, зная вас, что не простите мне грехов, слишком уж много натворил, не желаю. Что было, то было. Вот только два случая перед глазами часто стоят и ночью во время бессоницы приходят на ум. Парнишку 17-ти лет пришлось в 30-м году пришить, как-то все по-глупому получилось. В ногах валялся, просил, плакал, а я самогону хватил, перед дружками куражился, хотел храбрость и безразличие свое показать, издевался

над ним. Закрою глаза, а он, мальчишечка, так передо мною и стоит весь заплаканный.

И женщина одна просто меня замучила, на неделе раза три придет, а сейчас и каждый день приходит.

Квартиру брали в 20-х годах в Москве, пришли по наводке, думали, пустая, на работе все. Пришли, а там сестра хозяйки, красивая, статная, молодая, как говорят, кровь с молоком. Вошли мы, а она все поняла, к окну бросилась. Заперли мы ее в комнате, вещей в квартире много, золотишко тоже было. Стали собирать в узлы, сложили, уходить надо, а женщина-то видела нас, убрать ее необходимо, выхода нет, опознает после. Ребята мутятся, мнутся, дело-то мокрое, да и для них не очень привычное.

Пошел я. Дверь открыл, она взглянула на меня и участь свою поняла. Глаза испуганные, большие. Схватил я ее, взглянул в глаза и решил воспользоваться ею. Ребятам крикнул, чтобы в другую комнату ушли, ну и потащил.

Ударила меня в лицо, стала вдруг спокойной и говорит презрительно:

— Зверь вы, а не человек. Зверь, кончайте скорее! — В глазах смертельная ненависть, лютая прямо, а от этого еще красивее стала. Ну я снасильничал, стал нож доставать. Она стоит, прижалась к стене, ждет удара, потом в угол к иконе повернулась, перекрестилась несколько раз и сказала:

— Кончайте. Со мною Бог; Матерь Божия, не оставь меня!

Жалко мне ее стало, да барахла много взяли, я ее и ударил под грудь два раза, а она сползает по стене и быстро крестится и шепчет: «Господи, помилуй». Вот так каждый день ко мне и приходит теперь.

О. Арсений, слушая Серого, все время молился, но от жутких подробностей рассказа его пробирал озноб. Сознательная жестокость, злоба, цинизм, бессердечие даже в лагере встречались не часто.

Умирал Серый мучительно, лицо было искажено то ли от страданий, то ли злобой к живущим людям. Лицо после смерти так и осталось необыкновенно злым.

*Допрос**

После отъезда Абросимова сменилось два начальника «особого» отдела и назначили пожилого мрачного подполковника. Кроме него в «особый» отдел пришло много новых сотрудников. Строгости в лагере усилились, жизнь заключенных стала совершенно невыносимой.

Многих вызывали в «особый» на допросы. Угрозы, избиения, карцер стали массовыми явлениями. Со стороны казалось: чего еще добиваться от людей,

---

* Записано на основе рассказа о. Арсения нескольким своим друзьям и духовным детям.

практически обреченных на смерть, ведь это нелепо, однако следователи даже здесь пытались создавать какие-то новые дела.

«Особый» отдел в последнее время «работал» с большой нагрузкой, создавались дела, «раскрывались заговоры», проводились доследования, где-то выносили дополнительные приговоры, кого-то расстреливали.

В марте о. Арсения вызвали на допрос в «особый» отдел. Допрашивал майор Одинцов, человек среднего роста, с лысой головой удлиненной формы, отечным лицом, тонкими губами и бесцветными глазами. Всегда подтянутый, в хорошо отутюженном кителе, неизменно вежливый при встречах, он наводил ужас на допрашиваемых заключенных жестокостью допросов, но почему-то имел прозвище Ласковый или второе Начнем, пожалуй.

О. Арсений вошел, встал при входе. Деловито просматривая какие-то бумаги, следователь долго не обращал внимания на о. Арсения, потом, откинувшись на стуле, сказал:

— Рад познакомиться, Петр Андреевич! Рад. Обо мне, вероятно, слышали, я Одинцов.

— Слышал, гражданин следователь, — ответил о. Арсений.

— Ну, вот и хорошо, батюшка. Начнем, пожалуй! Хорошие слова сказал Александр Сергеевич Пушкин, к нашему разговору сказал. Говорить и признаваться у меня надо, а то кровью утретесь. У меня порядочек известный. Начнем! Признавайтесь!

— О чем рассказывать?

— Рассказывай, поп, об организации, которая действует в лагере и преследует цели покушения на жизнь товарища Сталина. Нам все известно. Тебя выдали, не тяни, раз обо мне слышал.

Собравшись в один ком нервов, о. Арсений молился, взывая к Матери Божией о помощи, умоляя Ее дать ему силы выдержать допрос:

— Господи, Боже наш! Не оставь меня грешного, укрепи Владычица Небесная дух мой немощный... Я ничего не знаю ни о какой организации и признаваться мне не в чем.

— Вот что, поп, играть с тобой не буду, ты и так полудохлый, тебе все равно подыхать, а мне дело позарез нужно. Садись и пиши, что я тебе диктовать буду.

— Гражданин следователь, разрешите обратиться к вам с вопросом.

— У меня вопросов не задают, а отвечают, ну, а ты давай задавай, все равно тебе подыхать здесь.

— Гражданин следователь! Прошу вас, взгляните в мое дело и вы увидите, кто допрашивал меня, и я никого не оговаривал, а меня били и очень тяжело.

Одинцов тяжело поднялся, обошел стол, подвинул к о. Арсению лист протокола допроса, ручку и сказал:

— Кто бы ни допрашивал, а у меня все напишешь.

— Нет, ничего писать не бу-

ду, в лагере нет никакой организации, вы хотите создать новое дело и расстрелять безвинных, замученных людей, которые и так обречены на смерть.

Одинцов подошел ближе, губы его задрожали, тусклый бесцветный взгляд оживился, и, почти заикаясь, он произнес:

— Милый ты мой! Ты знаешь, что сейчас с тобой будет?

— Господи, помоги! — только и успел произнести про себя о. Арсений, как страшный удар в лицо сбросил его со стула, и, теряя сознание от ошеломляющей боли, он понял, что все кончено. Одинцов добьет его.

В какие-то короткие мгновения приходя в себя, он чувствовал удары, наносимые ногами и пряжкой ремня, который бил по лицу. В эти мгновения о. Арсений молил Матерь Божию, но, не успев произнести двух слов, проваливался в темноту без сознания и, наконец, затих. Очнулся на несколько секунд на улице и понял, что волокут его в барак. Второй раз очнулся в бараке на нарах. Кто-то мокрой тряпкой протирал его лицо и говорил:

— Добили старика, не доживет до утра, — и матерно с ненавистью вспоминал Ласкового — следователя Одинцова.

Третий раз о. Арсений очнулся, как ему показалось, опять в бараке. Тело нестерпимо болело, и боль гасила все в сознании. Пытаясь что-то припомнить, о. Арсений решил, что его допрашивают, потому что кто-то резал, как ему показалось, голову. Он захотел призвать имя Божие, молиться, но, ухватившись за начало молитвы, мгновенно терял ее. Боль, невыносимая боль вытесняла все, бросала в беспамятство, раздирала сознание. Он ждал и ждал еще ударов, крика, еще большей боли, ждал смерти.

Возвращался десятки раз в сознание на короткие мгновения и терял его на длительное время. Приходя в себя, о. Арсений все время пытался войти в молитву, но не мог, ожидая новых ударов: неимоверная боль, затуманенность мыслей отводили молитву. В один из кратких периодов возможности сознавать о. Арсений с испугом понял, что он умрет без молитвы, без внутреннего покаяния.

Голову кто-то поворачивал, что-то нестерпимо жгло и кололо, и вдруг о. Арсений услышал:

— Быстро два укола камфары, осторожнее с йодом, не попадите в глаза. Осторожно брейте голову.

И о. Арсений почувствовал, что чьи-то руки нежно поворачивают его голову, а сам он лежит на чем-то твердом и без одежды.

Сознание надолго покинуло его, потом ему рассказывали, что пролежал он без памяти больше трех дней на больничных нарах.

Придя в себя, пытался понять, где он. У следователя? В бараке или еще где? И с трудом осознал, что в больнице. Начал молиться, но после двух или трех фраз боль опять отбросила его во мрак беспамятства, и эта борьба за молитву с болью и

беспамятством продолжалась несколько дней.

С каждым днем он успевал захватить, именно захватить, все больше слов молитв и, наконец, молитвой победил все. Глаза его были завязаны, но он все время чувствовал прикосновение чьих-то ласковых, заботливых рук, кто-то ласково что-то говорил ему и кормил его. Голос был с легким еврейским акцентом:

— Ну, ну, ничего, выжили. Не думал, что вырветесь из этой переделки. Завтра развяжу вам лицо. Сам на допросах бывал, знаю эти лагерные разговорчики, но мы вас починили, почти как новый.

Скоро сняли повязку с глаз и с головы. Врач, которого звали Лев Михайлович, заботливо возился с о. Арсением, давал советы, успокаивал:

— Тихо, тихо, сейчас посмотрим, дорогой мой. Лицо у вас почти без единого шрама, ну, а теперь посмотрим голову. Вот и хорошо. Рад за вас.

На о. Арсения смотрели два больших близоруких глаза в очках, лицо было мягким и добрым.

— Задержу вас еще здесь, сколько могу, — говорил Лев Михайлович. — Задержу, да не попасть бы вам второй раз к этому зверю. Молитесь своему Богу, а то убьет.

Пробыл о. Арсений в больнице более 40 дней. Расставался со Львом Михайловичем, замечательно добрым человеком и прекрасным врачом, буквально со слезами. Обнимая о. Арсения, Лев Михайлович убежденно говорил:

— Не может так все продолжаться, не может. Обязательно кончится, и мы выйдем с вами из этого ада и обязательно встретимся.

И действительно в 1963 году они встретились.

Вернулся из больницы о. Арсений в тот же барак, но из старых жильцов его осталось очень мало, большинство угнали на рудник. Говорили, что следователя Одинцова куда-то перевели.

Месяца через два-три после выхода из больницы вызвали о. Арсения в «особый» отдел к начальнику. Грузный, неповоротливый человек со свирепым взглядом, он внимательно осмотрел о. Арсения и сказал:

— Живучий ты! И Одинцова перенес, и в лагере зажился, не мрешь. Ну, это хорошо. Намекали тут мне из Москвы, чтоб тебя не добить, да кто разберет, может, на пушку берут, проверяют. Ну! Ну! Живи, на тяжелые работы дам указание не посылать.

После этого разговора до самой смерти Главного в «особый» не вызывали.

Шрамы на теле и голове остались воспоминаниями о допросах.

Все меняется

Сообщение о смерти Главного пришло к заключенным в лагеря с опозданием на три дня. Пришло случайно, через охрану. Администрация лагеря по неизвестным причинам скрывала это известие.

Был март, стояли большие мо-

розы, снежные вьюги проносились над лагерем, заметая его и временами отрезая от внешнего мира. Вместе с сообщением о смерти в лагерь вошло что-то тревожное, щемящее, неизвестное. Каждый думал: что будет? Пойдет ли все как раньше или что-то изменится к худшему и всех заключенных уничтожат? Но каждый понимал: что-то должно случиться.

Первых два месяца, приблизительно до конца мая, лагерь жил прежней жизнью, но потом в его размеренный ход стало вторгаться что-то новое и почти неуловимое, казалось, что в хорошо заведенный механизм кто-то вставляет палки и сыплет камни. Все так же работали, так же плохо кормили, так же умирали заключенные, но не привозили новых. В действиях начальника появилась нотка неуверенности, даже извинительного заигрывания с заключенными.

Приблизительно через год после смерти Верховного стали происходить перемены: улучшилось питание, матерщина исчезла, надзиратели и следователи в «особом» отделе обращались с заключенными на «вы». Приехали комиссии из ЦК, прокуратуры. Номера с одежды спороли, стали называть не номером, а по фамилии. Пошли опросы, подымали дела, разговоров было много. На некоторых заключенных дела были уничтожены, и следствие вели заново, отправляя заключенных в те города, откуда они были взяты. Вызывали свидетелей, кого-то запрашивали. Разрешили переписку и даже посылки. За работу стали платить и делать расчеты за питание и одежду. Первая комиссия, спросив несколько сот заключенных, уехала, месяца через два приехала вторая и приступила к поголовному пересмотру дел репрессированных.

Вначале освобождали бывших военных, старых членов партии, ученых, бывших видных хозяйственных руководителей.

Прошло еще некоторое время, объявили массовую амнистию уголовникам. Лагерь из «особого» стал обыкновенным, но со строгим режимом. В нем остались бывшие полицаи, власовцы, уголовники, не попавшие под амнистию за совершенные тягчайшие преступления, и политические, освобождение которых по неизвестным причинам кому-то было нежелательно.

За каких-то полтора года лагерь опустел на девять десятых. Бараки пустовали, административный состав сократили наполовину. Начальство решило сузить зону лагеря. Перенесли охранные вышки, проволочную ограду, часть бараков осталась вне зоны, и их сожгли.

Последнее время о. Арсения переводили из барака в барак. Из друзей никого не осталось, но о. Арсений по-прежнему помогал окружающим, постоянно молился, ежедневно писал письма и с нетерпением ждал писем с воли. Оставшиеся заключенные были крайне озлоблены, и было трудно сейчас войти с кем-нибудь в дружеские отношения. Два или три иерея и несколько верующих заключенных, которых

знал о. Арсений, находились в состоянии затравленности, угнетенности, не надеялись на освобождение, но писали всюду заявления и жалобы и из-за этого почему-то держались обособленно и отчужденно. Пожалуй, это время было самым трудным для о. Арсения, вокруг него образовалась пустота, безлюдье, но осталась молитва, которой он только и жил. Трудно было потому, что, постоянно горя желанием оказывать человеку добро, он не находил сейчас себе дела.

В середине 1956 года о. Арсений был расконвоирован, разрешили выходить за пределы лагеря в жилой поселок, освободили от тяжелых работ и перевели в инвалидную команду.

К марту 1957 года лагерь опустел почти полностью, зону сужали несколько раз, опустевшие бараки сжигали, и теперь за проволочной оградой лагеря чернели десятки остовов печей от сгоревших бараков, валялись жгуты ржавой колючей проволоки, блестели осколки стекол, громоздились остатки кирпичных фундаментных столбов.

Писем приходило много, и это было большой радостью. Первым было письмо от Веры Даниловны, потом от Алексея, Ирины, Серафима Сазикова, Александра Авсеенкова, и пришли с очень сложной оказией записки от Абросимова, теперь генерала, Абросимов писал: «Помню, ничего не забыл, делаем все, но мешают. Помню и помню вас. Верю, что скоро встретимся в другой обстановке. Держитесь!»

О. Арсений отвечал на письма, вдумываясь в судьбы и жизнь людей, и часто письмо человека, которого он не видел много лет, рассказывало ему так много, что казалось, сам он, этот человек, присутствует здесь.

Надзиратель Справедливый уже более года как ушел из лагеря, и о. Арсению было трудно и не хватало этого простого по душе человека. Некоторое количество амнистированных уголовников опять возвратилось в лагерь, осужденные за вновь совершенные преступления.

Уголовники в последнее время как-то особенно обнаглели, вели себя вызывающе, не боялись охраны, но вдруг сменили начальника лагеря, и сразу все изменилось. Повысилась требовательность к работе, улучшилось питание, за нарушение режима жестоко наказывали, но не было издевательства, грубости.

Жизнь продолжалась. О. Арсений ждал часа воли Божией.

Новый барак

Это был последний барак, в котором жил о. Арсений перед освобождением из лагеря. Из старых знакомых никого в бараке не осталось, одних освободили, другие умерли, третьих перевели в другие бараки или лагеря.

Вспоминает о. Арсений.

...Настал 1957 год. Меня расконвоировали и разрешили иног-

да выходить из охраняемой зоны. Кончая работу, я покидал лагерь, медленно шел к ближайшему лесу или к таежной речке, садился на сухой пень и начинал молиться.

Голос мой далеко разносился по редколесью, затихал в ветках берез, склоненных к воде ив, елей и трав. Здесь в лесу молиться было спокойно и легко: грубость лагерной жизни исчезала, и наступала возможность молитвенного единения с Богом. В это время вокруг меня как бы собирались мои духовные дети и друзья, живущие на воле, вспоминались умершие, которых я любил, или те, кого я проводил когда-то в последний путь, встретив на дорогах ссылок и лагерей.

Было тепло, комары монотонно звенели, вились сероватым облаком, пытались проникнуть через сетку накомарника. Внезапно возникший ветер уносил комаров, но через несколько мгновений ветер стихал, и они снова окружали меня.

Лагерь, барак, уголовники, постоянный надзор за тобой сразу забывались, было только беспредельное синее небо, лес, колышащиеся травы, голоса птиц и молитва, объединяющая все и соединяющая тебя с Богом и природой, созданной Им.

Уходить из лагеря разрешали не часто. День этот был выходным. Я вышел из зоны и пошел далеко в редколесье, раскинувшееся за лагерем, где раньше, когда «особый» был полон заключенных и в нем кипела лагерная жизнь, постоянно горели костры, оттаивающие землю для больших, но неглубоких ям, в которых хоронили умерших лагерников. Кладбище было огромным, вся его площадь, когда-то обнесенная столбами и оплетенная колючей проволокой, теперь была открыта. Местами столбы упали, проволока порвалась и обвисла. Сейчас кладбище было похоже на заброшенное огородное поле, покрытое неровными и расплывшимися грядами, на которых кое-где стояли колья с прибитыми деревянными или жестяными бирками (табличками). Большинство кольев с табличками валялось на земле, номера захороненных заключенных стерлись, и только на некоторых виднелись расплывчатые очертания букв и цифр.

Я прошел далеко вперед. Земля была местами мокрой, нога глубоко погружалась в сыроватую глину, смешанную с перегноем из трав и листьев, и с трудом отрывалась при каждом шаге.

Перешагивая через поваленные колья, невысокие насыпи, обходя большие по площади, но неглубокие провалы, образовавшиеся на месте братских могил, хватаясь за стволы чахлых деревьев, шел я по кладбищу. Весеннее, но сегодня теплое солнце постепенно опускалось к горизонту. Я остановился, оглянулся во все стороны, перекрестился, благословляя всех лежащих на смертном поле, и начал молиться. На душе стало грустно, тягостно, печально. Ветер стих, стояли неподвижно травы, мелкий кустарник, хилые

березы и ели. Казалось, что ветер, тихий и прохладный, скрылся в подлесье и траву, прижался к земле, затаился и чего-то ждал.

Я медленно пошел по полю, отдалившись от окружающего, сосредоточившись и молясь об умерших, и передо мной вставали люди, затем возникали из прошлого воспоминания, мучительные и тяжелые.

Люди, когда-то знакомые и любимые мною, или те, кого я напутствовал, провожая в последний путь, или люди, встреченные мною здесь в лагере, сдружившиеся со мною и передавшие мне в исповедях свою жизнь, лежали сейчас на этом поле смерти.

Вспоминались усталые, изможденные лица, растерянные, печальные, полные тоски, молящие или горящие неугасимой ненавистью глаза умирающих людей. Как иерей я принял часть этой жизни на себя в исповедный час. Воспоминания приходили и мгновенно исчезали для того, чтобы сейчас же возникли новые.

Я громко молился, и скорбные слезы заупокойных молитв разносились над кладбищем, истомляли душу, вселяли чувство тревоги. Тысячи, десятки тысяч человек, убитые режимом лагеря, медленно умерщвленные другими людьми, лежали здесь. Юноши и старики. Тысячи верующих, защитники Родины, проливавшие за нее кровь, самые обыкновенные простые люди, попавшие в лагерь по ложным доносам, покоились в полуболотистой земле. И здесь же на этом поле лежали люди, предавшие Родину, участники массовых казней, полицаи, убийцы-уголовники.

Где-то далеко шумел трактор-бульдозер, сравнивая могильные насыпи и заравнивая ямы, чтобы никто и никогда не вспомнил о тех, кто остался лежать здесь.

Где-то лежали небрежно брошенные в могилы Владыка Петр, архимандрит Иона, монах праведник Михаил, схимник из Оптиной Пустыни Феофан, великие праведники и молитвенники; друг людей врач Левашов, профессор Глухов, слесарь Степин, до самого последнего часа своего совершавшие добро, и много, много других, когда-то знаемых мною людей.

Я молился, вспоминая усопших. Но вдруг слова молитвы иссякли, я стоял на поле растерянный, раздавленный воспоминаниями, сомнениями. Что осталось от погибших? Ржавая табличка со смертным номером, кость, торчавшая из наспех засыпанной могилы, обрывок ткани? Хоронили в спешке, ямы рыли неглубокие. Земля здесь всегда была мерзлой, и ее приходилось сутками оттаивать, чтобы вырыть могилу на несколько человек. Зимой трупы забрасывали землей и снегом, летом специальная бригада поправляла могилы, засыпая землей выступающие кости ног и рук. И даже сейчас казалось, что из-под земли тянулся запах тления.

Было душно, сыро, тихо. Солнце нагрело землю, и от этого над полем поднимался легкий, еле заметный пар.

Воздух дрожал, переливался, и

казалось, будто что-то необычайно легкое и большое плыло над кладбищем.

— Господи! Господи! — вырвалось у меня, — это же души умерших поднялись над местом скорби. — Тоска, необычайная, щемящая тоска охватила сердце и душу. В горле встал комок рыданий, слезы застилали глаза, а сердце все сжималось и сжималось готовое остановиться. Состояние полной безнадежности, уныния, чувство скорби охватило меня, я растерялся, упал духом и весь внутренне сник. Отчаянная душевная боль вырвала у меня болезненный стон.

— Господи! Зачем Ты допустил это?

Поразительный и долгий плач вдруг внезапно возник и пронесся над полем. Вначале это был низкий вибрирующий стон, перешедший потом в длительное однозвучное рыдание, временами срывающееся и напоминающее вопль человека. Ноющий и колеблющийся стон был заунывен и долог, он покрывал все бескрайнее поле, сковывая и наполняя душу беспредельной скорбью. Прозвучав над полем, плач внезапно смолк для того, чтобы через несколько мгновений возникнуть с прежней силой...

Нервы напряглись до предела, все во мне наполнилось болезненной и ноющей тоской. Окружающее потемнело, поблекло, стало гнетущим, и я почувствовал себя сломленным, раздавленным.

— Господи! Господи! Яви милость Свою! — воскликнул я, осеняя себя крестным знамением. И вдруг ветер, затаившийся в перелеске и траве, вырвался на волю, заколыхал травы, закачал деревья и настойчиво повеял мне. Мгновенно все пробудилось, двинулось. Ноющий и заунывный стон исчез и неожиданно в небе зазвучало пение птицы, дрожащая и парящая дымка воздуха растворилась в пространстве.

Состояние растерянности, гнетущей тоски и безнадежности прошло, я распрямился, отряхнул с себя страх и услышал в дуновении ветра движение жизни. Ветер принес свежесть, запахи травы, леса, отголоски далекого детства, неповторимую радость.

Стонущий плач, проносившийся над полем, оказался вибрирующим звуком циркулярной пилы, работавшей на далекой лагерной лесопилке. Ветер медленно набирал силу, воздух стал упругим и ощутимым. Жаворонок радостно поднимался в вышину, песня его то затихала, то отчетливо звенела в небе, и я осознал, что жизнь сейчас идет так же, как и до гибели всех лежавших здесь людей, и так же будет идти.

Жизнь продолжалась и будет продолжаться всегда, так как это закон Господа, и природа, созданная Им, выполняла Его предначертания.

Охватившее меня состояние растерянности, безвыходности и тоски было вражеским наваждением, моей слабостью, маловерием. Я отчетливо понимал, что иерей Арсений поддался духу уныния и тоски. Опустившись на колени на одну из могильных насыпей и прислонившись к стволу невысокой березы, собрав всю оставшуюся силу и волю, стал мо-

литься Господу и Матери Божией, Николаю-угоднику.

Постепенно душевное спокойствие овладело мной, но вначале настоящая молитва приходила с трудом. По-прежнему передо мной было скорбное поле смерти, расползающиеся насыпи, ямы, наполненные темной водой, жестяные и деревянные бирки, обломки человеческих костей, сломанная лопата, которой когда-то копали землю. По-прежнему лежали в земле десятки тысяч погибших заключенных, многие из которых навсегда вошли в мое сердце. Все так же душа моя была полна человеческой скорби о погибших, но гнетущее чувство уныния и тоски, охватившее меня, под влиянием молитв ушло. Долгая молитва очистила душу и сознание, дала мне возможность понять, что Устроитель жизни Господь призывает не поддаваться унынию и скорби, а молиться за умерших, творить добро живущим людям во имя Господа Бога, Матери Божией и во имя самих живущих на земле людей.

Окончив молитву, я медленно пошел с кладбища. Северное закатное солнце неохотно уходило за горизонт. Темная гряда леса взбиралась на пологие сопки, потом вдруг сбегала с них вниз, и от этого казалось, что вершины деревьев распиливают небо гигантской пилой. Ветер зарылся в перелеске, и сейчас над кладбищем опять стояла тишина.

В отдалении еле слышно ворчал трактор, циркулярная пила замолкла. Со стороны леса доносилось тоскливое кукование кукушки по растерянным детям. Одна кукушка кончила, и где-то в отдалении начала другая. Кому считали они годы жизни? Те, кто лежал на простирающемся передо мной поле смерти, уже нашли свой конец и не вели счет времени. Мне, еще живущему в лагере? Но срок моей жизни знал один только Бог.

Шел я к лагерю, охваченный воспоминаниями. Время от времени мысли мои разрывал голос кукушки, и тогда далекие воспоминания детства и юности проходили перед глазами. Мать, с которой ходил по лесу, и она рассказывала мне о лесе, травах и птицах. И так же куковала кукушка. Вспомнилась первая исповедь, давно ушедшие друзья, моя церковь, где много лет я служил. Думал ли я тогда, что услышу голос кукушки на кладбище лагеря особого усиленного режима, где лежат десятки тысяч мертвых, большинство из которых безвинно погибли, свидетелем гибели их был я. Думал ли, что буду участником всего происходящего и так же, как и они, пойду скорбным путем мучений и издевательств? Для чего все это, Господи? Для чего мучились и погибли люди? Верующие и неверующие, праведники и страшные преступники, злодеяния которых невозможно оценить по человеческим законам? Почему?

И сам ответил себе: это одна из тайн Твоих, Господи, которую не дано постичь человеку — рабу греха. Это тайна Твоя. Неисповедимы пути Твои, Господи. Ты знаешь, Тебе ведомы пути жизни человеческой, а наш долг творить добро во имя Твое, идти

заповедями Евангелия и молиться Тебе, и отступятся тогда силы зла. Ибо там, где двое или трое собраны во имя Твое, там и Ты посреди их. Помилуй меня, Господи, по великой милости Твоей и прости за уныние, слабость духа и колебания.

Обернувшись на четыре стороны, благословил я всех лежавших на поле и, низко склонившись, простился со всеми. Господи, упокой души усопших рабов Твоих. До конца жизни своей буду помнить я тех, кто остался лежать здесь в земле. Перебирая в памяти знаемых мною умерших, тихо поминал я за упокой души и в этот момент отчетливо видел лица их.

...Шел 1957 год, лагерь пустел с каждым днем, где-то недалеко от него возник гражданский поселок, в который из разных мест страны ехали вольнонаемные, взамен ранее работавших заключенных. Появились улицы, скверы, длинные вереницы домов, приезжали люди, ничего не знающие об «особом» и полуболотистом кладбищенском поле.

Отъезд

Подошел конец 1957 года. О. Арсения несколько раз вызывали в управление лагеря. До конца срока оставалось еще шесть лет, так как в 1952 году «добавили» еще десять. Вызнавали, расспрашивали, допрашивали, писали протоколы, заполняли анкеты, что-то и кого-то запрашивали и, наконец, весной 1958 года сообщили, что освобождают по амнистии, хотя основное освобождение всех заключенных прошло уже несколько лет назад.

Сообщили буднично, будто о. Арсений получил сообщение о получении посылки, а не сидел в лагере безо всякой вины многие годы; только кто-то из членов комиссии с некоторым удивлением сказал:

— Вот, поди же, выжил старик. Приходится освобождать.

Одели, дали на проезд литер, деньги, заработанные за последние годы, справку для получения паспорта по прибытии на место жительства.

Место жительства? Где оно было сейчас у отца Арсения? В комиссии спросили, выдавая справку, куда он едет? И о. Арсений назвал маленький старинный городок под Ярославлем, в котором когда-то часто бывал и жил, изучая старину. Он отвык от воли, плохо представлял себе жизнь за пределами лагеря, и сейчас ему было почти безразлично, куда ехать. Усталость, безграничная усталость давила и губила его.

— Все в руках Божиих, — решил он, — Бог устроит.

Надо было отдохнуть, собраться с силами, побыть одному и в молитве найти спокойствие, собранность и тогда можно встретиться со своими духовными детьми.

Сейчас сил не было, и только одна молитва поддерживала его. Внезапно наступила ранняя северная весна, теплые ветры рано согнали снег с пригорков и дорог.

Было сухо, комары и гнус еще не одолевали, прилетели ранние птицы, в воздухе чувствовалась бодрость и свежесть.

С вещевым мешком, в новых гражданских ботинках, черных брюках, новой телогрейке и стандартной шапке-ушанке вышел о. Арсений за ворота лагеря. Теплый весенний ветер налетел на него, шевелил волосы, чуть-чуть пылил дорогу.

Пройдя контрольный пункт, о. Арсений обернулся лицом к лагерю, низко склонился к земле и, прощаясь, перекрестил лагерь. Охрана без удивления смотрела на него: уходил старик, много лет пробывший здесь. Отойдя от ворот лагеря и поднявшись на пригорок, по которому шла дорога, о. Арсений обернулся опять к лагерю и осмотрел его.

Сейчас лагерь был жалок, вышки и несколько рядов проволоки охватывали темные бараки. За пределами лагеря лежали груды кирпича, стояли полусгоревшие столбы сожженных бараков, поваленные столбы с колючей проволокой, полусгнившие остатки вышек, и о. Арсений вспомнил лагерь «особого режима», когда-то беспредельно громадный, кипучий в своей страшной жизни.

Сойдя с дороги и смотря на лагерь, о. Арсений молился, вспоминая многих и многих людей, оставшихся здесь, и тех, кого Господь увел отсюда. Долгие томительные годы прошли для о. Арсения здесь. Долгие! Господь никогда не оставлял его, и Он сохранил о. Арсения, дал ему возможность в этом мире скорби найти много совершенного, прекрасного. Найти людей, у которых о. Арсений по великой милости Бога взял то, к чему стремился и должен стремиться каждый христианин.

Здесь, в окружающем его человеческом горе он научился молитве «на людях», здесь пример многих и многих праведников и просто обыкновенных людей показал ему, что надо брать тяготы человека на себя и нести их, и в этом закон Христов. Молясь, благодарил о. Арсений Господа, Матерь Божию и всех тех, кто оставался здесь и великой неоценимой помощью своей помогал и учил его.

Попутная грузовая машина подвезла о. Арсения до гражданского поселка, где теперь обыкновенным служащим работал бывший надзиратель лагеря Справедливый. Разыскать дом и квартиру Справедливого было не трудно. Странным и необычным показалось находиться вне лагеря — не было крика уголовников, распорядка дня, ругани. Справедливый в прошлом, а теперь Андрей Иванович вместе с женой провожал о. Арсения на вокзал. Два дня, прожитых у Андрея Ивановича, дали возможность осознать волю. Андрей Иванович доплатил к литеру, и о. Арсений ехал в купейном вагоне. Расположившись на нижней полке, положив под голову свой вещевой мешок, он закрыл глаза.

Поезд взвизгивал на стыках, колеса мерно стучали, за окном проносилась тайга, скалы, реки, озера Сибири. Перед мысленным взором о. Арсения сейчас проходило прошлое, люди и люди шли бесконечной вереницей. Погибло

большинство, но многие все же выжили, и их о. Арсений увидит. Новая жизнь еще плохо представлялась ему. Все было неизвестно. Но был Бог, и при Его помощи должна была начаться эта жизнь. Мысли, заполнившие сознание, отошли, и о. Арсений стал молиться и вдруг услышал:

— Осторожнее, здесь из лагеря, как бы не обворовали.

А второй голос полушепотом произнес:

— Удивляюсь, как их только выпускают. Расстреливать надо.

О. Арсений открыл глаза, на противоположном месте устраивалась молодая пара. Поезд шел вперед, мелькали станции, реки, леса, города, на перронах свободно ходили и говорили люди. Жизнь шла. О. Арсений молился о новой наступающий жизни, о тех, кто остался в «особом» навечно.

Весна полностью вошла в свои права, за окнами поезда по мере приближения к Москве все расцветало яркими красками. Страшное прошлое, связанное с лагерем «особого» режима, кончилось; период тяжелых испытаний, выпавших на долю Родины, прошел. Смотря в окно, но ничего не замечая, о. Арсений молился и благодарил Господа, Матерь Божию и всех святых за великую милость и помощь, оказанную ему, и просил за всех, кого знал и любил. Приближался город, где о. Арсений должен был начать новую жизнь и продолжать служение Богу и людям.

Краткое заключительное слово

Куски огромной жизни о. Арсения лежат в этих воспоминаниях. Мы видим доброго и простого человека с открытым и ясным лицом, не впитавшего в себя ни убеждений, ни привычек окружающего мира, пропитанного ложью, корыстью, тщеславием и жестокостью, мира, который по своему образу и подобию корежил многих из нас.

Отец Арсений был бескомпромиссен, отважен и безоглядно предан тому, что считал истинным и справедливым. Он не жертва жестоких и яростных сил, в конце концов обрекших его на тяжелые страдания и угнетение, а человек, свободно во имя Господа избравший свой путь к Богу и с редким достоинством, самоотверженностью и простотой прошедший его до конца.

Посмотрите, как мудро, грустно и в то же время пытливо вглядывается он в лица страшных и жестоких людей, окружающих его, как пытается найти путь к их сердцу, заронить в душу искру Божию, исправить и направить к совершению добра. Посмотрите, сколько людей он спас от смерти и поддержал в трудный час, а иногда и в последний час жизни. Старые и молодые, солдаты, ученые, рабочие, крестьяне, врачи, инженеры проходят перед нами как высеченные из камня, очерченные крупно и ясно, при этом характеристика этих людей раскрывается полностью, и мы ощущаем подлинность той жестокой и суровой жизни, окружаю-

щей о. Арсения, что заставляет нас надолго запомнить прочитанное, задуматься над жизнью. Прочитав воспоминания, невольно думаешь о многих и многих людях, погибших и страдавших за веру и за нас.

ОЧЕРК

Николай ***ЗАРУБИН***

СОВХОЗ ДЕСЯТИ ГЕРОЕВ

Памяти отца моего,
Капитона Семеновича Зарубина,
посвящается..

УКАЗ

Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Звания Героя Социалистического Труда работникам семеноводческого совхоза «Сибиряк» Министерства совхозов СССР в Иркутской области.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1947 года за получение высоких урожаев пшеницы и ржи при выполнении совхозом плана сдачи государству сельскохозяйственной продукции в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года присвоить звание ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА с вручением ОРДЕНА ЛЕНИНА и медали «СЕРП И МОЛОТ».

1. БЕЛЯЕВУ КУПРИЯНУ ПАВЛОВИЧУ — старшему агроному семеноводческого совхоза «Сибиряк», получившему урожай ржи 30,8 центнера с гектара на площади 82 гектара.

2. ЖАРОВУ НАУМУ АНИСИМОВИЧУ — бригадиру полеводческой бригады семеноводческого совхоза «Сибиряк», получившему урожай ржи 31,2 центнера с гектара на площади 17 гектаров.

3. ЗАХАРОВУ ВАСИЛИЮ МИХАЙЛОВИЧУ — бригадиру семеноводческого совхоза «Сибиряк», получившему ржи 31,2 центнера с гектара на площади 22 гектара.

4. ИВАНОВОЙ ЕЛЕНЕ СЕМЕНОВНЕ — звеньевой семеноводческого совхоза «Сибиряк», получившей урожай ржи 30,15 центнера с гектара на площади 10 гектаров.

5. КАРАВАЕВУ МИХАИЛУ НИКОЛАЕВИЧУ — директору семеноводческого совхоза «Сибиряк», получившему урожай ржи 30,8 центнера с гектара на площади 82 гектара.

6. КРЫСЬКО ЕВСЕЮ КУЗЬМИЧУ — звеньевому семеноводческого совхоза «Сибиряк», получившему урожай пшеницы 31,32 центнера с гектара на площади 16 гектаров.

7. СЕРЕБРЯННИКОВУ МИХАИЛУ АЛЕКСЕЕВИЧУ — старшему механику семеноводческого совхоза «Сибиряк», получившему урожай ржи 30,8 центнера с гектара на площади 82 гектара.

8. СТЕПАНЮКУ АЛЕКСЕЮ СЕРГЕЕВИЧУ — бригадиру семеноводческого совхоза «Сибиряк», получившему урожай ржи 30,8 центнера с гектара на площади 33 гектара.

9. ТАРАКАНОВСКОМУ ПАНФИЛУ ЕВСЕЕВИЧУ — звеньевому семеноводческого совхоза «Сибиряк», получившему урожай пшеницы 30,47 центнера с гектара на площади 10 гектаров.

10. ФЕДЮКОВУ АЛЕКСАНДРУ АБРАМОВИЧУ — управляющему отделением семеноводческого совхоза «Сибиряк», получившему урожай ржи 30,83 центнера с гектара на площади 55 гектаров.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ШВЕРНИК
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН

Москва. Кремль. 3 мая 1948 года

РАЗБУДИ СВОЮ ПАМЯТЬ

Бараки стояли в ряд и похожи были на вагоны пассажирского поезда общего пользования. И в каждом — столько народу, сколько можно уместить. Никто не усматривал злого умысла в том, что были они построены так, а не иначе. Вокруг, куда не посмотри, — еще плотной стеной стояли строевые леса.

Но чей-то злой умысел в том все же был — дать как можно меньше, взять — самый предел человеческих возможностей. И только теперь я это понимаю...

А ведь на дворе были уже пятидесятые, и кое-что менялось в отношении к крестьянину.

Мало сбереглось в памяти фамилий, но в лицо помню почти всех. Артамоновы, Фешковы, Пестовы, Ермаковы, Филатовы, Долгих, Яковлевы, Субботины, Зарубины...

Клети стаек, кладовок, сараев, небольшие отрезы огородных участков. И вся жизнь людей, все их бытовые интересы должны были уместиться в эти отрезы — наделы, но плохо вмещали те малые интересы людей — малые даже по тем судным временам.

В каждой семье — две-три самодельных кровати, кухонный стол с лавками, примитивный шкаф для одежды да стол в комнате. Был еще и черный, похожий на воронку, репродуктор (последнего у нас, например, не было, да и кому было его слушать, если отец — глухонемой, мать — измотавшаяся на совхозной работе).

Помню нештукатуренные стены, большие окна, большие печи, побеленные перегородки, серый неустроенный быт.

Взрослые спали на кроватях, мы, их дети, чаще вповалку на полу. То же самое было и в других бараках. На лето перебирались на сеновалы стаек.

Бараки были срублены добротно, не торопясь, по всем правилам плотницкого искусства. И если бы не пришлось им пережить такой огромной массы всевозможных поселенцев, да не были бы они по сути дела поставлены на болотине, — жить бы им сто лет. Но, видно, ничто не способно выдержать небрежения — ни люди, ни дома, ни деревни, ни города. У всего свой запас прочности.

Редкая семья ограничивалась двумя-тремя детьми, потому на улицах было шумно: зимой свои забавы, летом — свои. В зимнее время, когда шел ремонт сельхозтехники, приходили в мастерские посмотреть, вырубить что-нибудь из куска жести или попросту стянуть какую-нибудь железяку. С весны начиналась более интересная жизнь, а вот в августе, в пору созревания хлебов, вовсе пропадали из дому, цепляясь за бестарки, в которых на лошадях возили с полей зерно, подкарауливали на поворотах машины, чтобы стащить из кузова жмыху, пробирались под крышу зернотока и набивали карманы горохом.

Последнее занятие было небезопасным, потому что зерноток, или, как его называли, «подшахта», охранялся. Еще с времен войны оставалось на его территории несколько будок, в которых содер-

жались овчарки, ползком мы пробирались до этих будок и затаивались в них на долгое время, пока не представлялась возможность перебежать под крышу навеса, где за кучами зерна, транспортерами, сушилками спрятаться было уже проще.

Все мы жили трудом, заботами большого по той поре хозяйства — совхоза «Сибиряк», имеющего первое, второе отделения, племконеферму. Наше считалось центральным, самое примечательное, что здесь были мастерские.

Отсчет начинался со слесарного цеха, где стоял верстак моего отца. Затем были электроцех, обкаточный, медницкий, топливный, сварочный, за ними следовала электростанция. Чуть поодаль от мастерских стояла кузница, с другой стороны — бревенчатый автогараж.

Я говорю: цех... Конечно, какой там цех, если в нем порой работал один человек. Но применительно к тому времени, по-другому и нельзя сказать. Тогда совхозные мастерские не имели себе аналогов в районе, где бы так организованно и четко была спланирована работа и людей, и механизмов. Это был настоящий сельский рабочий класс. Причем, если иметь в виду сороковые годы и первую половину пятидесятых, только у моего отца и было специальное «фэзэушное» образование, все остальные учились друг у друга.

Каждый из них был передовиком производства. И только между собой рабочие отличали особо мастеровитых.

Я нисколько не преувеличу, если скажу, что всеобщим уважением среди товарищей по работе пользовался и мой отец. Умел он рассчитать и изготовить самую сложную деталь, с ним советовались, к нему как к специалисту фрезерного дела приезжали со всей области.

Знал он жестяное дело, расточное, строгальное, токарное, собирал поршневую группу, был медником, слесарный инструмент, вплоть до замка на верстаке, был изготовлен его руками. Был неплохим столяром, плотником, понимал лошадей, знал толк в крестьянском хозяйстве.

* * *

В те времена основная масса народа российского жила скупо, еще берегли леса, земли, водоемы. Словно знали: надвинутся такие лихолетья, которые унесут многие богатства государства, и поэтому требуется поберечь про черный день.

Обращаясь в своей памяти в то дорогое мне прошлое, думаю сейчас лишь об одном: как же до удивления скромно было поколение наших отцов и дедов, умевших довольствоваться малым и никогда не роптать на судьбу. И не только не роптать, а жить с благодарностью в сердце за каждый прожитый день, нарожать ребятишек, на совесть трудиться, а уж если справлять именины, гулять свадьбу, встречать гостя — так на всю улицу праздник, выгребая на стол весь съестной припас. С песнями, гармонью, плясками, задушевной беседой.

Не помню, чтобы люди беспричинно кидались друг на друга, жены ходили к чужим мужьям, а мужья — к чужим женам. Не водилось неработающих паразитов, а ребятня — от мала до велика — занята была своей посильной работой — на огороде, по дому, на косьбе, на заготовке дров.

Люди хотели жить и ценили все, что могло сделать их жизнь наполненной смыслом. Трудились, чтобы жить, и жили, чтобы трудиться. Берегли штакетину, доску, дровину, дерево, тряпицу, не сорили хлебом, не пакостили соседу, трудились на славу, хотя сейчас и принято хаять все и вся.

Да, народ наш многострадальный, отчасти был выбит репрессиями, отчасти войной, но трудить-

ся не разучился. И потому, что трудиться не разучился, произошли в обществе те перераспределения накоплений, какие мы имеем сейчас, когда три процента населения имеет миллионные состояния, а на грани нищенства оказались те, кто трудился. Самое чистое и самое обманутое поколение — поколение наших отцов и дедов...

В совхозе «Сибиряк» слесаря, токаря, кузнеца в любую минуту могли оторвать от верстака, станка, наковальни и кинуть на прополку овощей, заготовку сена, уборку хлебов, в лесосеку. Шли безропотно, трудились безоглядно. Нередко от темна до темна. В выходные и проходные. В праздники. Сначала — совхозное, потом — твое.

Точно так же, как косили зеленку на прокорм корове (девять копен совхозу, десятая — себе) — девять десятых времени, сил, жизни, отдавали государству.

Какой уж там достаток...

Помню, коньки каждый отец семейства делал своим ребятишкам сам...

Помню, появились в магазине лыжи, и сколько слез надо было пролить, чтобы у тебя они появились.

Помню первые велосипеды...

Помню кусковой сахар, который отец разбивал на ладони тупой стороной ножа...

Помню большую чашку на столе и всю семью вокруг нее...

Все помню. Ничего не забыл. И не забуду, пока жив. Но, повторяю, не помню жалоб на жизнь, на недостатки и нехватки. И не вина простого трудящегося человека в том, что партийные и советские лидеры, экономисты, чиновники всех рангов привели страну к разрухе.

Никто не хаял свою страну, какой бы неласковой она к нему не была, как это принято теперь. И хают ее теперь более те, у кого достаток...

В середине пятидесятых все население совхоза «Сибиряк» охватила лихорадка строительства. И это было великое время — так опостылели людям их клетки в бараках, что каждый готов был рвать последние жилы, чтобы только в свой дом! Не знали сна. Не знали устали. Сосед помогал соседу, брат — брату, кум — куму, сват — свату. Сходились сруб ли поставить, колодец ли вырыть — дружно, без обид. Часто — за поллитровку и хороший обед — не для еды и питья, а за ради уважения. Для единения. Для работы со всего плеча. Для братской помощи, никогда не забывая вековой артельной поруки, свойственной духу российского крестьянина.

И была кузнецу работа — навесы, затворы, задвижки, скобы, гвозди, кольца...

И была столяру работа — рамы, косяки, плинтуса, перегородки, обналичка, двери...

И была плотнику работа — сруб, стропила, крыша, пол, потолок, стайка, сарай. И была — печнику, конюху, шоферу.

И теперь, когда по улице идут еще оставшиеся в живых те бескорыстные умельцы, из окон поставленных в те годы домов, показывают на них старожилы и говорят своим внукам: вот идет тот, кто делал рамы... А тот — печь клал. А тот — перекрывал крышу.

И от своей матери слышу я это часто и знаю, что жизнь тех умельцев не пропала даром. Не прозябали они в годы лихолетья. А жили скромно и щедро. Надежно. И никогда никому не поверю, что каждый народ достоин своего правителя, говорят так те, кто сам не знает, для кого и для чего живет и неверием своим стремится растлить души потомков российского крестьянина. Чтобы уже никогда больше не поднялся он, не возродился, не обрел твердости шага. Как истинный хозяин своей земли.

Правителей любому народу чаще навязывают более сильные партии, сумевшие организовать соот-

ветствующий репрессивный аппарат.

Не за ради живота своего трудились и мои родители, и родители моих сверстников, довольствуясь крохами со стола государства. И не за страх. На совесть, поддерживая друг друга. По закону всепомоществования. По долгу человечности...

Их неистребимая духовная связь с землей передавалась нам — их детям. Мы тоже знали, что все от земли: хлеб, молоко, мясо, картошка, рубаха, ботинки. Все дает земля, а не заводы и фабрики. Заводы и фабрики только перерабатывают то, что на земле и в земле.

И в том, что в последние годы усилилась тяга людей к обладанию собственным земельным участком, — тоже свой смысл. Наследственность не истребить, не обмануть подсунутыми ваннами и унитазами, ибо все мы крестьянских корней.

В пору экологических катаклизмов, может быть, они-то и подтолкнули людей к земле, обернули к Памяти. Человек вдруг понял, что спастись может только в общении с чистым продуктом, который должен вырастить сам. И в этом акт недоверия к лжеученым, лжеэкономистам, лжеадминистраторам, лжепрогрессу. А коли наметилось недоверие, в недалеком будущем захочет народ взять под свой — не государственный, а именно свой — контроль деяния тех, кто исказил наработанный веками великий опыт общения с землей, носителем которого был российский крестьянин.

«Запад только начинает открывать для себя преимущество общинного (или, как его там называют, комутаристского) строя жизни, то есть лишь подходит к тому, что в России от века было первым устоем общественного устройства», — заметил писатель М. Антонов. и много в том правды.

В завтрашних условиях, когда торопят нас перенимать опыт Запада, нелишне вспомнить свой, хотя бы того же — то ли бездарно, то ли сознательно загубленного в 1960 году совхоза «Сибиряк».

ДЯДЯ ВИТЯ

Быть бы среди них и Виктору Васильевичу Долгих, которого с детства мы, местные пацаны, привыкли называть просто: «дядя Витя».

Если с самого ранья заглянуть через заплот его усадьбы, то можно увидеть, как, согнувшись под навильником сена, волокет он корм от небольшого стогца к загону при стайке, где, похрумкивая, стоит бокастая корова.

Еще через часок — полтора с выцветшим рюкзаком видишь его направлявшимся в сторону магазина.

«По хлеб Виктор подался», — неизменно в таких случаях отмечает глянувшая в окно моя мать.

Еще через часок — полтора он уже катит впереди себя тележку, в которой бесстрастно побрякивает пустая фляга. Поехал, значит, по воду. Тут и погоди, пока обернется, опростает ведрами флягу и захочет присесть перекурить на лавочке у ворот. Дяде Вите под восемьдесят. С хозяйкой Александрой Ефимовной по-прежнему держат корову, не позволяя себе, как они говорят, «распускаться» и в свои преклонные годы.

— А как жить без коровы? — разведет руками тетя Шура.

— Че есть-то тогда будешь? — поддакивает ей дядя Витя.

Семью эту я знаю всю жизнь. Благополучие ее строилось вокруг коровы. Накормить ораву ребятишек, если дети у них начали рождаться еще до войны, дело не простое. Вот тут и думай, как жить. Да еще строились в 56-м, всюду — нехватка, кругом — недостатки.

Кажется, зачем сейчас корова? Мало пенсии — дети помогут, все

на ногах, все трудятся.

— Внучата забегут — покормить надо, — разведет руками тетя Шура.

— То дочь заглянет, то сын зайдет, — поддакивает ей дядя Витя.

Я часто останавливаюсь поговорить с дядей Витей. Рассуждает он основательно, в жизни его много было чего и хорошего, и плохого.

— Вот в газете пишут, что механизатор на К-700 вспахал за день восемь гектаров. А я на ХТЗ в 35-м за 35 рабочих дней вспахал пятьсот с лишним гектаров и не поехал на слет передовиков только потому, что меня обошли всего на два гектара. Это получалось по 15 гектаров в день.

— Что-то много, дядя Витя, — сомневаюсь я, — техника-то была допотопная.

— А че ты думаешь, работал-то сутками. Спал три-четыре часа. Привезут, бывало, прямо к борозде обед, чашку поставишь на крыло, поешь — и опять за работу.

Помнит даже мощность тракторов. Английский «Виккерс» имел мощность 23 на 40 (первая цифра на собственную тягу, вторая — на прицеп), американский «Инкер» — 14 на 36, отечественные ХТЗ и СТЗ — 15 на 30. Начал он работать в 1929 году на полях участка опытной станции. С 1931 по 1938 в льносовхозе «Сибиряк», а с 1937 года — во вновь образованном семеноводческом совхозе «Сибиряк», и так в одном хозяйстве вплоть до ухода на пенсию, правда, в 1939 году из трактористов перешел в шоферы.

Эта страница его биографии тоже по-своему интересна. Сам он рассказывает так:

— В 1939-м поехали мы в Нижнеудинск. Там говорят: «Плати 700 рублей — и будешь учиться на шофера». Где взять такие деньги? Вернулись — и к директору Демину: хотим, дескать, учиться. А он говорит: «Вон — задний мост, вон — передок, вон — коробка, вон — двигатель, собирайте и учитесь». Собрали мы списанную «полуторку» и еще год на ней работали.

Дядя Витя за рулем автомобиля — это что-то невообразимое. Никогда не приходилось видеть мне такого уважения к своей профессии, такого чувства достоинства, с каким прикасался он к рулю, к рычагам, как ставил ноги на педали. Ни у кого, мне кажется, не ходила машина так ровно, трогалась так плавно, останавливалась там, где требуется.

За великое счастье почитали мы проехаться с ним в кабине!

Центральная усадьба совхоза заселялась людьми, большей частью прибывшими из близлежащих, уже теперь несуществующих деревень. Тридцать семь таких деревень в районе ушли под плуг трактора за последние двадцать — двадцать пять лет.

Дядя Витя приехал из деревеньки Вдовичевой, в которой, как он рассказывал, было не более десятка дворов. Расспрашивать этих двоих стариков о той далекой жизни — «вводить в грех». Громчеют голоса, в глазах проглядывается не то гнев, не то вопрос. Понять их мне трудно — пережить надобно, чтобы понять. Но откликаться сердцем я все же могу, ведь и мои корни крестьянские...

— Пока по пашне идешь — все ноги надсадишь... А сейчас?.. — вопрошает тетя Шура.

— А хлеб-то какой был, хлеб?.. — поддакивает ей дядя Витя.

Тетя Шура из раскулаченных. Пригнали их из Новосибирской области в Иркутскую. Из Сибири да в Сибирь гнали. Лишь бы куда-нибудь гнать — все равно, куда. Остановилась ее семья в деревне Вдовичевой на голом месте. С землянки начинала жить. Там и сошлись, там и образовалась семья. А семья — семь душ детей да двое «самих». Только поворачивайся: под себя начнешь грести — посадят, от себя — дети с голоду помрут.

В совхозе, может, только и начали жить. Только и вздохнули, не опасаясь укора за свое крестьянское происхождение... На себя надеялись, не надеются ни на кого и сейчас.

Крестьянин вообще никогда никого не объедал. Выращивал картошку, овощь огородную. Не было табаку, и его возделывал. Не было птицефабрик — кур держал. Все себе добывал сам.

И дядя Витя при своих пенсионных грошах не жалуется на жизнь, никому не завидует. Вдвоем с Александрой Ефимовной живут на то нищенское пенсионное обеспечение, да еще и детей потчуют, внуков. И гостей пригласят — посадят за широкий стол и от всей широты крестьянского сердца выставят на него все, что есть — и еду, и питье.

Никогда крестьянин не был нахлебником у чужого стола. И совестливостью своей обостренной превосходил многие сословия. Кормил страну. Поставлял парней в армию. Больше, чем кто-либо, нес потери в любой человеческой бойне. Молча страдал от всяческих притеснений и надругательств.

Не помнил зла...

И сколько народу кормит сейчас! Восемнадцать миллионов человек управленческо-административного аппарата в стране. Целая армия ученых, от которых порой больше вреда, чем пользы. К примеру, только 146 институтов «обосновали» «переброску» части северных сибирских рек, программу гидроэнергетики — 300. И еще много-много всяких «узкого и широкого профиля» специалистов, от которых непросто мало толку — вред немалый... Конечно, есть и ученые истинные, и специалисты подлинные. Но сколько таковых-то?

Модно стало валить на коллективизацию, сталинизм, войну, разруху, после нее. А вот они ни на кого и ни на что не пеняют. Дивлюсь многожильности стариков, сумевших сберечь в себе крестьянское, и никогда не поверю, что умер, вывелся на земле русской истинный крестьянин — ни кровь коллективизации его не проели, ни репрессии и произвол сталинский, ни война не истребила, ни разруха не надломила. Через все прошел и пронес сердце свое чистое, руки, не боящиеся работы, душу, саднящую, словно открытая рана — за землю, за хлеб. И веру — такую веру в человека, только что народившегося и замочившего в самый первый раз пеленки, что, и в гроб сходя, пожалеть может лишь об одном — мало пожил... Не увидел земли своей возрождения. Деревеньки своей Вдовичевой. А в правнуке сопливом и босоногом — себя сопливого и босоногого, нахлестывающего хворостиной кормилец Буренок, Белянок, Маек...

ДЕЛЬНОЕ «БЕЗДЕЛЬНОЕ РЖАНИЕ...»

Из моей жизни лошадь ушла незаметно, вместе с детством. Ушла начисто, словно ее и не было.

А ведь была. Помню, что была, хотя масть и стать ее смазаны в памяти в нечто неопределенное, серо-коричнево-красное, а то и вовсе — черное.

Конюшни стояли недалеко от родительского дома, там же были кузня, шорня, загоны. В конюшне хозяйничал калека от рождения — молодой еще мужик Леха Демьян, которого старшие из нас, совхозных пацанов, однажды повесили за ноги у самого выхода из конюшни и открыли двери стойл. Дело было в сумерках летнего вечера, происходящее казалось игрой, да это и была игра в соловьи-разбойники, хотя могла окончиться для Демьяна трагедией.

К конюшням тянуло неудержимо. Часто, забравшись в загон, подманивали мы по выбору какую-нибудь лошадь к забору, быстро взбирались на него и уже оттуда вскакивали на хребтину животины. Лошадей не боялись. Не

помню случая, чтобы кто-то упал, покалечился или даже просто ушибся.

Лошадь... Создание бо́льшое и кроткое...

В конце пятидесятых мать моя работала на небольшом (он также принадлежал совхозу) кирпичном заводе, где-то в те же годы его ликвидировали, ничего не осталось, никакого следа, лишь еще приметный след от ямы, в которой замешивалась глина. Шагая по кругу, ворот тянули две лошади — изо дня в день, каторжно и покорно. И я не могу забыть тех лошадей — такой беспросветной и несправедливой кажется мне их судьба, как и судьба лошадей бывшего совхоза «Сибиряк», загубленных в 1959—1961 годах, частично проданных, но больше — сведенных на живодерню.

В целом о том времени Евгений Носов в статье «Что мы перестраиваем?» сообщает: «Или вспомним печальное постановление о лошадях. Они были обозваны дармоедами, поедающими чужой корм, позорящими социалистическую Россию бездельным ржанием и тележным скрипом. Но дело тут не в «бездельном ржании». Какой-то придворный лукавец нашептал Хрущеву, что ежели забить несколько миллионов лошадей, то сколько сразу сэкономиться корма! Да плюс почти ва так уйма конского мяса! Да кожа на ремни и подметки! Было запрещено выдавать корма на лошадей, их исключили из всех видов отчетности, то есть фактически объявили вне закона, и колхозы волей-неволей вынуждены были отправлять их на убой. И потянулись на живодерни эти скорбные, понурые шествия лошадей по дорогам России, которую они много веков кормили, опахивали, окашивали и берегли от врагов».

Постановление, на которое ссылается писатель, мне не удалось найти, но, судя по документам, помещенным в сборнике «Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам» (1917—67 гг.), отчетность по лошадям исчезла начиная с 1956-57 годов. Из документов же следует, что сокращены были и сельхозугодья при конезаводах.

В совхозе «Сибиряк» к началу шестидесятых из восьмиста голов отборных лошадей остались жалкие десятки рабочих животных. Само собой угасли и кузнечное, шорное, подеревное ремесла.

Уничтожен был и сам совхоз «Сибиряк», присоединенный в декабре 1960 года к Тулунской селекционной станции. Причем уничтожен без какого-либо права на память о прошлых заслугах, словно никогда не было в совхозе высоких достижений в коневодстве, животноводстве, полеводстве, птицеводстве, пчеловодстве, свиноводстве.

Показательна в данном случае статья в книге «Пятьдесят лет селекционно-семеноводческой работы в 1913—1963 годов» бывшего директора сначала совхоза «Сибиряк», затем — селекционной станции М. Е. Вильчинского (вступил в должность в 1959 году).

«За получение высоких урожаев 92 работника имеют правительственные награды, а десяти — присвоено звание Героя Социалистического Труда...»

«Сейчас станция имеет земли 34230 гектаров, 98 тракторов, 27 комбайнов, 50 автомобилей...»

«Средний урожай зерновых и зернобобовых культур за последние 15 лет составляет 20,3 центнера с гектара».

«На первое января 1963 года станция имела крупного рогатого скота 3342 головы, в том числе 1193 коровы, свиней — всего 3587, птицы — 10600».

Никто не умаляет достижений старейшей в нашей стране Тулунской селекционной станции, но нужна ли была ложь, тем более что достижения ее сами по себе значительны и без этих приписок?

Но никогда станция не имела ни единого Героя Социалистического

Труда, не имела она столько земли, столько техники, никогда не подсчитывала, как это делается в колхозах и совхозах, валовое производство зерна. Не имела станция и столько скота, потому что функции ее, назначение ее определялось не производственной деятельностью, а научной.

Это сейчас станция более радеет за вал в поле и на ферме. Принятый после присоединения «Сибиряка» по сути своей на производственную деятельность курс ударил селекционеров по многим позициям. Курс этот осуждался и учеными, и бывшими сибиряковцами. Старейший селекционер, автор пяти сортов гречихи и гороха В. П. Костыро говорил мне:

— Я с самого начала был против слияния совхоза и станции. Против и теперь. Как отразилось это на нашей работе? А вот как. Если раньше все трудоспособное население, проживающее на территории станции, работало на науку, то после присоединения большая часть его ушла в производство. Если раньше маломальская техника, какую имела станция, работала только на науку, то теперь, я уже лишний раз не иду просить трактор, потому что по опыту знаю — его в первую очередь используют на производстве, а потом подумают о нас. Если раньше на счете станции были кое-какие средства, вырученные от продажи семян элитных сортов, то теперь мы целиком зависим от производственной деятельности всего коллектива.

Что же касается совхоза «Сибиряк», то и через четверть века после присоединения жители его центральной усадьбы называют себя «совхозными». Не могут люди смириться, жива память в народе о процветавшем хозяйстве, экономика которого, культура производства были настолько высоки, что за сравнительно короткий период с 1937 по 1960 годы хозяйство дало только десять Героев Социалистического Труда.

* * *

Ныне покойный, бывший главный зоотехник хозяйства, член КПСС с 1928 года, кавалер трех орденов Трудового Красного Знамени Андрей Иванович Литвинов, умер в 1988 году, в своем письме в сельхозотдел ЦК КПСС уже в середине 70-х сообщал такие сведения об экономической деятельности совхоза (копия письма с личным автографом А. И. Литвинова у меня хранится. — Н. З.). «С приходом на работу в «Сибиряк» в 1945 году при поддержке парторганизации и дирекции мы создали искусственные клеверотимофеичные пастбища, улучшены были условия содержания, кормления животных, подняли квалификацию работников животноводства и к 1950 году имели удои от коров по 4100 килограммов молока при жирности 3,8 процента. К 1952 году удой от коровы достиг 4242 килограмма. Отход телят снизился до двух процентов к приплоду. Животноводство стало высокорентабельным. 70 процентов коров были записаны в единую госплемкнигу черно-пестрого скота. Мы начали продавать бычков и телок другим хозяйствам района, области и за ее пределы, включая Сахалин.

Кроме крупного рогатого скота велась большая племработа со свиньями крупной белой породы и с лошадьми орловской рысистой породы. Лошади широко распространялись по всему Дальнему Востоку и в Красноярском крае.

В 1954 году совхоз был преобразован в племзавод черно-белой породы крупного рогатого скота и семеноводства зерновых и многолетних трав.

За 1954—1955 годы экспонирован был на Всесоюзной Сельхозвыставке с широким показом и был удостоен дипломов I степени. К этому времени урожайность зерновых составила 25—26 центнеров с гектара, государству продавали по 11—11,5 центнера зер-

на семенного сортового с каждого гектара зерновых посевов и большое количество семян клевера. В совхозе было 420 пчелосемей.

Во Всесоюзном социалистическом соревновании совхозов хозяйство занимало ведущее место и неоднократно награждалось переходящим Красным Знаменем, денежными премиями. За высокие показатели во всех отраслях совхозу было оставлено на вечное хранение Красное знамя Комитета Обороны».

Это знамя, как указывает в своем письме А. И. Литвинов, было впоследствии раскроено на кофточки для артистов художественной самодеятельности...

Земли, технику, скот — присоединили, приписали селекционной станции часть достижений «Сибиряка» (урожайность, валовый сбор зернобобовых и зерновых культур, успехи в животноводстве), но надо было идти дальше, подтверждая заявленное в упомянутой выше книге (кстати, целиком посвященной селекционерам). Но этого не получилось, наоборот, началось самое настоящее наступление на пастбища, на полевые и прифермерные севообороты.

«Урожайность зерновых и кормовых культур снизилась, — свидетельствует А. И. Литвинов, — молочное стадо осталось без кормов, и удои пошли вниз. В 1962 году они уже составили 2499 килограммов от коровы».

Надо сказать, что в 1946 году была попытка объединения хозяйств, однако, менее чем через год, все было восстановлено в прежнем виде. (Информация почерпнута мной в статье «Неудачный симбиоз», журнал «Животновод», № 7, 1966. — Н. З.). Попытка объясняется тем, что «Сибиряк» до 1945 года был исключительно семеноводческого направления. Животноводству уделялось мало внимания, и, по свидетельству А. И. Литвинова, в те годы надой от коровы едва достигал тысячи килограммов молока. Это и было основанием для объединения.

Но когда с приходом в хозяйство опытного зоотехника А. И. Литвинова животноводство резко пошло в гору, объединение потеряло всякий смысл. Поэтому не удивительно появление в журнале «Животновод» в 1966 году статьи, подписали которую главный зоотехник Тулунского управления сельского хозяйства А. Перетолчин, директор Тулунской госстанции искусственного осеменения сельхозживотных Н. Шевцов, зоотехник-селекционер Тулунской селекционной станции А. И. Литвинов, главный зоотехник головной госплемстанции А. И. Сойкин, зоотехник этой же станции В. П. Гордиенко, начальник облживплемобъединения В. Д. Жданов, зав. кафедрой разведения сельхозживотных ИСХИ Г. В. Черных, зоотехник-селекционер Иркутской опытной станции В. Н. Тарабанко, главный зоотехник совхоза «Максимовский» В. П. Чураков.

Суть ее в том, что соединение двух хозяйств — ошибка, а разъединение их — жизненная необходимость.

Организаторы соединения, конечно же, были, и были они из числа людей, далеких от подлинных народохозяйственных интересов, имеющие твердое положение в иерархической лестнице чинов, железную «лапу» в верхах. Это не вызывает у меня сомнения, не вызывало сомнения и у А. И. Литвинова, с которым при его жизни я неоднократно беседовал.

Кому-то «кололи глаза» успехи сибиряковцев. Мешали жить. Иначе, чем объяснить тот факт, что и Тулунский райком партии, и райисполком отмолчались, когда свершалось зло?

Точно так же, как все истинно талантливое вызывает раздражение у посредственности, вызывают раздражение и успехи преуспевающего соседа.

Просмотренные мною отчетные данные состояния животноводства

в колхозах района в середине пятидесятых говорят не в пользу последних. Надои от коровы едва переваливают за тысячу килограммов, урожайность низкая.

А чем это можно объяснить, кроме как слабостью руководящих кадров, специалистов, отсутствием направляющей работы всего партийного аппарата от низовых организаций до райкома? Слишком разителен контраст показателей. А для таких, как коммунист Литвинов, поруха внутри еще недавно процветающего хозяйства была и личной трагедией. Личной трагедией стала она для многих, в том числе и для тех десяти Героев Труда, имена которых сегодня начисто забыты.

Я часто думаю над тем, почему мы находим силы, время, средства, чтобы чтить память героев войны, но ничего такого в себе не обнаруживаем, чтобы помнить Героев Труда. Словно статусы героя войны и Героя Труда — не равнозначны.

Точно также у нас в районе мы не вспоминаем Героя Социалистического Труда, бывшего председателя колхоза имени Парижской Коммуны Илью Кондратьевича Кириенко, имя которого могло бы быть по праву присвоено этому хозяйству.

Беспамятливость есть безнравственность. В данном случае — не безнравственность народа, потому что народ как раз ничего не забыл. Безнравственность партийных лидеров.

Недобрую память в народе оставило это присоединение, в чем я неоднократно убеждался, беседуя с ветеранами «Сибиряка».

Память о загубленных лошадях неосознанной болью осела в самой глубине моего детского сердца. Все предки мои были крестьянами. И не плохими. Прадед по отцу — Степан Федорович Долгих — имел молотилку. Дед — Семен Петрович Зарубин, хотя и был членом РСДРП с 1906 года, а вернувшись после русско-японской кампании из плена, работал путевым обходчиком в депо станции Тулун, но имел трех лошадей, две коровы и все, что должно быть у крепкого хозяина. Дед по матери, Игнат Юрченко, в тридцатые годы работал председателем колхоза.

А что для крестьянина значила лошадь? Что вообще для человека значила лошадь? Это и тягловая сила в хозяйстве (не случайно ведь и по сей день, словно в насмешку, тягловую силу любой машины мы переводим на лошадиные), и залог благополучия; и предмет гордости. Через лошадь человек учился понимать и любить все живое на земле. Лошадь была и верным помощником в борьбе с врагами.

История свидетельствует, что на Руси уже в 10 веке убой лошадей на мясо прекратился. Многие народы Европы также не употребляли в пищу конину, и лишь в 19 веке, с развитием железнодорожного транспорта в отдельных странах были приняты законы, разрешающие забивать на мясо излишки лошадей. В Австрии такой закон был принят в 1854 году, во Франции — в 1866, России — в 1867, Германии — в 1879, Англии — в 1889.

В Сибири доходность крестьянина была выше, чем в центре России. В. Г. Тюкавин («Сибирская деревня накануне Октября») объясняет это тем, что крестьянин сибирский имел больше возможности расширить посевные площади за счет раскорчевки лесных угодий, а, следовательно, иметь пары. Ему было куда выгнать скотину, где накосить сена. Плюс к тому рыбацкий и охотничий промыслы.

«Ленивый да нерадивый ходил в батраках», — любила говаривать моя бабка Настасья Степановна. И после того, как был замучен ее муж, Семен Петрович Зарубин, продолжала держать она лошадей,

коров. Накашивать сена нанимала, в меру своих возможностей, как она говаривала, разных «шатунов», которые однажды чуть было не вырезали всю семью.

Вместе со всеми бедствовала в двадцатые годы, а в начале тридцатых вынуждена была «по своей воле» выйти из колхоза, который носил имя С. П. Зарубина, и переселиться в Тулун.

Трагический этот излом судьбы ее — крестьянки до мозга костей — о многом заставляет задуматься.

«Растерзали деревню, — заметила как-то рожденная в Перфилово и вышедшая замуж в Нижний Манут коренная жительница Тулунского района Агафья Сергеевна Распопина. — Раза в три Перфилово-то было больше Манута».

Точнее и не скажешь — именно растерзали. По представленным мне старейшим жителем Тулуна, бывшим на разных ответственных постах, вплоть до председателя горсовета, Николаем Ивановичем Вороновым, в 1934 году в Нижнем Мануте числилось 319 дворов, в Перфилово только 165. Какую же «работу» по раскулачиванию надо было провести, чтобы от огромной деревни уберeглись лишь жалкие остатки?

Точно так же было позднее растерзано и коневодство в совхозе «Сибиряк», ведущее свою историю от 1935 года.

В газете «Знамя Ленина» (номер от 10 апреля 1946 года) заведущий племконефермой М. Ф. Сибиряков рассказывает: «После двух лет работы завхозом меня посылают на коноферму, только что организованную. В то время в совхозе было 12 беспородных лошадей — вся база наша для коневодства. Прошел год. Выросли жеребята, мы их продали и на вырученные деньги купили племенного орловского рысака Экрана и орловско-американской породы Радиста. В 1937 году на конеферме было уже 65 голов, а в 1940 — 249. В 1945 насчитывалась 271 лошадь. Кроме того, за годы войны конеферма продала колхозам 127 лошадей, а 64 коня сдали для Красной Армии. За образцовое выращивание породных лошадей лично я был премирован, имел грамоту, участвовал на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке».

«До 1940 года — сообщает М. Ф. Сибиряков уже в газете от 26 декабря этого же года, — в совхозе не было теплых помещений. И был случай: зимой ожеребилась кобыла, и, чтобы не заморозить приплод, пришлось завернуть его в свой тулуп».

А мне не забыть другой... Пришлось побывать года три назад на отделении, которое когда-то славилось и своими рысаками, и таким вот хорошим отношением к лошадям, как в случае с М. Ф. Сибиряковым.

В конторе отделения собрались механизаторы на утреннюю разнарядку, смеялись. Остановился и я послушать, а заодно уж и порадоваться с давно знакомым мне здешним народом. Оказывается, дня три как ожеребилась кобылица прямо в снегу, все думали, что жеребенок издохнет, а он ничего, прыгает около матери...

Жутко стало от такого смеха, ведь здесь были не только потомки лучших коневодов области, но и те, кто знал конеферму и ее золотые времена. Помнят поименно лучших лошадей совхоза.

Над кем или над чем смеялись теперь люди, для которых еще не так давно все происходившее в совхозе было свято? Не над долей ли своей бесправной крестьянской? Не над положением ли своим униженным?...

Не смог я понять этого умом, не смог принять сердцем.

Или уж до того был задерган крестьянин и постановлениями, и реорганизациями, и инструкциями, и разного рода уполномоченными, которых столько наезжало и в тридцатые, и в сороковые, и в пя-

тидесятые, и которые так нахраписто требовали каждый свое, что человек приучился более радеть лишь о собственной шкуре, бормоча про себя детскую присказку: «Чур, не меня...»? Угроблено-то выращенное, выпестованное своими руками — кровное. В годы коллективизации, по крайней мере, какую-никакую животину успевали запродать, а то и на мясо забить, о чем свидетельствуют сохранившиеся у Н. И. Воронова данные. В 1929 году, например, в Тулунском районе была 30861 лошадь, к 1934 году осталось только 10461.

Спустя почти тридцать лет, надсаживается душа сибиряковцев за растерзанное хозяйство. От того, видимо, что совхоз «Сибиряк» был для каждого не только местом работы, а территория, которую он занимал, не только местом проживания. Чем-то большим. Все происходящее вошло в плоть и кровь. В совхозе видел человек основу своего благополучия и делал все для того, чтобы он богател.

Здесь как раз один из примеров, когда коллективное стало личным. А сама форма хозяйствования — совхоз — наиболее удачно сочетала в себе и частные, и государственные интересы. Здесь, может быть, одна из величайших загадок крестьянской души, бескорыстностью откликнувшейся на ложный пафос первых пятилеток — на песни, на призывы к соревнованию, на кинофильмы, на зажигательные речи.

Захлестнувшая затем страну война унесла многие, оставшиеся от коллективизации обиды, при всей кровожадности, сыграв и свою роль целителя человеческих душ. Как бы отделила она целые временные пласты, притушила память о том, что было в стране до семнадцатого года и, что было в двадцатые, и что было в тридцатые.

И сейчас, бросая взгляд на жестоко сложившуюся историю всех без исключения народов нашей многонациональной страны, уже не кажется кощунственной мысль о том, что именно война помогла уберечь национальное сознание и славянину, и мусульманину, и православному армянину.

Словно предопределена была она высшим Божьим промыслом для того только, чтобы ценой еще одного широкого потока народного горя уберечь от еще большей беды — от окончательного и бесповоротного превращения человека в «винтик». Без воли, без памяти, без права на возрождение.

* * *

Напротив клуба плотницкая бригада расчищает площадку под сруб, а для нас, совхозных пацанов, всякое новое строительство — живое дело, где и в «войнушку» можно «сыграть», и просто лишний раз полазать по смолистым бревнам.

То, что затевается немалое строительство, видно по площадке и по длине заготовленных и уже ошкуренных бревен. Гадай не гадай, а в доме том поселится «шишка» — новый директор совхоза с семьей.

Чуть свет бегаем смотреть, на сколько венцов поднялся за вчерашний день сруб, и нетерпение наше можно понять — очень хочется поглядеть на деток директорских, которые, конечно же, явятся только после сдачи хоромины под ключ.

И детки приезжают — двое мальчиков в отглаженных брючках и белоснежных рубашках. Постарше и помладше... Во все глаза смотрим на их диковинные наряды, может, впервые в жизни обращая внимание на свои линялые сатиновые «шкеры» или, в лучшем случае, нечто наподобие брюк, доставшихся в наследство от старших братьев.

Пухлые, розовощекие, насмешливые...

...С такими в войнушку не сыграешь и «красных соплей» из их носов не вышибешь.

Неприкасаемые...

Как должное принято было в рабочей среде строительство дома директору — на средства совхоза и их же руками, хотя ничего он еще не сделал ни для людей, ни для хозяйства. А вокруг тоже шла стройка. Только строились люди сами. И родители мои строились. Трудно строились. Едва поставив сруб, перекрыв крышу, врезав косяки, вставив рамы и выложив печь, мы въехали в тот дом. Отец, соорудив прямо в жилом помещении верстак, строгал доски на перегородки, изготовлял шкафы для посуды, табуретки и многое другое.

Помню нашу ограду без ворот и заплотов, помню горы щепы и опилок. Прошло еще немало лет, пока усадьба утратила черты нескончаемой стройки.

Десять долгих лет выплачивал отец ссуду в семь тысяч рублей...

И теперь, когда смотрю на дом, то думаю, что дорогого он стоит. И бревно, и доска, и стеклина оплачены не только деньгами, трудом рук отца и матери но и честностью их, порядочностью, высокой гражданской сознательностью и личной культурой. Всю жизнь они только давали государству, получая за то самую минимальную плату, задолго наперед отработав назначенную им небольшую пенсию. Но отец до своей первой пенсии не дожил всего один день, а мать работала еще десять лет, пока совсем не занемогла.

Надо сказать, что самые бессовестные из руководителей положили начало той порочной практике — обустраивать за счет колхоза или совхоза свой быт, именно в те времена. В открытую. Никого не стесняясь и ничего не боясь.

Но были и другие — иного склада, иного раскроя, такие как Михаил Федорович Сибиряков, которого я нашел уже девяностолетним, немощным, едва передвигающимся стариком.

— Ничего-то я себе не построил, ни мне не построили, — говорил мне, старчески дергаясь вслед каждому слову головой. — Все кончено, и жизнь кончена. Сейчас все у меня позабыто...

Дряхлый небольшой домишко, полуразвалившиеся надворные постройки да неуверенно лающий пес. Трясущимися руками добыл из столешницы стола две вамусоленные тетради, где между листами покоилось несколько любительских снимков: сбившееся в кучу стадо лошадей, знаменитый вороной масти жеребец Мистик, запряженный в беговую качалку, и сам он на ней с вожжами в руках.

В беседе несколько разгорячился, вспомнил даже нечто вроде каламбура о самом себе:

На резвом-то рысаке
Мчится сибиряк-Сибиряков,
Он в родном «Сибиряке»
Ростит рослых рысаков...

Без особого сожаления передал мне вырезку из газеты «Знамя Ленина», относящуюся к 1938 году, с заметкой «Мои впечатления о выставке»:

«...За всю жизнь я не видел ничего более потрясающего. Сельскохозяйственная выставка — это школа, показ изобилия, достижений Советского Союза. Я глубоко благодарен партии и правительству за огромное внимание, которое уделяется каждому трудящемуся в нашей стране».

И в конце:

«...В заключение скажу, что, побывав на выставке, я еще с большей энергией возьмусь за работу, буду добиваться, чтобы совхоз «Сибиряк» по коневодству вышел в число передовых».

Доцент кафедры животноводства ИСХИ Г. В. Черных в одной из своих работ, помещенных в «Известиях Иркутского сельхозинститута» (вып. 20, 1960), ссылаясь на известные в то время автори-

теты в области коневодства, пишет о необходимости скрещивания местных лошадей с жеребцами-производителями орловской породы.

В этом направлении и строилась работа в совхозе «Сибиряк». По данным Г. В. Черных, в хозяйстве интенсивно использовался жеребец Сухум-серый, рождения 1937 года от Свири и Улова, доставленный из Хреновского конезавода Воронежской области, класс «элита». За семь лет от него получено было 195 голов приплода (А. И. Литвинов утверждал, что Сухум был передан хозяйству по личному указанию С. М. Буденого. — Н. З.).

Значительное потомство в «Сибиряке» дали жеребцы орловской породы Мистик, Экран. Сами клички (так и хочется сказать — имена) теперь мало о чем говорят. Дело в том, что создание орловской рысистой породы начато в конце XVII века под руководством А. Г. Орлова в подмосковном заводе в селе Остров (на основе пород лошадей арабской, датской, голландской, макленбургской и других). В 1788 году все поголовье передано на только что организованный Хреновский конезавод Воронежской области. Таким образом, получить чистокровного жеребца-производителя, каким был Сухум, со старейшего в стране конезавода значило — гарантировать качественное потомство.

В сохранившихся у меня «Программах испытания племенных лошадей в 1953 году», в Иркутске переданных в свое время А. И. Литвиновым, в числе лучших фигурируют и лошади совхоза «Сибиряк». Например, жеребцы Буг, Бостон, Блеск, Багет, Витамин, Вальс, кобылы Вишня, Ива, Игла и другие.

Существовали в совхозе и свои профессиональные наездники, такие, как П. И. Дюбенко, Н. Ф. Куренкин, Н. И. Михайлов и другие. Профессии своей они обучались на Хреновском конезаводе.

Надо отдать должное вообще Тулунскому краю, где люди издавна с особой любовью относились к лошадям. По трем трактам — Братскому, Московскому, Икейскому до Тулуна и от Тулуна осуществлялся ямщицкий промысел. По данным историка по образованию, почетного гражданина города Павла Федоровича Гущина, в Тулуне в прошлом веке 200 дворов занимались ямщицким извозом. Только двадцать постоялых дворов было (при них обязательно кабак, колодец, баня).

В самом селе не было семьи, чтобы не имела она двух-трех лошадей. Были и такие, как Дмитрий Максимович Ведерников, которые имели до десяти лошадей и более, занимаясь и частным, и государственным извозом. Вдоль речки Тулунчик, в районе нынешней автостанции стоял кузнечный ряд (ликвидирован в конце двадцатых годов), где было до десяти кузниц. Оковать телегу, ходок, сани, подковать лошадь, и т. д. — основная статья дохода умельцев. Среди кузнецов особенно славились братья Колесниковы.

Славились своим искусством и шорники, известен, например, живший на Большой улице (ныне улица Ленина) некий Тюмиров. вплоть до сороковых годов существовал в Тулуне свой ипподром.

Г. В. Черных, сообщает, что по данным военно-конской переписи 1912 года у крестьян Иркутской губернии в уездах Иркутском, Балаганском, Верхнеленском, Нижнеудинском (село Тулун входило в последний. — Н. З.), насчитывалось 235132 лошади. По сравнению с Томской, Тобольской, Енисейской губерниями лошадь Приангарья отличалась низкорослостью, однако, была крепкой и выносливой.

В качестве примера Г. В. Черных приводит широко распространенный способ «выстойки» лошадей на морозе (высыхание на морозе. — Н. З.), от четырех до шести часов, когда животное про-

мерзает до дрожи в теле.

«Рост земледелия, животноводства, увеличение городского населения, возникновение горнорудной промышленности, золотых приисков в Бодайбо, расширение торговли и увеличение перевозок грузов на Север, в Якутию и Монголию требовали значительного роста гужевых перевозок на лошадях. Занятие извозом, ломовщиной на возникшем Московском, Ленском, Кяхтинском трактах, по которым перевозились промышленные товары, пушнина, рыба, зерно, явилось крупным экономическим фактором, оказавшим влияние на местное коневодство и увеличившим спрос на более крупных, сильных упряжных лошадей». (Г. В. Черных).

Таковых привозили с собой переселенцы, приток которых был особенно высоким в 1906—1911 годах. Более рослых лошадей своим ходом доставляли из Томска, Тобольска, Енисейска.

Г. В. Черных приток лошадей улучшенных пород разбивает на три периода: первый (1880—1920 годы), связанный с завозом лошадей с частных конезаводов Томской губернии и возникновением в Иркутске «Общества поощрения коневодства». Второй (1920—1930 годы), связанный с организацией животноводческих и кредитных товариществ по совместной обработке земли, где волей-неволей пришлось заняться коневодством, поскольку лошадь была основной тягловой силой. В 1926 году в Иркутске организуется Государственная заводская конюшня, куда завозится 25 жеребцов рысистых пород и которые распределяются по случайным пунктам (в свое время в райкомы КПСС некоторых городов я разослал письма, содержащие просьбу: сообщить, имеется ли информационный материал о развитии коневодства в районе в 50-е годы и в каком состоянии находится оно сейчас. Ответ пришел лишь от секретаря Черемховского ГК КПСС Л. Файзулина, в котором сообщалось, что информацией такой сельхозотдел РК КПСС и статуправление не располагают. Но говорится о том, что в семи хозяйствах велась племенная работа по разведению русской рысистой породы. В настоящее время в районе 2129 лошадей, однако, племенное коневодство развития не получило. — Н. З.).

Третий период, начиная с 1931 года, характеризуемый интенсивным плановым завозом племенных жеребцов и развертыванием повсеместного скрещивания местных лошадей с рысистыми и тяжеловесными породами.

П. Ф. Гущин свидетельствует, что на улучшение местных пород оказал влияние приход белочехов, которые бросали своих истощенных, а на смену им забирали лошадей у крестьян.

В Тулунском районе коневодством занимались и другие хозяйства.

Интенсивно лошади используются в местной промышленности на лесозаготовках. Почетный гражданин Тулуна Михаил Семенович Лонгинов рассказывает, что в годы его работы в леспромхозе экономистом (с 1937 года) лошадь была главной тягловой силой. На каждом лесопункте (Тагнинском, Круто-Ключинском, Евдокимовском, Аршанском, Ишидейском, Икейском, Шерагульском, Азейском, Тулюшкинском) имелись бригады возчиков. Для обеспечения поголовья (всего насчитывалось в леспромхозе до 600 лошадей) кормами существовали подсобные хозяйства. Были также свои кузнецы, шорные и подеревные мастерские. Закреплялись лошади с кошевой и санями и за специалистами для разъездов. У М. С. Лонгинова была, например, лошадь по кличке Пуля.

Пятидесятые годы (по крайней мере, первая половина их) были рассветом коневодческого дела в Тулунском крае, да, наверное, для всего Приангарья. Проводились межрайонные и межзональные ко-

неводческие выставки. Данные об одной из таких нашел я в городском архиве. Вообще надо сказать, что о коневодстве почти ничего нет. Но я уже в самом начале своей изыскательской работы положился на человеческую память, и она не подвела. Люди подсказывали, где можно найти хоть какие-то сведения о совхозе, и мало-помалу открывалась моему воображению такая невеселая картина, такие вопросы хотелось бы кому-нибудь задать, ответы на которые, знаю, мне никогда и нигде не получить.

* * *

— Так как же случилось, что признанная в области племконеферма орловских рысаков совхоза была уничтожена и никто этому не помешал?! — почти крича, мучил я своими вопросами М. Ф. Сибирякова.

— Не знаю, — волновался старик, — Вильчинский приехал и сказал: «Хватит играть. Это забава для детей». И стали увозить. И ничего не осталось...

— Ведь ферма-то была в восемьсот голов!...

— Не знаю... Не помню... Восемьсот, может, и не было...

Ходили ходуном руки, прыгали колени...

Тягостную картину представляет из себя старость, если кто-то пришел и перечеркнул целую жизнь, весь ход ее и смысл. И ничего не дал взамен: ни пенсии приличной, ни почета заслуженного.

Так вышло и с десятью Героями Труда, старушка какая-нибудь да наехавший внук и заглядываются иногда на золотой орден. Старушка — с едва теплящейся верой, что все это было. Внук — безо всякой веры, ведь для него это — далекая и бессмысленная древность.

* * *

На одной из дорог Тулуна привелось мне года три назад увидеть грузовик с лошадью в кузове. Грузович мчался с принятой в наших местах скоростью, не заботясь о живом существе, которое бросало из стороны в сторону. От неизбежного падения удерживала привязь.

Я стоял и смотрел вслед удаляющемуся грузовику, и казалось, мне, что, может быть, это последняя лошадь, какую вижу в своей жизни — ясно ведь было, везут на живодерню.

Еще мне показалось, будто в то время, когда грузовик поравнялся со мной глаза лошади встретились с моими и в них была мольба о спасении...

После этого случая, бывая в хозяйствах района, я стал особенно настойчиво интересоваться «лошадиным» делом: есть ли они, сколько их, ведется ли работа по коневодству, хотя бы на самом примитивном уровне.

Да, говорили мне, лошади есть... И называли разные цифры: где было их два десятка, где меньше, а где и больше. Но вот так, чтобы увидеть стадо, — не приходилось и потому верилось в такую работу с трудом.

Но буквально нынче, в угасающей деревне на несколько дворов под названием Талханы своими глазами увидел я именно стадо лошадей голов этак на сто. Увидел и долго не мог оторваться, что даже взобрался на заплот огораживающий загон и примыкающий к конюшне. Впечатление от такого благолепия усиливало действие подростка лет двенадцати-четырнадцати, который с завидным проворством взбирался на хребет то одной лошади, то, другой. Иные равнодушно стояли, а иные пытались скинуть непрошеного «наездника», делали это однако лениво и больше, видимо, для порядка.

У этого же подростка позже узнал я, что конеферма принадлежит Тулунскому стекольному заводу — сообщение, понятно, для

меня было радостное, хотя и разводили их на убой.

Присутствие конефермы заставило и по-другому взглянуть на саму деревню, занесенную некогда в списки «неперспективных». Окруженная со всех сторон редколесьем, сберегла она тот неповторимый облик сибирских деревень, какой свойственен был нашим селам еще лет тридцать назад и какой я захватил в силу собственного возраста. И вдруг поверилось мне, что деревня эта не умрет, как многие и многие ее однолетки, возникшие в пору ли столыпинских переселений, в начале ли двадцатых годов, когда производился передел земли и образовывались выселки — то есть селения, куда определялся наехавший из «Расеи» люд, изгнанный с родных мест голодом 1921-22 годов.

Не умрет, потому что вместе с лошадьми должны начать возрождаться и исконные ремесла крестьянина — подеревное, шорное, кузнечное, ведь захочется же комунибудь вернуть лошади ее былое назначение — служить человеку в его вековечном труде по добыванию хлеба насущного, особенно в наше время, когда каждому очевидно разрушительное действие прогресса в его не лучшем смысле. А другого — мы пока не знаем...

Зарубин Николай Капитонович родился в 1950 году в городе Тулуне Иркутской области.

Закончил Иркутский госуниверситет. Член Союза журналистов, работает корреспондентом газеты «Наша жизнь».

Очерки неоднократно публиковались в журнале «Сибирь».

Николай **КОТЕНКО**

НАКАНУНЕ

Горемычная наша Родина!
Злая участь, жестокий рок...
Верховенские да Ставрогины —
Закутивший вовсю порок.
Поругавший Бога и кесаря,
Рафаэля втоптавший в грязь;
Всеми ГЭСами да АЭСами,
Всеми взрывами громких фраз
Подводивший тебя к погибели...
И у самой бездны в виду
Мы клянемся: дескать, не видели,
Не предчувствовали беду.
Мол, и время-то неурочное:
Тут и служба, тут и семья...
Укорот найти на Коротича
Не сумели ни ты, ни я.

Обнищавшая наша Родина,
Кто вокруг тебя, оглянись:
Шестикрылые? — Шестирогие!
Рвут на части живую жизнь.
И торгуют заморским людям,
И гребут за каждую пядь.
Ну-ка, братие во Иуде,
Вот вершина, а вот вам падь —
Налетай, кошельки тугие!
И не мешкают — всяк спешит...
И останемся мы, нагие,
И без кожи, и без души.

И вопьются в нее челюстями искуснейшими,
И выжрут до костей тело лакомое,

И выпьют досуха кровушку хмельную,
И оставят после себя —
Тлен смердящий.

* * *

Отсырей, душа, отойди...
Будет сохнуть в тоске и гневе.
Да прольются лаской дожди
Из плутающей тучки в небе.
Потеплей. Не стыдись тепла.
Гнев — и праведный! — истощает...
Сколько эта земля взяла,
Столько нынче нам возвращает.
Мы насиловали ее,
А насильно всегда бесплодно.
Осмотрись, душа, на житье,
Распахнись своему народу.
Осветись слезой сироты,
Освятись крестом надмогильным.
Из припрятанной доброты
Не построишь замков фамильных.
Не клейми себя злом, душа,
Влейся счастливо в мир соборный.
Зри: под сводом святым кружа,
Реет ангел крылом просторным...

Виктор ***БАЛДОРЖИЕВ***

* * *

Душа моя, в сомненьях и исканьях,
В таинственной замрет вдруг тишине,
И мысли в ней, как звезды мирозданья,
Рождаются и гаснут в глубине.

ОСЕННИЙ НОКТЮРН

Как больно! Багряные листья
Скользят за оконным стеклом,
И в небе крикливые птицы
Картавят о чем-то своем.

Как жутко! Безвыходны будни,
Безжизненней жизнь и страшней,
И, мучаясь, мрачные люди
Бредут, спотыкаясь, по ней.

И взор замутненный столкнется
С моим, не захочется жить!
О, Господи, как чудотворцы
Смогли словно твари творить?

Но, высверкнув, лица, как лики,
Опять промелькнут предо мной.
Увидится: грешник великий,
А завтра, быть может, святой.

Убогий, у Бога не клянча,
Ко лбу прилагает перста,
И божий, как пух, одуванчик,
Старушка с горбушкой свята.

Все святы! И отрок бездомный,
Не помнящий мать и отца,
И шлюха с глазами мадонны...
Так вечность встает без конца.

Мерцают студеные воды,
И листья летят все быстрей,
Прозрачная синь небосвода
Бездонна, как суть у людей...

И станет свежо и прохладно,
Умолкнут устало уста,
И мысли, где мрак безотрадный,
Сметет, озарив, чистота.

ИЗЮБРЬ. НОЧНАЯ ОХОТА

А звезда на заснеженном склоне
Ослепительно страшно зажглась.
И блеснул в темноте изумленно
Перламутровый пристальный глаз.

Замер он! И об этой охоте
Вспоминайте хотя б иногда,
Загружая рога в самолеты,
Уезжая в свои города...

Удивляясь и будто не веря,
Падал он в леденеющей мгле.
Ах, какая была бы потеря,
Будь единственным он на Земле!

ВАЛЕНТИНА

Приезжала вчера Валентина,
Улыбаясь, навстречу мне шла.
Объезжали, сигналя, машины,
Пестрота городская текла.

Было ветрено, пыльно и знойно,
Стало сразу светло и легко.
И ночами казалось порой мне,
Что парное я пью молоко.

В складках ситца она привозила
Позабытый мной дух чабреца,
Обнаженная, спала счастливо,
Не сходила улыбка с лица.

Осторожно целуя веснушки,
Я вдыхал ароматы земли...
Вспоминалась моя деревушка —
Позабытая ферма вдали.

И в дрожащем я видел дурмане,
Как плывем мы по синей реке.
Журавлиные пары в тумане
Горделиво паслись вдалеке.

Засыпая в блаженном бессилье,
Я молил — пусть вернется туда,
Чтоб ее, как меня, не сгубили
Суета всех сует — города.

Уезжала вчера Валентина,
Умудренно смотрела в глаза.
А уехала!.. Пахло полынью,
И всю ночь полыхала гроза...

* * *

Кто прошлое помянет, кто забудет...
И снова связь времен оборвалась,
И к Вечности шарахнулись вдруг люди,
И хрипло в храмы ломятся, давясь.

И снова «ум и честь эпохи» — враг.
И нас Господь жалеет за увечность?
Но раньше рассмеялся Пастернак:
«Полвека жрали, и в награду — вечность?!»

Геннадий ***РУССКИХ***

МАСЛОПУПИК

РАССКАЗ

Поселковый моторист Виктор Васильевич Колобов третий день подряд не брал в рот спиртного, что привело в большое замешательство и недоумение местную пьянь. Колобова делегациями осаждали собутыльники, с неподдельной тревогой спрашивали, уж не тронулся ли он умом, подначивали, зубоскалили над ним, пытаясь вывести из себя, но Колобов упорно не вставал с кровати в небольшеньком общежитии, заговорщицки помалкивал, загадочно поблескивал глазенками, стоически отвергал все, что сочувственно, навязчиво и в неограниченном количестве предлагалось ему, начиная от вонючего портвейна «три семерки», прозванного в поселке «боингом», до всякого рода парфюмерии, включая даже такой редкостный напиток, как «тройнуха».

— Слышь, Витек, ты, случаем, не концы собрался откинуть? — сипло спрашивал Колобова местный бич Сашка Сахаляр, наливая полный стакан искристого «боинга», купленного на деньги Колобова. — На, пей!

— Ну, че ты докопался до меня, как пьяный до радива, — беззлобно улыбался Колобов. — Сказал, не буду, значит, не буду — и отвали, моя черешня.

Сашка допивал бутылку один, занюхивал корочкой и, пьяно-недоуменно пожимая плечами, уходил, почти с опаской поглядывая на своего еще три дня назад наизакадычнейшего собутыльника.

Было отчего насторожиться: во-первых, видеть Колобова трезвым было в диковинку. Все привыкли к его ежедневному поддатому состоянию. Пил он в будни, праздники, утром, в обед и вечером. Пил, по его выражению, все, что горит.

Но больше всего вызывало недоумение то, что Виктор

Васильевич Колобов совершенно сознательно, не страшась последствий, отвергал угощение, а точнее, пренебрегал им, считавшимся в этих местах высшей степенью уважения. Тут уж действительно ни в какие ворота. Не понять, не принять, туши свет, как говорится. И потому Сашка Сахаляр, прежде чем выйти вон, на минуту задерживался у двери и, пьяно помаргивая, сочувственно смотрел на Колобова, громко вздыхая — жалел. Добрая душа у Сахаляра, особенно в подпитии.

— Иди, иди, жалельщик, — тронутый Сашкиным участием, все же нетерпеливо выпроваживал его Колобов. — Еслив нет тяму в голове, так ни хрена ты не поймешь.

— Где уж нам, султанам, — уже за дверью бурчал Сашка.

Дверь захлопывалась, Колобов облегченно вздыхал, закладывал по-мальчишески худые, бледные, в наколках руки за голову и, вперив свой мечтательный взор в засиженный мухами и прокопченный табачной гарью потолок, предавался сладким и желанным грезам. В последние три дня он совсем потерял голову. Кажется, в его бобыльной неустроенной жизни намечались глобальные перемены. Ожидал он их так долго, что казалось, и не дождется совсем. И вот три дня назад его пообещали... женить! На хорошей женщине, с собственным домом, с хозяйством, еще не старой, с двумя детьми. Да это же как раз самое, что ни на есть то! Господи, неужели его скитальческой, необогретой жизни приходит конец?! Кранты! Эх, мать честная...

«Вишь, как судьба-то накатывает, каким валом обдает, — думал Колобов. — А я еще, придурок, сюда ехать не хотел. Все братцы-тунеядцы, алкаши несчастные, запели как один в дудочку: мол, куда ты поедешь? Это же такая дыра, что даже нам делать там нечего. Испугали. Да я по таким дырам уже десять лет болтаюсь, как вошь в рукомойнике. Выходит, не зря болтался. Вишь, и мне коечто начинает откалываться. Эх, только бы не сорвалось, только бы ухватить удачу-то за жабры, а там бы уж я...» И рой желанных мыслей мягкой волной накатывал на Колобова.

Но что же произошло? Откуда же он взялся, этот благодетель, который намеревался преподнести Колобову такой подарок судьбы? Чтобы узнать это, надо заглянуть на несколько недель назад, когда на поселковый участок электросетей, где обрел временную пристань Колобов, приехала на строительство сарая и рубку просеки бригада сту-

дентов — шумных, дерзких, басшабашных. Поселили их в те же тесные апартаменты, которые занимал Колобов, накидав прямо на полу ватные спальники. В первый же день по приезду студенты на радостях напились до чертиков, громко на весь поселок орали ультрамодные, вперемежку с блатными песни, съели без зазрения совести у Колобова месячный запас тушенки, нашли и выпили припрятанную в батарее водяного отопления бутылку вина и под конец чуть не поддали, или, по их выражению, чуть не «накатили» самому Колобову, когда тот принялся роптать на такой произвол.

— Ну, ты, дядя, загрузился, — лез на него кучерявый невысокий студент. — Ну, загрузился дюлячками. Придется тебе заехать в дыню.

— Слышь, Паша, прекрати наезжать на человека, — решительно осадил задиру единственный трезвый студент, который, как выяснилось позже, был у них за бригадира.

— Прикинь, Гена, этот хреноплет решил прикурковать флакон «боинга» и не дать нам накатить винишка, — не сдавался кучерявый. — Надо привести дядю в чувство.

Колобов затосковал, понял, что дело запахло керосином. Он был уже и не рад в душе, что ввязался. Хрен с ней, с этой бутылкой, нашел чего жалеть. Больше пропадало. А парни молодые, незнакомые, еще изувечат. Колобов ретировался, присмирел, но вдруг совершенно неожиданно сделался центром внимания всей компании.

— Слышь, батяня, — подошел к нему высокий, спортивного вида студент, которого все уважительно называли Борисычем. — Ты не делай обиды, видишь, этот хреноплет кривой, как турецкая сабля...

— Да ладно, чего там, — полуобиженно произнес Колобов и совсем по-детски шмыгнул носом.

— Тебя как зовут, батяня?

— Витькой.

— А по батюшке? Или у вас нет отечества и отчеств тоже нет?

— Чего? Васильич я...

— Короче, мы все будем звать тебя Васильичем. Слышь, хреноплеты? Прошу плеснуть этому крутому мужику несколько капель искристого «боинга»...

«Боинга» Васильичу плеснули, посадили его в центр всей честной компании, и обида стала быстро стихать в его душе. Скоро он уже со всеми перезнакомился, сходил в участковый гараж за еще одной припрятанной бутылкой портвейна, и шумное пиршество продолжалось почти до утра,

пока утомленные дорогой, громкими песнями и сморенные возлияниями студенты не ткнулись кто куда и не уснули мертвецки.

Васильич же посидел еще за столом один, склонив голову и бубня запомнившиеся две строки из популярной у студентов песни:

Гитара с треснувшею декой
Поет, смеется и рыдает...

Обиды давно никакой не было, напротив, было чувство какой-то душевной приподнятости, точно сбросил с себя Васильич десятка полтора годочков.

Вдруг он вспомнил, что его назвали несколько раз в разговоре батей и батяней. Колобов забеспокоился и несколько протрезвел. В общем веселье он как-то не обратил на это внимания, а сейчас вот... Батя? Хм... Ну, какой он батя? Ему всего лишь 35. Разве это возраст? Батя... Ишь, вы, сами вы бати.

Васильич встал, пошатываясь, прошел к рукомойнику в углу комнаты, у входа, заглянул в зеркало. На него смотрела нездоровая, почти совсем лысая, вытянутая физиономия с оттопыренными ушами, худая, желтушного цвета, с редкими прокуренными зубами. Не придавали ей молодцеватости даже узкие, как у породистого одессита, лихо закрученные белесые усики.

— Мда-а, — пьяно икнул Колобов и провел рукой по лицу. — Батя...

Он пнул ногой дверь, вышел на улицу. Шел проливной дождь без ветра, и шум его почти перекрывал плеск текущей в нескольких шагах быстрой мутноводной речушки. Колобов подставил лысину под дождь и долго стоял так, пока не вымок насквозь. Было тихо, как бывает только в дальней таежной глуши. Поселок спал, даже собаки — а их тут своры — молчали, попрятавшись от дождя.

— Батя.., — еще раз повторил Колобов и, зябко поежившись, пошел спать.

Васильич привязался к студентам. Оказались они неплохими, компанейскими парнями, и если их заносило куда-то не туда, то случалось это только под пьяную лавочку. Даже самый задиристый, который чуть было не «накатил» Колобову — звали его Пашей-черепашей, — трезвым оказался редкостным добряком и тихоней.

К Колобову они относились как к сверстнику, были с ним порой насмешливо-снисходительными, подсмеивались. Но это не досаждало ему, не бросалось в глаза со стороны было, что называется, в меру. Они поняли, что Васильич че-

ловек беззлобный, простодырошный, услужливый, не подлый, имеет золотые руки, и хоть пьяница, но не совсем чтобы бомж.

Колобов же после первых двух недель был совершенно без ума от ребят. Он настолько привязался к ним, что злился, если они уходили без него на танцы или в кино на несколько часов. Тогда он скучал, чаще прикладывался к бутылке.

Как-то по-другому пошла его жизнь. Он точно помолодел душой и невольно ловил себя на том, что чаще стал вспоминать свою молодость — «фазанку», армию, колонию, о которых почти совсем забыл, точно их и не было в его расхристанной наперекосяк жизни. И он старался не думать о том, что очень скоро студенты, закончив стройотряд, уедут восвояси в шумный город, которого Колобов никогда не любил, а для него наступят снова пьяные, однообразные дни в сообществе с Сашкой Сахаляром. Человек он, конечно, неплохой, но шарабан у него варит ровно настолько, чтобы сообразить на бутылку «боинга».

Нет, пить Колобов не бросил. Все также в заначке у него стояло вино, и пока он возился с трактором — он называл его любовно «соткой», — за день не раз прикладывался к горлышку и был всегда в приподнято-возбужденном состоянии. Но это как-то ушло на второй план. Его подкупающе тянуло на разговор с новыми людьми, потому как, казалось, и думали они по-другому, и спрашивали с любопытством, и слушали с интересом. А у Колобова столько накопилось в душе за время кочевья по северным поселкам, что лилось через край, ныло, тянуло, моченьки не хватало, как хотелось выговориться.

Особенно нравился ему тот высокий парень, которого все уважительно называли Борисычем. Мог он мимоходом, между делом, с хиханек да хаханек завертеть такой разговор, который заканчивался потом глубоко за полночь.

— Васильич, ну скажи: почему ты пьешь? — хлебая щи, сваренные из концентратов, начинал канючить Борисыч. — Каждый день, да еще несколько раз на дню. Так недолго и ноги протянуть. Ну, какая от этого польза, а? Ты бы хоть по бабам бегал, все не впустую.

Васильич желтозубо склабится, смачно шмыгает носом, блестит глазенками.

— Так я, может, оттого и пью, что баб нет. Жизнь ведь у меня пошла через пень-колоду, поломатая житуха. И вот пока не пью — всякая дребезделка в голову лезет — зудит, тянет за душу. А поддал — там уже другой коленкор.

— Пьешь вот, помрешь же?

— Ну и хрен с ним, нашел чем пугать, удивил бабу мудями. Я ишшо смерти не боялся, пусть она меня боится.

Васильич хорохорится, хотя если разобраться, то не из чего. Изрезан вдоль и поперек, перенес шесть операций — больные почки, печень, желудок, мочевой пузырь. Надорван, как старый мерин, вечно брюхо перетянуто тугим бандажем. Зато винополка — дом родной. Однажды его так скрутило с похмелья, что студенты переполох подняли, думали, отдаст Васильич Богу душу. Нет, отошел. Живучий, холера.

— А помру — есть кому вспомнить, помянуть, — продолжает Колобов. — Я ить зла никому не сделал, одно добро только. Ни у кого никогда иголки не взял.

— А живешь-то для чего?

— А чтоб помереть, — смеется Васильич.

— Что же не помираешь?

— Да были возможности, но Бог миловал, вишь, куда кривая вывела.

— Ты, походу, птаха-то здесь залетная?

— Ох, корешок, сколько я облетел, тебе и не снилось, поди. Погоди-ко, счас...

Колобов суетливо подбегает к кровати, достает из-под подушки флакон одеколона, прямо из горлышка делает несколько глотков, не только ни морщась, но почти с удовольствием.

— Счас, счас, — нетерпеливо шмыгает он носом.

Закуривает, смачно затягивается. Потом гнездит свое долгое худое тело у стенки, садится на корточки. Острые коленки торчат чуть не выше желтой плешины. Он в майке, на худом, бледнокожем, по-стариковски дряблом плече лихая наколка: «Пока не выпью водки на луне, не дам покоя сатане». Это смотрится смешно. Васильич тычет в наколку длинным сучковатым пальцем, слегка бравирует.

— Вишь, все прошел. Хлеб колхозный продал — и умыкали на пару лет. Вот с тех пор, и мотает меня судьбина по белу свету. Сам-то я родом с Восточного Казахстана. Деревня там... Дом... Мать, батя. Забыли уж, поди, я ить имя не пишу, не звоню. Может, отпели уж давно, оттого и копчу еще белый свет...

В комнате тихо. Только мухи зудят, назойливо лезут в лицо, кусают больно, до волдырей. Ничто их не берет — ни липучка, ни дихлофос. Васильич обмахивается рукой, продолжает:

— Есть что вспомнить. Я ить, бывалоча, на трех такси езживал, один...

— Ну-ка, ну-ка, — нарочито громко вскрикивает Борисыч. — Что это тут еще за теневой воротила выискался. Это как это на трех-то сразу?

— Тебе такая житуха и не снилась, поди. Тогда среди северян это шибко в моде было. Кураж, конечно, это был, дурь. Это называлось хлестануться, выпедриться, значит. Как езживал? А так: одна тачка меня везет, другая шмотки, а третья спецрейсом шляпу. Понял? Вот так я к своей второй жене и закатил. Хотел попервоначалу шик ей в глаза пустить, мол, вот я какой фон-барон. А потом заробел — у нее ведь образование высшее, медицинский закончила. А я кто? Маслопупик, вечно с гайками да железками, с ног до головы маслопупик. Ишо, думаю, обсмеет. А я смерть этого боюсь, сразу тушуюсь и чувствую себя букарашкой. Знаю, что не надо так, а все как малое дитятя...

— Так ты, Васильич, походу, еще и половой гигант?! Сколько же у тебя жен было? — оживляется и откровенно удивляется Борисыч.

— Да не много — две. Могу паспорт показать, если не веришь. Обои законные. От первой сын уже большой, слышал, тоже начал с тюряги. Ну, да та была стерва, уж стервозина. Сколько я от нее, собаки, рогов переносил... Да и женился сдуру, по молодости, не любил ее совсем, оттого и прожили недолго... А вот вторая...— Васильич затягивается, молчит минутку. — Рахиля, Рая, значит, по-нашему... Вот эту любил и до сих пор люблю.

— Так вернись.

— Ты что?! — искренне удивляется Колобов. — Посмотри-ка на меня! Я моложе был, со всеми зубами и то считал себя не парой ей, а тут... Не-е-т! — говорит Васильич в общем-то спокойно, без особого сожаления. Видно, давно все в нем перегорело, убито водкой и сильно его не тревожит.

— Я ведь, знаешь, какие подарки делал Раюхе? — Васильич затягивается папиросой. — Один букет только за стольник покупал. Подъезжал на тачке к ее дому, заходил в подъезд, ставил к двери какой-нибудь шикарный подарок, ложил букет, прятал в него пачку десяток, хрустященьких, нажимал на кнопку и убегал. Тачка ждала у подъезда. Послушаю внизу, как только дверь откроется — шасть в тачку и ходу...

— Где ж ты столько бабок огребал?

— Эх, чухня ты этакая, — Васильич улыбается открыто и добро. — Я ж почти всю зиму безвыездно на своей «сот-

ке» по тайге рассекал, по участкам всякую дребезделку развозил. У нефтяников... Погодь.

Колобов снова откидывает подушку, отвинчивает пробку. Видно, как катается его задранный кадык. Он не морщится, только дышит глубоко, с шумом, как запаренная лошадь. Снова гнездится у стены болезненно худой, мослатый. Глаза блестят, изрядно потревоженные зельем.

— Эх, мать честная, было времечко. Полгода проблукаю по тайге, один-одинешенек. Жратва, правда, хреноватая. Через нее вот все зубы потерял. Зато когда возвращаюсь по последнему льду: ну ты, ясно море! — встречали на базе, как Горбачева! Ково там, лучше! На руках носили! Гадом буду, не мету. И вот после такого приему шел Витек в кассу, огребал зараз тыщь пять или шесть деньжат, после он неделю гудел, а потом к лету на материк сматывался. Там за месячишко все спускал — что деньги — дерьмо собачье — и снова на свою «сотку»... Вишь, как сижу? Я вот так, на кукорках, могу хошь сколько просидеть. В «сотке» так привык, за рычагами ведь всю зиму...

Папироса в длинных пальцах Васильича давно прогорела. Уже поздно, парни кемарят. Один Борисыч слушает Колобова. Не поймет только Васильич — из интереса или из уважения?

Отличный парень Борисыч. Высокий, стройный, жилистый. Модный зачес сухих, здоровых волос. Борода пробивается густая, породистая. Даже здесь, в этой северной дыре следит за собою Борисыч. Следит не по-бабьи, чего Колобов до отвращения не терпит в мужиках, а хорошо, по-мужски. От него потягивает хорошим одеколоном, почти каждый день на нем свежая, с вечера постиранная рубаха.

Борисыч насмешлив, но не зол, а порой даже до расточительности добр. Это больше всего подкупает Васильича, тянет к парню. Нравится популярность Борисыча среди ребят, какую ерунду не выдумает — они тут же как попугаи начинают долдонить вслед. Нравится Колобову, как курит Борисыч. Красиво курит. Затяжки делает большие, глубокие, закрывая при этом в томительном удовольствии немного холодноватые глаза.

Нравится, как ест Борисыч — не спеша, не жадно, как подобает мужику, с достоинством. Нравится, с каким восторгом читает Борисыч журнал «Огонек», как смотрит телевизор. Нравится, как рассказывает что-нибудь парень, как кривляется, передразнивая ребят, как врет. Виртуозно, с упоением. Отличный парень Борисыч. Сейчас вот поздний

час, а сидит ведь и слушает. И, кажется, сопереживает. И глаза... нет, глаза холодноваты. А вот лицо вроде грустное. Хотя поди разбери ее, современную молодежь.

— Эх, Борисыч, — вздыхает Колобов. — Если по правде сказать, надоела мне до чертиков житуха такая. Порой в петлю охота залезть. Ну что, кто я здесь? Бич, бомж... Что у меня есть? Кровать вот и та казенная, да чемодан. Сегодня же могу встать, встряхнуться и аля-улю — рванул в другое место. А там опять то же самое. А так охота пришвартоваться куда-нибудь, осесть на постоянку и ни шагу никуда. Невезуха какая-то... Жил в Бомбее — Бодайбо значит — сошелся с одной дурой... Ничего путного, пили да дрались. Бил ее до синяков, пинал. Потом думаю — зачем? Убью как-нибудь — и снова тюряга. А там не сладко. Сбежал сюда. А здесь что? Веришь, нет, мечта у меня давно уже есть затаенная: думаю, попадись мне счас путная бабешка, пусть даже и старше меня лет на десять, только чтоб с ребятишками — смерть люблю — все бы бросил и сошелся. Пить бы бросил... Не веришь? Гадом буду... Я могу. Я как-то полтора года в рот не брал. Не веришь? Не веришь... А зря, не мету я, точно бы бросил. У меня вить руки золотые. Видел, у начальника полку замастырил? Полпоселка переходило смотреть. Трактор... да любую технику знаю от и до. Что знаю, то знаю без базару. Я бы все в доме замастачил, жила бы как у Христа за пазухой. От так от... Погодь...

Васильич допивает флакушку, смешком говорит:

— Слышь, а может, через газету об этом написать, а? Я читал как-то... Так, мол, и так, мужчина средних лет, высокий, это... Хотя... Стыдно, поди, хе-хе... Давай спать, Борисыч.

Хороший получился разговор, душевный такой, размягченный. Как братья поговорили. Не раз потом Колобов вспомнит об этом.

А три дня спустя огорошил Борисыч Колобова таким сообщением, от которого все задрожало внутри у мужика. Прибежал Борисыч глубоко за полночь, запыханный, возбужденный, и с ходу выдал:

— Ну, Васильич, с тебя причитается. Короче, не расплатишься до конца дней своих. Нашел я тебе то, что ты потерял.

— Ну-ну, — настроился Васильич на шутку.

— Зря нукаешь, Васильич, невесту я тебе нашел.

— Ага, заливай, — продолжал улыбаться Колобов.

— Ты что? Не веришь? — почти разозлился Борисыч.—

Ну и летай, пташечка, одна. Я тебе больше, Васильич, вообще слова не скажу. Понял? Иди колупайся со своими гайками. Как ты себя назвал? Маслопупик? Вот-вот, ты и есть этот самый маслопупик с чугунной башкой, до которой вообще не доходит здравый смысл. К нему по-доброму, а он рыло воротит. А еще разговорился — я бы да я. Головка ты от бульдозера. Забулдыга. Я все сказал. Гуляй, Вася.

— Постой, постой, Борисыч, — видя, что парень не шутит, посерьезнел и Колобов. — Да погоди ты, остынь, че раздухарился. Ты че серьезно, без базару? Какую невесту? Ты не метешь?

— Васильич?

— Стой, — сглотнул слюну Колобов. — Давай по порядку. Что за баба? Откуда?

— Возле метеостанции живет. Знаешь, там возле поля дома...

— Ну? Ну?

— Хрен гну. Короче, я к дочке ее подкатил. Сидим, трекаем на лавочке, хиханьки да хаханьки. Тут мать ее из калитки выходит. «Че, — говорит, — веселитесь, молодежь?» А я говорю: «А че нам, молодым да неженатым». А она: «Я-то, мол, похоже, отвеселилась». А сама молодая, ну года сорок два, сорок три, не больше. Ну, сколько ей, если старшей дочке восемнадцать, а вторая вообще пацанка, в третий класс ходит?

— Еслив выскочила скороспелкой, то и вообще лет сорок.

— Ну вот. Я ей и говорю: «Чей-то вы себя в старухи записали? Вы еще самое то». Хотел поконкретней сказать, да дочки постеснялся. Обиделась бы, а у нас с ней все на мази. Мать-то грустно так: «Кому я нужна, вдова, да еще с таким привеском? Двое ведь у меня. Кто позарится?» И смешком так договаривает: «Хошь бы вы какого-нибудь мужичка завалященького подыскали. Я бы уж вас отблагодарила. Хотя, где его взять? Мужик нынче дешевый пошел».

— Ну? Ну?

— Что ну? Баба вот такая! Корова, два поросенка, «Буран» в ограде стоит. Мужик год как помер, парализовало. Я потом с дочкой говорил, так она сама была бы рада, если б мать нашла кого-нибудь. Молодая ведь. Сам понимаешь, — хитренько и гадливо подмигнул Борисыч. — Ты секешь, куда я клоню?

— Ну, дальше!

— А дальше эти самые не пускают. Короче, я весь разговор-то наш с тобой припомнил и говорю ей, мол, есть у нас мужик, красавец писаный, ума палата, чуть-чуть до классиков марксизма-ленинизма не дотягивает по интеллекту, руки золотые...

— Борисыч, а ты не метешь? — Колобов вспотел.

— Ну, конечно, я по-серьезному говорил, мол, так и так, есть у нас мужик, разженя, без алиментов, такой-то и такой-то. Еще молодой, нестрашный, правда, малость бухарик...

— Это-то ты зачем брякнул? Ну, какой я бухарик — пару раз в неделю выпью. Здесь все так пьют.

— Да она, походу, это мимо ушей пропустила.

— Так ты, наверное, там козлом прыгал, рожу свою корчил, она тебя, дурака, всерьез и не приняла.

— Рожа, Васильич, — у тебя. Козел тоже ты. Понял? И пошел-ка ты...

— Ладно, Борисыч, извини, дальше-то что?

— Дальше? Короче, дотрещались мы с ней, что я тебя, дурака, на смотрины приведу через три дня. Короче, готовься. По-хорошему-то за твое хамство с тобой вообще не стоило разговаривать. Ну, да ладно, помни мою доброту.

Последние слова развеяли все сомнения Колобова. Тогда-то он и завязал с парфюмерией и, закинув худые руки за голову, предался желанным грезам.

Разное передумалось Колобову за эти три трезвых дня. Какой он представлял свою будущую супружескую жизнь? Во всяком случае, меньше всего он думал о делах альковных. Нет, не то чтоб они совсем его не волновали, но значения первостепенного не имели. Больше мысли Колобова устремлялись к хозяйству, в этом он видел свое будущее предназначение как будущий глава семейства. Он почему-то совсем не брал в расчет, что дело может сорваться, или он не понравится невесте, или она ему. Он как-то враз свыкся с мыслью, что все будет хорошо, славно, все уладится с первого раза и нечего над этим ломать голову и тревожить себя по пустякам. Надо смотреть дальше, как они будут жить, хозяйство вести, детей воспитывать. Уж Колобов постарается, уж он покажет. Эх, и истосковались же руки по настоящему делу. Все может Колобов — пилить, строгать, газосваркой работать, токарить. «Буран» вот без дела стоит. Да он его по винтику переберет, по гаечке, как часики будет работать. Что еще? Ну, с дочкой обязательно подружится. Ребятишки к нему привязываются быстро. Люди говорят, что это верный

признак человека доброй души. Борисыч сказал, что в третьем классе младшая-то... Ну, пальто ей для начала справят, сапоги на зиму. Старшей тоже сапоги, да чтоб помодней. Эх, с Борисычем она закрутила, как бы до греха не дошло. Жалко будет девку, если с приданым оставит ее Борисыч. А может, обойдется все. Не такая же она дурочка, чтобы с первым попавшим. А может, ничего и нет, треплет Борисыч языком, и все. Это он может.

А сапоги... сапоги старшей обязательно купят. Это можно сделать. Попросит Сахаляра, выпьют с ним бутылку, а у того блат на базе. Хотя с пьянкой надо завязывать. Надо. Че народ смешить? Жить так жить, чтоб по-серьезному. Ну, дак и что? Можно и без бутылки обойтись, что Сахаляр не поймет, что ли?

Славно было на душе у Колобова. Так славно, что петь хотелось. Даже о злой и кусучей мухоте забыл, отвлекся, замечтался. Отчего-то дом вспомнил, деревню... Там больше степи, здесь лес, тайга. Надо же, вот к лесу больше сердце прикипело... А дома? Дома хорошо было, вольно. У бати кузня была, ох и чудеса они там творили. Ворота сковали решетчатые на завидки всему селу, сами открывались и закрывались. Трактор смастерили. Простой, надежный, вечная машина. Невеста была из ссыльных немцев, с именем чудным — Матильда. В селе ее Мотей звали. Толстовата, правда, но чистюля и ласковая. Дернул же черт связаться с этим хлебом. Посапывал бы сейчас на белотелой Матильдиной руке и не думал, не мечтал ни о какой женитьбе. Ну, да что было, то быльем поросло...

Наконец Колобов встал и начал наводить марафет — достал голубую гипюровую рубашку, галстук, коричневую пижонскую шляпу, костюм, остроносые туфли протер суконкой. Начал гладиться. На душе светло, как в Пасху. Так и стоит перед глазами родное село, дом, принаряженная мать, икона в крахмальных рушниках, горка крашенных луковой скорлупой яиц.

Гитара с треснувшею декой
Поет, смеется и рыдает...

В комнате тихо, только мухи зудят. Парни ушли в кино. Но скоро должен прийти Борисыч, и они пойдут туда. где, может быть, найдет наконец Колобов свое счастье.

До чего же теплый сегодня вечер. Тихий, прозрачный. Дверь распахнута настежь, и слышно, как побулькивает в заберегах за забором речка.

Васильич достает из-под кровати небольшой саквоя-

жик. Открывает. Все на месте — коньяк, шоколад, три бледно-фиолетовых астры. Коньяк с трудом достал через Сахаляра, чем удивил его несказанно. Астры? Грешным делом залез ночью в чужой садик, и воспоминание об этом неприятно скребануло по душе. Можно было, конечно, и купить или попросить, да стыдно, еще спрашивать начнут — зачем? Если дело сладится, то тогда и деньги отдаст Колобов. Но эта мимолетная досада не омрачила общей радости. Васильич достал печатку дорогого мыла, с удовольствием намылил голову, смыл ароматную пену холодной водой. Вытерся. Долго сгонял белесые кудряшки с висков к затылку. Делал все не спеша, обстоятельно, с тихой радостью.

Когда пришел Борисыч, Колобов только что, до легкой багровости лица, затянул на шее галстук. А когда одел пиджак и принакрыл плешину шляпой, Борисычу ничего не оставалось, как сказать примерно следующее:

— Фью-ить! Да ты, походу, Васильич, крутой парень!

А как лыбился от счастья Колобов, этого, боюсь, мне вообще не передать. Он прямо светился весь, как пасхальное яйцо. Поблескивал глазами, а были они у него синие, еще не выцветшие, не потухшие. А его лихо заверченные, тонкие, одесситские усики, русые, которые почти сливались с цветом кожи, придавали лицу Колобова новое, чужое, полубрезгливое выражение.

И они пошли. Оказалось, что Колобов почти не уступал в росте Борисычу, что он тоже строен, прям, не сутул, вот только вял, нет в его походке той жизненной силы и спортивной упругости, как у Борисыча. Но и он не последний мужик в этой дыре. Не стыдно пойти за такого.

Хорощо было идти с Борисычем. Радостно, приятно. С таким здоровым, красивым, умным. Волна благодарности распирала Колобова. Неоплатным должником чувствовал он себя перед Борисычем. Кажись, скажи он сейчас — отдай, Васильич, последнюю рубашку — снимет и отдаст. В пиджаке пойдет. И шляпу отдаст в придачу. Только бы помог ему Борисыч. Должен помочь. Да он черта уговорит, не то что бабенку какую-то. У него язык на какой-то особый манер подвешен. Бывает, как начнет заливать, что парни рты раззявят и уши развесят. И знают ведь, что врет, а верят. Ну что за парень такой Борисыч?! Ну, кто ему Колобов? Местный бич, забулдыга, случайный человек. А поди ж ты, заботится о нем, как о родном брательнике. Выходит, что не случайный. Выходит, чем-то взял его Колобов. Отличный парень Борисыч.

— Стой,— прервал раздумья Колобова Борисыч.— Пришли.

— Да вроде не тот дом-то...

— Ты че, не понимаешь?

— ??

— Мне ж на разведку сходить надо, может, у них гости.

— А, верно. Ну давай, я здесь подожду.

Борисыч скрылся за углом, а Колобов присел прямо на траву и стал ждать. Было уже темно, над лесом зависла широкомордая луна, смотрела светло, по-доброму. Сердце у Васильича колотилось, он представлял лицо своей будущей спутницы жизни и не мог представить. Может, и встречались когда на улице, хоть поселок не так уж и мал. Конечно, встречались. Какая же она? Борисыч говорил, что не красавица, но и не страшна. Фигуриста. Словом, как все. А Колобову именно такая и нужна, чтоб как все, Как он сам. С такой спокойнее. Такие к жизни стойче. А то попадет какая-нибудь и начнет хвостом вертеть — разве это жизнь? А коль уж настраиваться на жизнь, то по-серьезному. Что-то припаздывает Борисыч. Может, правда гости? Дак пришел бы уж... Скорей всего, трекает языком, это он может. Колобов улыбнулся.

Откуда было ему знать, что в эти самые минуты никого Борисыч не сватал, да и некого было сватать. Он спокойно завернул за угол и пошел себе в поселковый спортзал, где проиграл весь вечер в теннис, а потом преспокойно вернулся в общагу, даже не вспомнив о Колобове, и уснул сном праведника.

Что обманут, как мальчишка, Колобов понял под утро, когда подернулось серой бледностью небо. Обидно было, пусто. Но злости не было. Надо же так опрофаниться, дать обвести себя вокруг пальца, доверить сокровенное в общем-то мальчишке, не битому жизнью, воспитанному в холе и добре, для которого происходящее лишь повод позубоскалить и подурачиться. Но все равно, нельзя же так... Умный ведь, в институте учится и не понял, что для Васильича это все не просто хиханьки да хаханьки.

Зашел в общагу Колобов нарочито громко хлопнув дверью, застучал каблуками, включил свет. Парни заворочались, что-то сердито пробурчал спросонья Паша-черепаша. Васильич ждал и хотел, чтобы проснулся Борисыч, но тот спал глубоко, безмятежно, как может спать здоровый, с чистой совестью двадцатилетний парень. Жалко было будить Борисыча, но все же Колобов растолкал его.

— Ты че? — спросонья поднял голову Борисыч, Сначала

смотрел недоуменно, но потом сообразил, что к чему, и по лицу его поползла нагловатая ухмылка.

— Трепач ты, Борисыч, — грустно сказал Колобов. Да как-то очень уж тоскливо, с надрывом у него это вышло, что Борисыч согнал с лица ухмылку, посерьезнел, сел на кровати. Помолчал с минуту, о чем-то думая. Наконец хрипло, со сна произнес:

— Васильич, ну кто же виноват, что ты такой луфарь, а? Неужели ты сразу не допер, что это все туфта, розыгрыш. Тебе мозги запудрить, как два пальца... Ты че до сих пор сидел и ждал?

Но Колобов уже не слушал его. Он прихватил саквояж, и, выключив свет, вышел, потихоньку прикрыв за собой дверь.

— Катись, катись, олух царя небесного. Таким дуракам вообще в глуши надо жить вдали от людей, — орал ему вслед разозлившийся Борисыч.

Колобов спустился к реке. Утро было прохладное, и вода курилась слабым туманом. На другом берегу в тальнике звенели птахи. Было уже светло, налилось нежной алостью дальнее облачко.

Колобов присел на валун, достал коньяк, сковырнул зубом пробку, приложился из горлышка. Хрустнул фольгой шоколадки, полез за «Беломором».

Закурил, перебросил папиросу в уголок рта, щурясь от дыма. Взгляд упал на стоявшие астры. Он взял цветы, повертел их в руках, удивляясь, каким макаром они вообще могли у него оказаться. Он уж и не помнит, когда держал их в руках. Букет сник, лепестки примялись, хотя еще с вечера были свежи и упруги. Колобов понюхал цветы и, почти не уловив аромата, смотрел недоуменно на букет, не зная, что с ним делать.

За спиной зашумел каменишник, кто-то спускался к реке. Не оборачиваясь, Колобов обождал, пока шаги приблизятся, сказал громко:

— Пей, Борисыч, коньяк, он хоть и воняет правду клопами, но в дурь вгоняет быстро. Шоколадом вон закусывай. Наверное, ты прав.

В чем прав Борисыч, Колобов так и не сказал. Повертев в руках букет, он бросил астры в реку. Течение быстро понесло их, завертело, закружило, и скоро они скрылись в желтоватой мутной ряби.

Николай ***СИРОТЕНКО***

ЯВКИ НЕ БУДЕТ

ПОВЕСТЬ

I

Пятидесятишестилетний заключенный Денис Яровой сидел на табуретке перед тумбочкой, разделявшей двухъярусные металлические койки, и брился. Делал он это не спешно, уже в третий раз скребя подбородок лезвием безопасной бритвы. Временами движение рук замедлялось, приостанавливалось, и Денис будто засыпал на какое-то мгновение, но сон проходил, и бритва снова начинала медленно собирать с лица жидкую мыльную пену.

От окна на тумбочку, застланную газетой, падал ровный утренний свет от поднимавшегося где-то за забором солнца. Сквозь чистые стекла виднелась хорошо подметенная, утрамбованная ногами до каменной плотности широкая грунтовая дорожка и зелень спорыша, кустившегося вдоль запретной зоны. А дальше — столбики, густо натянутая колючая проволока между ними, взрыхленная и взборонованная серая земля контрольно-следовой полосы, еще столбики и столбы с тканью «колючки», перевитой по диагоналям, и забор, высокий забор из добротного пиловочника, всегда серый, недоступный и тоскливый во все времена года. Там, за этим забором, — воля. Там, кажется, другое небо, другое солнце, другой воздух. Разве по справедливости может светить солнце одинаково для всех; разве небо одно на всех? Здесь и дождь, и снег безрадостные и холодные.

Изредка Яровой заглядывал в продолговатое с записную книжку зеркальце, опиравшееся на алюминиевую кружку с уже остывшей водой, и там видел свое лицо:

грубые морщины, похожие на отпечатки арматурной стали; обветрившуюся кожу от постоянной работы на открытом воздухе; высокий лоб, переходящий в залысины, едва очерченные коротко стриженной щетиной седых волос; выцветшие серые глаза с грозно нависшими над ними черными лохматыми бровями; плохо зарубцевавшийся синевато-красный шрам, тянувшийся от верхней губы к левой щеке, отчего рот казался немного перекошенным и широковатым. Шрам не красит, конечно, хотя нажит он вовсе не преступно. Спружинившая арматурина мгновенно царапнула со стороны щеки ко рту. Сносно царапнула. Могло быть и хуже, не дернись голова вверх.

В глазах — ни искорки мысли, будто это и не глаза, а две капли мутноватой жидкости, застывшей в глубоких глазницах с почти бесцветными икринками зрачков. Даже лицо какое-то неподвижное, отрешенное и бездумное. Полудрема-полусон. Лишь надраенные металлические зубы, среди которых виднелось три золотых, кричаще высвечивались, когда приоткрывались мясистые уже без румянца губы.

Нижняя койка от Ярового, справа, была пуста и щерилась провисшей металлической сеткой, многократно латанной голым и изолированным проводом. Матрац, подушку, одеяло и две простыни Денис отнес на складского типа вещкаптерку сразу после подъема, получив справку о том, что он, Яровой Д. П., задолженности по имуществу не имеет. Справка — для бухгалтерии, никогда невидимой, но постоянно и бдительно опекающей личный хозрасчет каждого находящегося в зоне, складывающийся из начислений заработка и удержаний за питание, одежду, прочую мелочь, от иголки до кружки, погашение исков за когда-то причиненный ущерб и — безоговорочно — пятидесятипроцентные «услуги», хозяину. Остальное — твое.

На передней спинке пока что ничейной пустой койки осталась висеть фанерная табличка — бирка в аккуратной железной рамочке, ничем не выделяющейся среди двадцати девяти других:

Яровой Денис Поликарпович.
Год рождения: 1918.
Статья: 89 ч. III УК РСФСР.
Срок наказания: 12 лет.
Начало срока: 8 июля 1962 года.
Конец срока: 8 июля 1974 года.

Впрочем, бирка уже не нужна. С момента взятия под стражу минуло 12 лет, день в день. Осталась какая-то пылинка от глыбы, какой-то миг из бесконечности — всего час, и последует вызов в штаб. Там официально будет объявлено о полном отбытии срока наказания, определенного судом... Через час. В сущности говоря, для Ярового этот оставшийся час не значил практически ничего. Потому и спокойствие, даже дрема какая-то, как после неслыханно длинного пути с тяжелым грузом. Или это все внешне? Час из ста пяти тысяч двухсот пятнадцати — миг. Это те, кто впервые лишен свободы, высчитывают и дни, и часы, когда выпадет срок освобождения — среда ли, пятница. В воскресенье возможна и задержка: в управлении выходной. Тогда, отбыв срок, можешь «загорать» до понедельника — целую вечность, которой на воле разбрасываются так же беспечно, как окурками от папирос. Можно, конечно, и в зоне «заработать» и новый срок, и его продление. Но это уже как кому выпадет. А ему, Денису, совсем хорошо: в воскресенье взяли, в понедельник отпускают.

Что ж, выходит, свыкся? Нет, притерпеться можно только к тому, что не ограничивает свободу. К лишению ее не привыкнешь, даже если бы осудили на пожизненно. В начале срока свобода манит так же, как и в конце. Пожалуй, в конце куда труднее, ибо одна только мысль о приближении воли ворошит душу до бессонницы. И чем больше отрезок времени, отделяющий от прежней жизни, тем дольше длится бессонница. Что ожидает там, на воле?

Нет, отбывая наказание, человек не лишен информации. В редкие часы отдыха Денис брался за газеты и журналы, читал, слушал радио и лекции. Приносили вести и прибывавшие новыми этапами. Но все это воспринималось через призму того, что видел когда-то сам на воле. Да читал, что в городе, где «схлопотал» срок, пущен завод и выпустил продукцию. Вообще все: и люди, и обстановка оставались в памяти такими, как видел и запомнил. Течение реального времени с того теперь уже давнего момента, когда был арестован и взят под стражу, будто остановилось, переросло в другие измерения, а восприятие притупилось. Иногда кажется даже, что человек-то и взрослеет. и старится, а умишко остается на доарестном уровне.

Воля. Яровой привык, пожалуй, к другому: жесткий распорядок дня, необходимость выполнения правил, где все подчинено перевоспитанию человека, ломке с точки зрения закона. Нет, не наказание за содеянное — это он понял, — хотя сам факт не сбрасывается со счета, а исп-

равление в человеке того, что по каким-то причинам оказалось в противоречии с нормами жизни свободных и равноправных людей. Правда, равенство — понятие спорное. Никакая группа, община, общество не может существовать без лидера. А где есть вожак, там будет подчинение, преклонение перед авторитетом, поклонение сильному. Неравенство исключает и свободу в ее исконном смысле. Зона же не вписывается даже в эту аналогию. Она — исправление изоляцией от общества, лишение свободы действия, свободы выбора, свободы поступков. Зона — это режим во всем, исправление режимом. Денис воспринимал его и сопутствующие ему попытки унизить, задушить самолюбие и человеческое достоинство как должное или неизбежное. Без наказания нельзя, хотя устрашение силой примера самого факта наказания других, как и длительность лишения свободы, все-таки жестоки до определенной степени. Жестоки, но не всегда и не везде. Человек, поднявший руку на другого человека, не может, не должен, по справедливости, нести такое же наказание, как любой прочий. Дикость в любой ее форме должна караться дикостью, если даже это противоречит гуманности.

Распорядком и правилами предусмотрено все. Здесь и право на труд, но труд обязательный и не по выбору, а там, где это признано целесообразным; и право на образование, но не по желанию, а как обязанность повышать общеобразовательный уровень; и право на переписку, но только с близкими родственниками, не чаще установленного лимита; и право на свидание с женой, детьми, родителями...

Свидание! Мимолетная мысль задержалась, зацепилась скорее за слово, чем за действие. За двенадцать лет не было ни одного — не с кем. Нет родителей, нет жены, детей. Мать умерла в тридцать третьем от голода. Отец еще раньше сложил где-то свою революционную голову за светлое будущее человечества. Дядя — брат отца, расстрелян в тридцать втором за саботаж: противодействовал вывозу зерна за границу, когда голод уже начинал давить мертвой хваткой. Подруги настоящей никогда и не знал. В графе о семейном положении всегда стояло: «холост». Придумали же — холост! Вроде как выхолощенный, порочный. Будто непристойная кличка. Хотя все клички — непристойность. Как у пса какого-нибудь или распоследней животины. Наивно, если без придирок. Теперь-то без амбиций и чванства можно рассудить и так. Теперь с высоты прожитого многое выглядит по-иному. И лишь мнение о семье не

сложилось, не стало однозначным. Семья — это что-то не имеющее для него смысла; совсем чуждое, надуманное, а не созданное природой. Что они вместе — муж и жена? Опора друг другу или взаимное дополнение чего-то целого, сходство характеров, интересов, привычек; влечение друг к другу разноименных полов для удовлетворения природных потребностей и воспроизведения себе подобных ради продолжения рода? Тогда чем отличается человек от животного или птицы? Осознанный выбор? Но это — расчет, а не инстинктивное влечение к объединению, жаждущее целостности и называемое любовью! И птица, и животное, и растение тоже выбирают. Но любят ли они? Наверное, все любят, всяк по-своему, потому что все жаждут объединения. Вся природа живет любовью. И человек любит. Возвышеннее, одухотвореннее любит. Без корысти, выбора и расчета любит. Любовь — самое великое, самое чистое и самое ранимое из всех чувств... не испытанное на себе, но, кажется, понятое и философски изученное... со стороны. Так даже виднее, обнаженнее.

Из радиодинамика, висевшего на стене у входной двери, рядом с правилами содержания заключенных и распорядком дня, приглушенно донеслись сигналы времени. В Москве — три часа ночи. Здесь — восемь. Через час или чуть раньше вызовут с вещами в штаб. Обязаны вызвать.

Вещи. И накопил-то всего, что зубную щетку, помазок, безопасную бритву да самодельную, набранную из цветных целлулоидных пластин ручку. Она, как и другое барахло, так обожаемое когда-то на воле, здесь и ни к чему: за столько лет не написал ни одного письма — некому. Правда, как-то писал просьбу о помиловании да объяснительную за нарушение режима — нашли чай при вечернем шмоне. Чай изъяли безоговорочно. А ответ на просьбу о помиловании через два с лишним месяца получил стандартный: рассмотрена, оставлена без удовлетворения. А ведь то был крик души. Ходатайство, понятно, дальше какого-нибудь юрисконсульта не пробилось. Канцелярщина — дело известное. А там, может, и в глаза не видели никогда ни одного просителя.

Но и отказы канцеляристов понять можно: а ну как всех ходатаев миловать начнут? Сочинители есть всякие. Иной так напишет да расклянется, что впору прослезиться. А другого и следовало бы помиловать — перенес и встряску, и покаялся, точно, но к такому там, наверху, не всегда прислушиваются. Да и трудно за бумагами душу человеческую распознать. Не потому ли так редки поло-

жительные ответы? Зато сколько разговоров, раздумий и надежд вызывает вдруг залетевшая в зону помиловка!.. Хм, милосердие. Надо же: суд выносит приговор на основании закона. Независимый, народный, праведный — и ничто перед кем-то, находящимся бог знает где, в какой земной канцелярии. Там именем государства может быть оказано снисхождение из сострадания и человеколюбия, будто подаяние нищему. И тогда суд — не суд, а лишь видимость его, потому что кто-то стоит выше суда.

И еще раз обращался Яровой раньше, еще находясь в тюрьме, в ожидании вступления приговора в силу. Тогда-то и ручки не было — огрызок карандаша, починенный о грань стеклышка. Едва присел к тумбочке, намертво прикрепленной к полубетонной камере, едва начал писать, а окошко-амбразура в массивной железной двери уже открылась. Пожилой надзиратель, очень напоминающий и формой с красными кантами, и лицом с рыжеватыми прокуренными усами, и, главное, отношением пресловутого жандарма, тот, что недавно подавал в эту же кормушку чайник с кипятком, спросил:

«Что вы там пишете, гражданин осужденный?» — «Мысли хочу записать, гражданин надзиратель». — «Мысли записывать не положено. Прекратите нарушать. Можете писать жалобы, заявления. С разрешения начальства. Другое инструкцией содержания заключенных не положено... запрещено!»

...В нескольких строчках таблички, прикрепленной к койке, — вся биография. Вор. Третья часть статьи уголовного кодекса хотя и не говорит прямо о рецидиве, однако указывает и на повторность или многократность, предполагает группу лиц и, естественно, предварительный сговор и применение технических средств, и — в большей мере — размеры похищенного. Для следователя выбор квалификации преступления куда как широк.

Теперь уже и не сосчитать с ходу все годы, проведенные в зонах и тюрьмах. Проще было бы суммировать то, что определяли приговорами суды. В пятнадцать лет, когда мама уже болела, попался на продуктовом ларьке. Взял крупы да конфет. Голод заставил. Но соседка оказалась бдительной. В акте о краже пуды значились, будто увозил ворованное на лошадях. При обыске на квартире изъяли столько, что унесли в сумке, то, что действительно взял. Однако же... После суда через три месяца сбежал из колонии, а попутно «занял» в хлебном магазине три булки хлеба да в аптеке — лекарств для лечения матери,

Снова сдала соседка. Судили уже и за кражи, и за побег. А там пошло-поехало... Освобождался по зачетам, по двум третям, по амнистии. Но обиднее всего был срок в пятьдесят четвертом, когда, выпустив, на первой же станции повязали ни за что ни про что и сунули те же восемь лет... За последние годы тоже сокращались сроки, условия содержания, но это проходило мимо Дениса, лишенного снисхождения. В зоне «житуха» тоже не та. Теперь тебя никто не будет обрабатывать ни за авторитет, ни за силу. Кормись тем, что в общем котле, в счет своего горба. А начнешь хитрить или «блатовать» — штрафной изолятор. Теперь ни спину, ни грудь не подставит никто. Преступник переродился. Да и какой теперь вор в зоне?! Так, щипач, мелюзга, жулик. На всю зону ни одного настоящего козыря. Теперь эти козыри, по слухам, — на воле. Там есть где и что грести без взломов и отмычек. Там теперь законники, имеющие высокие посты и миллионные средства. А мелюзге нечего и в тюрьмы лезть. Залетит такой по глупости ли, по пристрастию ли суда — и самому стыдно. Домушник, говорит. Тьфу, падаль! Женские панталоны спер, а — домушник! На такого-то и бумагу зря изводят — она дороже. Но вот же пишут целые тома, вину доказывают по всем статьям. И судят, как расхитителя, промотавшего миллионы. Правда, щипачей тоже гробить надо: не тянись к честно заработанной копейке мужика.

2

Кто-то однажды сказал, что в тюрьму ворота открыты широко, а из тюрьмы — узенькая калитка. Это потому, наверное, что статей, по которым человек может быть осужден за различные преступления, множество. А назад путь один — отбыть наказание. Ах, сколько этих статей! Они множатся. Может быть, человек в своей деятельности изобретает что-то новое и юристам ничего не остается, как следовать за предприимчивыми «подопечными», определяя для каждого нового действия, противодействия и бездействия соответствующие формы и методы обуздания? Или законодатели становятся грамотнее? Но мир бесконечен в развитии, и древние мудрецы правы: нет закона — нет и преступления. Что же, новые законы закрепляют новые преступления?

Когда позади Ярового звякнула железная калитка, он подумал именно о тюремных воротах и о ней, узкой калитке. Но даже, когда загремел уже там, на той половине,

запор, к Денису не пришло то ощущение, после которого человек если уж не восклицает, то вздыхает с облегчением: «Воля!»

Некоторое время Яровой неторопливо шел по чистому, покрытому асфальтом тротуару. Здесь, как и в зоне, было кому убирать: бесконвойные метут и драют не за совесть, но за страх. Кому же охота потерять даже такую привилегию — переступать иногда порог калитки, за которой течет другая жизнь.

Захотелось оглянуться. Шаги замедлились сами собой. Он остановился, взглянул на ветку акации, куда вспорхнул воробей с полным клювом бабочек.

«Кормит птаха», — скользнуло где-то в подсознании, и эта первая мысль, пришедшая Денису уже на воле, уколола его. Не какая-то экзотическая птица, а простой серый воробышек будто и появился здесь, чтобы укорить его, человека, за то, что в свои пятьдесят шесть он не имеет и уже не будет иметь, наверное, настоящей семьи... чтобы дети, внуки... Что, ну, что он, один в этом задерганном мире? Один ли? Да!

Ах, эта серая птаха!.. А что, разве она не крадет, разве не пользуется общественным достоянием? Случается, и зернышко, взращенное не ею, упрет, и крошки подберет, и ягоду кое-где повредит. Но все это — для живота своего, для жизни и продолжения рода. Здесь — ни выгоды, ни обогащения, ни разгульности нет. Однако, по существующим человеческим законам, она — вор, паразит и вредитель, И ее надо судить и за кражу зернышка.

Яровой оглянулся. Взгляд его скользнул по высокому, вровень с крышами забору зоны. Но не этот забор увидел Денис, а блестящую шляпку гвоздя у порога барака, шляпку, пробившуюся сквозь краску пола и отполированную до блеска обувью многих, наступавших на нее. Другое почему-то не имело конкретных форм. Оно всплывет, наверное, в памяти еще, позже. Все еще мысленно и душевно прокрутится, как пленка фильма, останавливаясь на самом существенном, запавшем в душу. Просто сейчас не до этого. А может, и верно: лица людей, с которыми постоянно находился вместе, обстановка, с которой свыкся, запоминаются меньше. Сибиряк, побывавший на южном взморье, помнит каждый солнечный блик на необозримой воде, каждый камушек у черты прибоя, а дома не замечает режущую глаз чистоту снега и хвойный настой леса. Парадокс в том, что близкого тебе человека приходится как бы вспоминать, боясь ненароком упустить дорогую

черточку, без которой, кажется, все не то, хотя о другом, постороннем, встретившемся однажды, можно рассказать, наверное, куда больше. Или это относится лишь к личному восприятию? Потому кажется, что все, что было перед глазами: двухъярусные койки с бирками, люди, что дни и ночи находились рядом, и те, кого не мог терпеть, но был вынужден делать это, и вся жизнь с ее многогранностью и ограниченностью — воспринимались как сон, длинный, безрадостный и однообразный, прерванный командой «Подъем!»...

Из жилой зоны донеслись приглушенные забором двухкратные удары о кусок рельса: команда на обед. Полчаса ушло на оформление документов об освобождении и почти четыре — на получение расчета. Контора дело знает. Но разве сравнимо с длительностью расследования, доказательством вины и определением наказания? Тогда, в последний раз, разбираловка длилась почти четыре месяца, являясь своего рода «зачетом», соразмерным одному к ста, потому что нет большего испытания, чем неопределенность и неизвестность, когда уже потерял право свободы и не обрел права осужденного. Ах, какое это великое «наслаждение» — быть подследственным! А если длится оно не четыре, не шесть месяцев, а год-два? А если следователь — зануда или «дуб»?..

Дениса вызвали в штаб ровно в половине девятого. Поднявшись на второй этаж, прошел по ковровой дорожке метров десять и переступил порог открытого кабинета:

— Заключенный Яровой Денис Поликарпович одна тысяча девятьсот восемнадцатого года рождения, осужденный по статье восемьдесят девять части третьей уголовного кодекса... — начал было заученное неоднократным повторением, но капитан в кителе с красными петлицами и эмблемами внутренних войск остановил взмахом руки:

— Не надо, Яровой. Садитесь. Мне поручена приятная миссия объявить вам о вашем освобождении. Как вы знаете, иногда приходится объявлять и об отсрочке, а то и добавлении срока. Но вы честно отбыли установленный судом срок наказания и, надеюсь, уйдете отсюда с твердым убеждением не только о неотвратимости наказания за любое содеянное противозаконие, но и с ясным пониманием справедливости мер, применяемых к тем гражданам, которые все еще не считаются с нормами жизни и поведения в нашем социалистическом обществе, и, в большей степени, к тем, кто возвращается, к сожалению, в места лишения свободы не один раз...

Яровой слушал, пытался слушать с показной вежли-

востью и вниманием, но никак не мог уловить смысла гладко текущей капитанской речи, отшлифованной уже не на одном подобном «торжестве», и думал: «Ну зачем, зачем ты, начальник, талдычишь мне это? Ведь хорошо знаешь, кто перед тобой сидит. Знаешь и то — не можешь не знать, — сколько отбывает и отбыло срока именно противозаконно или с увеличенными вторыми наказаниями. В зоне все известно, только копни. Так не проще, не дешевле было бы по-человечески пожелать доброго пути, благополучия, здоровья или как там еще водится у хороших людей?»

— ...Вот здесь распишитесь о своем освобождении. Поставьте число, месяц, год, время. А здесь — о получении документов, за каждый — отдельно.

Денис достал из кармана собственную ручку — пригодилась — и начал старательно выводить требуемые формальные письмена, тут же оправдываясь за некрасивость начертаний:

— Совсем не умею... руки дрожат, как у распоследнего чифириста...

— Надеюсь, в последний раз ставите подпись на таких документах? — заметил капитан.

— Вообще-то хочу, — кивнул Денис, вспомнив, что вчера вечером, в зоне, говорилось почти то же при беседе с начальником отряда и заместителем начальника по воспитательной работе — замполитом. Не только по служебным обязанностям шел разговор. На этот раз он был куда более душевным, чем три месяца назад, когда определяли, какое место жительства подходит в будущем для него. Говорили о многом, но в конечном счете все сводилось к тому доброжелательству, которое не отталкивало, не вызывало годами складывавшейся душевной антипатии и протеста. Если бы не напутственные «наказы» — что можно, чего нельзя, как вести себя и чем грозит уклонение от регистрации по прибытии на новое место жительства, то беседу иначе и не воспринять как вполне состоявшуюся, к взаимному удовлетворению сторон. Но то — с начальством. А на прощальном ужине, чем-то напоминавшем сходняк, устраиваемый ранее ворами-законниками, были и такие, кто выражал сожаление из-за намерения «Ярого» отойти от прежнего мира. Но дальше-то ехать и некуда: годы не те и время другое...

В жилой зоне теперь подтягиваются к столовой те обитатели ее, кто не на смене. В рабочей зоне у «пищеблока» тоже идет построение — по пять человек. Пятерки — по-

стоянное число при любых построениях: утренняя и вечерняя проверки, вывод на работу, с работы, прибытие в промышленную зону. Так принято, так удобнее считать. А уж если недосчитались единицы в строю бригады — уходи в сторону, «на отстой», ожидай на любой погоде «доукомплектовки» и, понятно, последней очереди. Не семеро, а семьдесят ждут одного.

Пятерками входят в столовую, садятся за длинные, отведенные для каждой бригады столы. Баландеры из алюминиевых кастрюль отмерят каждому в алюминиевую миску положенную норму супа или каши — без надежды на «дэпэ». Вскоре поступит команда на выход: время истекло. И снова построение...

Яровой прислушался к гулу самолета, взглянул на ветку акации, туда, где недавно видел воробья, и медленно пошел по тротуару, поскрипывая новыми «кирзачами», и прижимая левой рукой единственный нагрудный карман черной, без подклада, парадно-выходной хлопчатобумажной куртки, где лежали документы об освобождении, удостоверения на приобретенные рабочие специальности, свидетельство об окончании вечерней школы и деньги, заработанные честным трудом. Прижимал карман так, будто находился в тесной толпе, боясь вора-карманника, могущего посягнуть не на деньги, а на сердце и свободу самого Дениса, свободу, добытую двенадцатилетним сроком лишения ее.

Считал, считал Денис годы. Прикидывал, что одной только последней отсидкой добровольно вычеркнул из жизни пятую часть прожитого. Только за один раз. А сколько еще «добровольных» потерь? Чем оставшимся он еще может распоряжаться и сумеет ли распорядиться тем, что отпущено природой человеку и ему лично, за минусом досрочно растраченного, развеянного боковыми и встречными ветрами жизни? Все было. И лишь попутных, добрых или теплых ветров не ощущал никогда.

3

Небольшой городской ресторан, куда вечером зашел Яровой, был полупуст. За десятком столиков сидела разношерстная публика. Крайние от входа столики пустовали. У одного, посередине, Денис увидел два свободных места. Там, ожидая официанта, томились два мужика. Туда было и направился Яровой занять для удобства в обслуживании одно из двух мест. Но не дошел, а присел за другой

свободный столик. Да и то: почему это он должен спрашивать — свободно ли, занято ли, когда мест навалом? По всему видно, сегодня для ресторана не совсем «урожайный» день. Наверное, поистратился народец между получкой и авансом. А что касается столиков, то, как помнил Денис по отдаленному прошлому, а это хорошо помнится,— везде свои порядки. У одних — рядность обслуживания, у других — разделение на «патрициев» и «плебеев». Да мало ли, что у кого. Главное же, не хотелось Денису вот так врываться к людям. Не те времена, и годы не те. Да и не мог он быть уверен, что его общество не вызовет каких-либо затруднений, даже мелочных, для этих двоих.

Имелось еще, по крайней мере, три причины, не позволявшие Яровому занять одно из двух пустующих мест. А не учитывать это он не мог, хотя и потянулся по лагерной привычке на пустовавшие места — заполнить для порядка. Прежде всего, отвык он от общества вольных людей. А разве можно обойтись без разговоров, сидя за общим столиком, да еще при рюмке водки? Как тут не поддержать словом-другим беседу! Но о чем говорить, если ты почти во всем житейски-вольном — профан? А этот жаргон! Въелось уже не только в кровь, но, вероятно, и в гены. Теперь нормальным языком даже мыслить трудно. Правда, пока что это нормальное мышление удается, если мало-мальски контролировать себя. Но спиртное, точно, выплеснет все наружу. Без водки можно бы, конечно, и поговорить. Но зачем тогда в ресторан тащиться? Вот раньше в ресторанах и со своей «кодлой», и один не скучал. Какая тогда вольготная была житуха! Знай себе — гуляй и не думай не то что о завтрашнем дне, а даже текущем часе. А что теперь? К людям боязно подойти, слово молвить страшно. Вдруг да и вырвется-ляпнется что-нибудь, не годное сану старика. Первый же десяток слов — и станет ясно, кто ты и откуда. Впрочем, раньше подобное даже впечатление производило на слабонервных. А ну как выщерится кто-нибудь из блатующих да процедит сквозь зубы: «Знаешь, сколько пасок я тянул срок у хозяина?!» — ну, и прочее с добавками. Это не какой-нибудь забубенный флотский из припортового кабака, рвущий для показухи рубаху и обнажающий тельник. «Пасочник» может действительно пощекотать кишки. Но все, кажется, прошло. Все, как говорится, кануло в Лету. Перед последним арестом и тогда уже подобные выходки мало у кого вызывали страх, хотя народ становился если и не безразличным, то далеко не боевитым. Те же повязочни-

ки — бригадмильцы относились ко всему куда как равнодушно, если не виднелась поблизости красная фуражка.

Втрое, что, по мнению Ярового, сдерживало «прямой кснтакт» — это дешевый костюм, новый, но уже помятый в дороге. Спецуху он без сожаления оставил в урне привокзального туалета. К костюму, конечно же, и «прическа». Правда, он уже не юнец и не у всех мужчин его возраста крепки волосы на голове. Но сам-то он знает, отчего эта безволосость. В вагоне с ней чувствовал себя куда проще: не все едут в отпуска и возвращаются из мест курортных. Есть и у людей и нужды, и беды. И каждый в пути со своими заботами, которых, кажется, и не замечал раньше. В дороге спокойнее, особенно если выпало место на средней полке плацкартного вагона. Тут можно согласно законному билету лежать лежнем сколько душе угодно, без подъемов и отбоев, и столько же слушать всякую всячину от случайных попутчиков. Действительно, в дороге попутчиков не выбирают. Но лучше все-таки дрыхнуть, потому что не все разговоры действуют на душу успокоительно, особенно, если касается житья-бытья или той же политики, о которой судят почему-то больше с потребительской точки зрения. А, ну их, с непрожеванной до сих пор кукурузой, безудержным ростом цен, всевозможными дефицитами и обилием наград! Лучше пока отоспаться. А уж если засосет под ложечкой от невозможного запаха малосольных огурчиков или еще более аппетитной, но уже мало представляемой на вкус жратвы, — перетерпеть, чтобы лишний раз не рисоваться перед теми, кто так благодушен, но вместе с тем и крайне обжорлив. Таких и при обилии всего прокормить непросто.

Менее значительным, но все-таки обстоятельством, было и то, что Денис пришел, как это выражаются, с корабля — на бал. Нормальные люди сначала грязь дорожную смоют, себя приведут в порядок. А он с поезда почти прямиком в ресторан. Даже о хате не позаботился. Прихоть взяла верх, насытиться захотелось. Может, и в другом чем-нибудь эта прихоть возглавенствует или, чего проще, — всплывет привычка? Но как не усладить себя, если только и мечталось о том, чтобы пожевать, и не просто набить требуху, а откушать того, чего душа пожелает. Пробовал утолить минимум потребности в пище сразу же после выхода на волю, но поосторожничал: желудок ссохся, а еще предстояла дорога. В поезде решил подкрепиться малость, в отместку за малосольные огурчики, но в ресторане получил порцию щей из прокисшей капусты, при-

горклую перловую кашу, мало чем отличающуюся от той, что ел в зоне, да полусырую, плохо ощипанную синевато-срамную курицу. Но для поезда и это куда как деликатес, по сравнению с тем, что давали в «столыпине», когда везли этапом. Утром — соленая селедка с душком, в обед — селедка соленая с душком, вечером — с душком соленая селедка. И попить еще не дают . А тут — рай. Птицу сжевал с костями — мясо все же. А зубы, они и арматуру перетрут — железные. Как говорят, под такие зубы палец в рот не клади. Хотя теперь в этом смысле и рассуждать нечего: не тот стал. То ли годы взяли свое, то ли житуха лагерная без былых «подогревов» повлияла, но, кажется, доведись, так не то, что в рожу кулаком полезть, но и обругать, как следует, не смог бы. А вообще, кто его знает? И старый пес, пока не наступят ему на хвост, миролюбив и безопасен.

В ресторане мечталось заполучить пищу куда более деликатесную, и ее лучше употреблять без скрежета зубовного, с расстановкой, не подстраиваясь под компанию, не играя в воспитанность: руки полусогнуты в локтях, нож в правой, вилка — в левой, осанка прямая, ноги вместе, не чмокать, не шмыгать, на стуле достаточно занимать краешек... Тьфу, манеры парижской Богоматери! Как бы выразился друг — ученый: «Салва вения, мама дэ козимо!»

Сыграть в воспитанность он смог бы, конечно. Лицедействовать приходилось столько, что артисту со званиями и во сне не приснится. Но кто поймет, что там, в зоне, слово «пища» часто ассоциируется со словом «воля»? До голодухи, правда, не доходило. Даже в самые прижимистые годы объедками не питался, хотя и не обдирал ни слабых, ни полставосьмушников. А ведь были времена, когда какой-нибудь самый отъявленный подонок-уголовник решал: дать ли, нет ли пайку ученому — врагу народа, да еще и заставлял его, голодного, изнуренного работой, стелить «барину» постель, мыть ноги, отгонять мошкару, а на сон грядущий рассказывать сказки...

Музыканты, появившиеся, кажется, из прохода, ведущего на кухню, шустро поднялись на помост, иммитированный под плот, разбитно заняли места. Треньknула гитара, бухнул ударник, и тут же простуженно взвыл саксофон. Выключился верхний свет и одновременно загорелись голубоватые бра. В такт музыке на сцене замигали красные, синие и желтые подсветки-прожекторы, высвечивая над

---

* «С позволения сказать, кузькина мать!» (Лат.).

«плотом» нарисованного во всю стену тритона — полуженщину-полурыбу.

Шумно задвигались стулья. Посетители, уже захмелевшие, и потому откровенно развязные, потянулись к подмосткам, с ходу бросаясь в дикий танец. И только парочка молодых, повиснув друг на друге, казалось, уснула у самого края подмостей. Парень лишь изредка шевелил ладонью-лапой, лежавшей ниже талии девушки, прижимая ее податливое тело к своему. Она, должно быть, и в самом деле спала, никак не отзываясь даже на то, что парень кончиком языка, толстого и синеватого, то ли пытался щекотать ее левое ухо, то ли лизал его. Тоска!

Денис взял меню, взглянул на письмена — машинописью и от руки, — но ни в слова, ни в цифры вникать не стал. Просто было приятно, вот так, независимо, держать фирменный бланк, на котором, если заказать оптом, значилось столько всего, что заняло бы не один ресторанный столик. А что, гульнуть? В душе что-то встрепенулось, но тут же угасло. Какой смысл? К возлияниям до поросячьего визга он и в добрые времена не доходил. Ну, стопка, две...

К столику Дениса, лениво шаркая босоножками, подошла, наконец, официантка и равнодушно остановилась, уткнув кончик карандаша в блокнот. Мол, говори, что надо тебе, запишу.

— Тащи самое деликатесное и прочее фирменное, — нервно постукивая о стол пальцами обеих рук в такт музыке, распорядился Яровой. — И для аппетита, — потер Денис по кадыку указательным пальцем правой руки, — лучше — коньяк. — А скажите, что это за танец такой?

— Хм! — дернула плечиками официантка. — Обычный танец.

— И давно у вас это «хм»? — кивнул на танцующих Денис.

— Хм! — выпятила пухлые, ярко накрашенные губы официантка и тряхнула копной фиолетовых волос, скрепленных наколкой — дугой с блестками. — Теперь другого не танцуют.

На этот раз хмыкнул уже Яровой и, помедлив, спросил:

— А вальс там какой-нибудь или, например, полечку?

— Польку не знаю, а вальс заказать можно. Только кто его танцевать-то будет?

— Ну и ну! — уже без игры удивился Яровой.

— Хм! — снова тряхнула фиолетовыми волосами официантка, снисходительно улыбнулась и ушла к буфету, по-

качивая бедрами так, будто несла ведра с водой на коромысле.

Яровой продолжил наблюдение. Молодые по-прежнему стояли на месте. Нет, пожалуй, ноги их все-таки чуть-чуть двигались. Парень теперь уже обеими руками прижимал девушку к себе, а та, вскинув руки на плечи партнеру, повисла на нем.

Музыканты довольно удачно закончили: взвыл на самой высокой ноте саксофон, брякнули тарелки ударника, протяжно ойкнула гитара. Танцующие вдруг как бы замерли, многие в тех позах, когда еще не понять было — конец ли. Но вот снова взят аккорд гитары, сдвоенно отбил такт ударник. В зал выплеснулась минорная музыка, многократно усиленная электроникой. Подсветки-прожекторы начали подмигивать сдвоенно, и полуженщина-полурыба, казалось, тоже сдвоенно задергала хвостом. Парочка молодых так и не сдвинулась с места. Остальные продолжили скачки, хотя ритм, на слух, был полутанговым.

Денис обратил внимание на мужчину, возвышающегося над самыми рослыми на голову-полторы. Гладко зачесаны назад черные волосы, галстук, хорошо облегающий тело добротный костюм, явно не ширпотребовский. Что-то сразу же напомнило в этом высоком давнего знакомого, подстриженного под нулевочку да в робе зековской... Сколько же не виделись, сколько времени прошло-пролетело? Наверное, лет восемь. Он тогда уже добивал срок. Близко не сходились не только из-за различных интересов, но и чисто профилактической предосторожности. Закон прост: ни «коробочку», ни тем более душу не раскрывай. День и ночь вокруг тебя — не красные девицы. Многие носят за душой такое, что приговор, по которому отбывает срок, — детская забава. А сексотов более, чем достаточно. Сболтнул сегодня, а завтра, глядишь, поволокут, если не на допрос к «оперу», что вообще-то в порядке вещей, то по этапам, ради раскрытия именно того, что утаил от следствия или сумел запутать. Вот и молчи все свои и пять, и десять лет, и всю жизнь о том, что постоянно зудит и мучит, как хроническая болезнь. Не делись даже с тем, кто располагает к себе. Тайна хороша, пока о ней знаешь один.

Так сколько же не виделись? Кликуха — Вьюн. Это точно. А вот фамилия... уже не вспомнить. Кажется, Сладкий... Нет. Кликуху имел, значит, по стоящему делу проходил. Ага, Солодкин! Солодкин. Солодкин Степан...

От размышлений отвлекла не вызывавшая симпатии

официантка. Она сразу принесла все, что, по ее мнению, могло устроить странного посетителя.

Играя в ту же наивность, Денис кивнул на музыкантов:

— До меня все-таки не доходит, что это за танцы такие? Музыка понятна: танго. А вот пля-аска... А та парочка, — посмотрел он в сторону «спящих».

— А, эти? — несколько брезгливо сжала губы официантка.

— Тот, высокий, вам случайно не знаком? — продолжал «игру» Денис, ощутив, как это его «вам» непрожеванным куском застряло в горле. Что же это: драную размалеванную кошку — и на «Вы»?! Надо же, культурный какой!

— Высокий? Иногда заходит. Кажется, его Степаном зовут. А что? — сразу последовал вопрос без настороженности и даже интереса.

— Да так, — небрежно махнул рукой Денис. — Все, что вы подали на стол, меня вполне устраивает. Но если можно, то прошу вас доукомплектовать столик парочкой бутылок коньяку. Навынос.

Для него случайность встречи могла решить и, наверное, решала, по крайней мере, вопрос ночлега. Вьюн придумает. Как-никак, а знакомый. Обязан помочь.

Должно быть, и для Солодкина имелось достаточно причин, чтобы совместить в кличке и скользкость, и способность, если уж не обвивать, то виться, и, как хмель, находить ту единственную опору среди прочей растительности, которая выше других.

Два срока отбыл Солодкин, но уже при втором «заходе» после настоящей его фамилии появилось дополнение: «Он же — Порецкий». Если бы спросили тогда, зачем ему другая фамилия, — вразумительно не ответил бы. Наверное, потому, что возможность такая была. Но скорее — это влияние маститых солагерников, с которыми свела судьба. От них и кличка досталась. Колядкин — нынешняя фамилия, пока что твердая, устоявшаяся, под которой он относительно благополучно пользуется волей девятый год, без перемены адреса и места работы. Так проще находиться в тени, из которой весьма неохотно вытаскивались на свет божий документы. В паспорте, правда, значилась судимость — нарушение правил о валютных операциях. Но непопулярность статьи не стала поводом для внесения больших исправлений или «чистописания». По этой же причине к владельцу документов, вероятно, и не проявлялось пристального интереса со стороны определенных должностных лиц — других забот полон рот. И щелочка нашлась для

прорыва в прописке. Повился вокруг домоуправа малость, полюбезничал в меру, а «шлепнуть» штамп — дело куда как простое. Судимость? Но человек отбыл свое, женился, работает, в преступлениях не подозревается, в нарушениях не замечен, от общественной работы не уклоняется и прочие «не». Пусть себе живет и трудится на благо общества.

Конечно, для Степана оскорбительно это клеймо в паспорте — судим. Куда ни сунься — везде «почет». Едва кто откроет эту серенькую паспортину, и всем все ясно. Для милиции так лучше и не придумать: без картотеки учета — учет. Берут паспорт, как и полагается, на «Вы», но едва прочтут запись — уже и «ты», и бесцеремонность, и, конечно же, хамство, без которого, ну, никак не может жить чиновник, дорвавшийся до власти. Потому, если что, если настроение имеется, так и задержать можно — «свой», голубчик. И ни тебе разрешения на учебу в высших эшелонах образования, ни работы в государственно-советских учреждениях, хотя бы в смысле того же «портфеля», ни пропуска на заводы и почтовые и прочие ящики, ни поездки в приграничные районы, ни проживания в маломальски престижных городах и еще сто «ни». Формально он, конечно же, — вольный, полноправный гражданин. Но именно за то, что уже гражданин, а не товарищ, каждая сошка норовит то ущипнуть, то волосок выдернуть, будто клок шерсти у бездомной дворняги, то пинка дать. Хорошо, что все это — не в буквальном, так сказать, физическом смысле. Но даже так — унизительно и больно. Ты — молод, а военный комиссариат нос от тебя воротит: неблагонадежный для защиты Отечества с оружием в руках. В комсомол — ни боже упаси. Это же резерв передового отряда рабочего класса и крестьянства — элиты общества, возвышающегося на целую голову над остальными, отряда, ушедшего вперед так далеко, что слишком многие поотстали и наметился разрыв, еще прикрываемый кумачом лозунгов о единстве партии и народа, будто партия — не народ. Благо, еще в профсоюз принимают, где не требуется полных анкетных данных.

Отбыв второй срок, Солодкин, с учетом имевшегося уже опыта, по чисто идейным соображениям ли, по другим ли одному ему ведомым обстоятельствам, оставив «клеймо» в паспорте, фамилию все-таки изменил. Вроде бы как дополнительную стену вокруг себя возвел. Понимал, шаткое это настроение, но для рабочего сойдет. А дальше и пробиваться не мыслил. Должность, она имеет уже те недос-

татки, что делает человека обозримее, проявляет его в позитиве и, конечно же, в негативе. Отметка же о судимости, хотя и унижает и, по логике, вызывает отрицательные суждения о неблагонадежности субъекта, но вместе с тем, убеждает в истинности документа. Нельзя же, если поразмыслить, менять, скажем, фамилию, если имеется запись куда более существенная.

Исправление фамилии и на этот раз не отличалось оригинальностью и пошло по накатанному пути. Паспорт, удостоверение о профессии газоэлектросварщика, справка, — все мелочь. Расчет все на ту же нелогичность. Но ради чего? Первая мало-мальски серьезная проверка и упражнение в «чистописании» окажется никчемным. Правда, и наказание за «художества» — всего ничего. Просто допишут после настоящей и дополнительной еще одну липовую — «он же Колядкин», и все тут.

Но пока ни первая буква истинной фамилии, легко исправленная на «К», ни четвертая, ставшая буквой «я», ни у кого не вызывали интереса. В принципе Солодкин ли, Колядкин — все едино: рабочий, не замахивающийся на чей-то авторитет, пост или должность. И не за фамилию дают зарплату, а за работу. А если ты не отказываешься ни от какой «черновухи», да еще и сверхурочку тянешь, когда с планом запарка, тогда и вообще можешь чувствовать себя хозяином положения. С отметкой о судимости даже удобно, потому, что ты — не конкурент даже самому захудалому мастеру. И никому нет дела до «утерянной» трудовой книжки, теперь новой и вполне законной на электросварщика пятого разряда, с нормальным для рабочего образованием, уже достаточно солидным стажем на одном предприятии, награжденного двумя Почетными грамотами Колядкина Степана Даниловича.

Так что же, загримировался и «завязал», порвал с прошлым? Тогда зачем маскарад с изменением фамилии? Привычка или чтобы уйти из-под «опеки» и ненужного даже по праздникам интереса со стороны «товарищей» из милиции? Но это же перспектива настороженности, неровное напряжение перевоплощения. Артисту необходимы вживание в роль, знание характера действующего лица настолько, чтобы выглядело это перевоплощение достоверно, хотя и временно. А там — новые роли, новые образы. И не от каждого прототипа обязательно должен оставаться след, крупицы других характеров — так и свое, природное, растерять можно. Тогда личность исчезает, а остается только

актер. Новая фамилия — игра постоянная, особенно, если учитывать кассу строительного управления, где он, Колядкин, отполовинил семь тысяч из сейфа, да так сработал, что вина легла на кассира, а вместо уголовного розыска делом занялся ОБХСС. Им же, Колядкиным, взято девять тысяч триста рублей из совхозного сейфа и три тысячи двести «занято» у медиков.

Номера денег давно уже появились в обращении. Но в том-то и соль, что из тех же серий и номеров получали деньги и строители, и колхозники. К тому же и сам расходовал госзнаки лишь там и столько, чтобы в случае чего не оставалось не только отпечатков пальцев, но и словесного портрета. А без этого ни на след не напасть, ни с поличным поймать. Он-то, дай бог каждому, эти процедуры изучил. Обыск? Пожалуйста! Ну, найдут, возможно, какую-нибудь десятку, и что? На рынке «прилипла». И давность — союзник. Милиция только по горячим следам активно ищет. Затем острота момента проходит, заслоняется новыми делами, притупляется бдительность, забываются и ориентировки. В таких делах нужны лишь умеренность, расчет и хладнокровие. Хотя, конечно же, ничто не может снять напряжение нервов и постоянную готовность к противоборству. Если новая фамилия и является до некоторой степени щитом, исключающим конкретные проверки определенного лица, способного теми же методами, уже привычными, совершать что-то серьезное, то этот щит столько же и опасен при соответствующей заинтересованности личностью. Настороженность же — постоянна, и к ней ни привыкнуть, ни притерпеться невозможно.

Удержаться на плаву можно, конечно, и другими способами. И своих, «фирменных», не так уж и мало. Но всегда ли можно довериться даже своему опыту, не говоря о теории. Все, что не испытано, не опробовано, — опасно. На любом эксперименте прогореть запросто. И получится совсем печальная арифметика: сколько нововведений, столько же и провалов. Слишком дорогая цена. Ведь и старый, проверенный способ, с последующим исключением промахов и проколов, допускавшихся раньше, не становится копией ни в деле, ни на следствии, ни в суде. Любому, кто рискнет во второй или третий раз испытать судьбу или удачу, очень даже обязательно не замыкаться на лагерном мирке до отупения, до атрофии умственных извилин, а оценивать свои действия во всем в таком же объеме, как их оценивают все правоохранительные органы

вместе взятые и, сверх того, лагерная профессура, друзья и недруги.

Брать за основу опыт других? Он куда более, как богат. Есть выбор в классически сработанных делах. Но и «классики» прогорают, отбывая свое. Да и вообще, редко кто делится «опытом» без рисовки. А это уже не школа, а сказка. Потому, наверное, и почерк у каждого свой, даже если и совсем неряшливый. Обобщить же что-нибудь, выработать единственно правильную тактику — дело безнадежное. Над этим не властны даже те, кто призван вести борьбу с преступностью, как бы они там не пытались группировать, систематизировать, анализировать и распространять опыт раскрытия преступлений. Конечно, закономерности какие-то возможны, но нет одинаковых способов, хотя и есть однородность; нет точных копий субъектов и их действий, хотя они — люди. Не каждый, совершая противоправный поступок, имеет один и тот же умысел, даже если он направлен на один и тот же объект преступления. А личность, а ее поведение до совершенного деяния во время преступных действий и после них? А налачие усугубляющих последствий? А конъюнктурная, политическая и кампанейская подоплеки?.. Неспроста в уголовном кодексе так коротки и точны преамбулы любой статьи и такие «резиновые» меры наказания.

Все это, все для Вьюна — школа, уже не начальная, но еще и не средняя. Понимать суть даже в таком объеме и рассуждать в такой плоскости не вредно, конечно. Однако, эти ветви — не верхняя часть кроны с философскими плодами, созревающими на ней...

Солодкин «засек» Ярового в момент появления того в ресторане. Ни неудобства, ни тревоги не ощутил. Просто отметил, как факт: «Освободился старик». Позже, когда вышел танцевать, вскользь наблюдал за Денисом и понял, что тот узнал его тоже. Что-то спросил о нем у официантки. «Фамилию бы не ляпнул», — кольнуло в тот нерв, который никогда не отдыхал. Но тут же дискомфорт исчез. Ярый не из тех, кто может базарить. Да и фамилии-то не в ходу. Из тех, с кем был на отсидке, он и сам, пожалуй, может припомнить лишь около десятка. Зато «кликухи», а к ним и статьи, по которым отбывали свое, а иногда и чужое, помнятся. Их нельзя не помнить... Где-то там, в таком же бараке, с меньшим или большим числом обитателей его, уготовано место и ему, Солодкину. Можно лишь предполагать такое, а по закону и располагать им. Дело за следствием и судом. Но до суда мо-

жет и вовсе не дойти. Во всяком случае, пока что на горизонте туч нет, а вину за прошлое надо еще доказать. Он не из тех, кто преподносит на блюдечке чистосердечное раскаяние, как смягчающие вину обстоятельства. Он пока что Колядкин, а для него в зоне и вовсе места нет. Колядкин, как реальная личность, способная нести ответственность, не существует. К тому же, теперь есть и другие способы озбежать наказания за прошлое. Почему бы, например, не воспользоваться знакомством с прокурорщей. Ей даже очень просто истребовать его дела, а ему «помышковать» хотя бы над некоторыми листами, делая, по возможности и по необходимости, самую малость исправлений, меняющих многое. Опять же, если применительно ко второй части статьи за кражу учитывать высший срок наказания, то по первой краже наступила давность стечения сроков возможного привлечения к ответственности.

Вся эта совокупность не только утешала Степана, но прибавляла уверенности и настраивала мажорно.

5

Когда музыканты угомонились, Солодкин, провожая партнершу к столику, взглянул, наконец, на Ярового откровенно и кивнул, здороваясь. Мог бы и подойти, конечно. Ради приличия бы, что ли... Нет, не подошел. Опять-таки эта дама. Есть ли причина оставить ее? Денис поднялся сам из-за столика, пошел наперерез немного отставшему от дамы Солодкину и протянул руку:

— Привет, Степа!

— Откуда ты нарисовался? — улыбнулся снисходительно или с чувством превосходства Вьюн и пожал протянутую руку.

— Да... все оттуда, — взглянул Денис на женщину, остановившуюся у столика метрах в четырех. Она не села, а как-то величаво положила правую руку на спинку стула и оглянулась. Симпатичное лицо, но с оттенком строгости или официальности. Ожерелье с кулоном, похожим на розу из дымчатого топаза, подчеркивало округлость подбородка. Витые, будто часовые пружины, серьги, хотя возможно, и дорогие, однако, впечатления не создавали: что-то дисгармонировало то ли с кулоном, то ли с округлостью лица.

— Знакомая, — кивнул в сторону женщины Солодкин.

— Потолковать бы, да, вижу, ты занят. Подожду на улице.

— Ладно, — кивнул Солодкин.

Яровой возвратился к своему столику, наполнил рюмку — всего третью за вечер, — выпил с удовольствием, будто за здоровье хорошего человека. Степан в это время уже усадил подругу за стол и сел тоже, спиной к Яровому. Значит, только из-за этого Денис и не заметил Степана сразу. Потом увлекся танцующими и вообще расслабился до такой степени, что мог бы проворонить и графин с коньяком на собственном столе. Закусив, Денис махнул рукой официантке, которая и без того, казалось, больше, чем того требовал порядок, зыркала в его сторону. Уж не опасалась ли, что этот стриженый уведет еще не оплаченный коньяк. Рисуясь, он достал из бокового кармана две двадцатипятирублевки, небрежно, будто карты с набором нужных очков, бросил их на стол, протестующе махнул рукой, как только женщина вытащила из кармана мини-счеты, и, сунув бутылки с коньяком в карманы пиджака, направился к выходу.

Вечер был теплый и тихий, пожалуй, даже слишком тихий. Прошмыгнувший по улице метрах в пятидесяти автобус не возмутил тишину, такую добрую и ласкающую слух после грохота, завывания и треньканья ресторанной музыки. Не та, далеко не та тишина эта в сравнении с тишиной камеры-одиночки. Там от нее, от тишины, — звон в ушах и еще что-то такое, от чего разбухает каждый нерв и хочется выть. Именно выть, потому что от крика изнемогаешь, а песни, даже самые тоскливые, не поются: в душе черная пустота и глухо бухающее сердце.

Присев на скамейку возле бетонного фонарного столба, удобно устроившись так, чтобы выход из ресторана был вполне подконтролен взору, Денис запрокинул голову и стал наблюдать за всякого рода мошкарой, бившейся о стекло-пятисотки, обжигающейся, падающей, но не убывающей. Ну, что за безмозглое творение природы, бездумно бросающееся в огонь цивилизации, создающей, пестующей себя и уничтожающей себя же, а попутно стирающей все прочее, созданное не ею!

Тишина и теплынь. Если бы не эта неопределенность, если бы надо было только скоротать ночь, то можно пристроиться и на любой скамейке, подальше от глаз людских. Но за один день решить все проблемы, понятно, не удастся, и, выходит, первая же ночь станет ночью бродяги. Нет, начинать так не хочется. Все сложилось бы куда более сносно, если бы найти угол для временного пристанища. Даже в тюрьме и то первая ночь — карантинная;

голые нары, провонявшие карболкой и дустом, и — одиночество. А здесь, на воле, начинать с карантинной скамейки? Это слишком просто и легко. Наезженная дорога не всегда самая короткая. Задача теперь другая: зацепиться за волю и если уж не врасти, то попытаться жить в этом многотравье не чертополохом. Орлом, ясное дело, не быть... Хотя, при чем здесь орел? Он и не был им никогда. Было, спал и на нарах, хотя и кантовался в зоне и во все времена освобождался от подати «паханам», да и прочей кодле. Ходил и в габардинах, и в других классных шмотках, но хромачи не носил... В общем, — птица среднего полета. А, возможно, и воробей? Ах, эта серая птаха! А ведь — воришка! И все-то у него не слава богу. Не терпит одиночества, но и не ночует бок-о-бок с другими собратьями. Боится открытых мест и на поля летает лишь с краев, воду облетает или по-над берегом, или над мостами. Живет рядом с человеком, а все так же дик... Есть у него своя неприкосновенность... Не приручить...

Из ресторана, хлопнув подпружиненной дверью, вышли трое посетителей и прошли мимо, громко разговаривая. Вскоре Денис увидел еще двоих — знакомую парочку. Обнявшись, они свернули в рощицу, туда, наверное, где уличный электрический свет был не нужен. Вьюн все еще не появлялся. Может, он не понял просьбу? Ну да, как это не понять!

Когда ресторанная дверь хлопнула в очередной раз и на крыльце появился Вьюн с подругой, Дениса это ничуть не обрадовало, как, впрочем, и не растревожило. Подспудно даже мелькнула шальная мысль: не «обидеться» ли? Это ничего хорошего по лагерным законам Вьюну не сулило. Он это должен понимать.

Проходя мимо, Степан оставил подругу, шагнул к Денису и, сунув в руки коробок спичек с торчащей из него бумажкой, попросил прикурить. Яровой машинально достал из того же коробка спичку, зажег ее и, привстав, поднес огонь к сигарете Степана. Прикурив и буркнув «благодарю», Вьюн сделал два шага к женщине, взял ее под руку и ушел.

Все произошло так быстро, что Яровой практически ничего толком и не сообразил, даже высекая огонь. Правда, когда от сигареты ударил в нос слабый запах табака, почувствовал что-то вроде укора самому себе: «Лакеем стал!» Но лоскуток бумаги, оказавшийся в ладони, не холодил, а согревал надеждой. Он эту бумажку расправил, едва Солодкин сделал десяток шагов. На ней значилась

какая-то, по всему видно, ресторанная «арифметика» из рублей и копеек, а ниже — крупно: «ИДИ ЗА МНОЙ!»

Денис поднялся со скамейки, еще раз прочитал эти два слова, вгляделся в цифры, спрятал бумажку в боковой карман и шагнул на асфальт дорожки.

6

Пожалуй, никогда еще не выступал Денис в роли, отведенной ему в этот вечер. «Иди за мной» — это вроде как приказ или игра в кошки-мышки. Куда идти, зачем? Что скрыто за этим? Если судить по цифрам на листке записной книжки, то они — подсчет ресторанного расхода, стоимости проведенного вечера. Но подобное — для скряг, обходящих стороной такие заведения. Вьюн, как сказала официантка, сюда заходит иногда. Тогда какой смысл в подсчетах? Ответов можно предположить сколько угодно. Ну, например, что он хозяйственный мужик и что деньги зря не тратит. Но такие подсчеты не для рыцарей. А благородство свое Степан пытался доказать уже тем, что после танца не просто проводил женщину к столу, но и помог ей усесться. Любящий или обходительный? Похоже, ни то ни другое. Хитрит. Ведь мог бы извиниться перед этой знакомой и подойти, когда увидел. Не извинился и не подошел, а лишь кивнул. Да и танцевал так, будто наказание отбывал. Значит, подсчет — для повода взять ручку в руки и написать эти два слова. Но что за идиотская конспирация?

А кто теперь он, Денис, в отведенной ему роли? Не то сыщик, которого заставили идти по следу никуда, впрочем, не убегающих преследуемых, не то телохранитель с задачей прикрытия тыла от неведомого противника. Чепуха какая-то.

Метрах в двухстах впереди звонко отстукивали каждый шаг по асфальту каблучки дамы, провожаемой Степаном. Кажется, они стали более слышны, а ритм постукиваний участился. Что-то там не так, что-то ей не понравилось. Но зачем же все в ноги, в каблучки-то вкладывать? Ах, какие мы обидчивые, какие нервные! «Тук-так, тук-так». Не ноги, а маятник часов. Интересно, от какой ноги это пересиливающее — «тук»? Помнится, как-то на пересылке слышал о левом и правом полушарии мозга. У человека при внешней симметрии тела все-таки одна рука сильнее другой, один глаз зорче другого. Левое полушарие головного мозга управляет правой половиной тела. Оно — вме-

стилище оптимизма. Значит, если эта «вьюниха» бьет об асфальт правым каблучком сильнее, то она — жизнерадостное создание, верящее в будущее и, естественно, склонное к теории. Нет, вряд ли она оптимистка, если нервничает. Может, Вьюн сказал, что сегодня не пойдет к ней? А она, дура, не хочет верить, что можно и завтра встретиться. Кто-то, помнится, говорил, что пессимист — это человек, который не хочет доить корову, потому что боится, что молоко уже прокисло...

Ага, дошли! Значит, живет она здесь, в пятиэтажке. Поцеловали друг друга, похоже, в щеки. Тут же повернулась и ушла, будто и не была вместе с провожающим ухажером. Ну, и с богом.

Вьюн не оглянулся ни после того, как Денис, прочитав записку, пошел за ним, ни на пересечении тротуара, куда они свернули с дамой. Даже простившись с ней, он пошел дальше с таким независимым видом, будто его совсем не интересовало, идет ли за ним кто-нибудь, или в этом ночном мире не существует никого вообще. Что это — конспирация? Но кому она нужна здесь, в безлюдном переулке, выходящем куда-то почти за город, на темную улицу с уже явно слышимым брехом домашних собак? Ну, здесь-то можно и остановиться. Или он пытается затеряться в темных переулках домов частного сектора? Но логики в таком бегстве нет. Что-то, видно, тревожит его, что-то у него не вяжется. Может, бросить все эти похождения? В конце концов, никто ничего никому не должен. Иди себе налево, а я — прямо, куда-нибудь за поселок, на природу.

7

— Заходи сюда! — Услышал Денис, проходя вдоль забора из штакетника, и только теперь понял, что Вьюн зовет его пройти в калитку. Этого Яровой не ожидал. Думалось, что «переговоры» состоятся только за городом.

Солодкин подошел к одноэтажному небольшому деревянному дому, ничем не выделяющемуся в ряду таких же больших и меньших жилищ, темнеющих вдоль улицы частного сектора, и молча открыл дверь веранды. В темноте клацнула дверная задвижка или накладка, скрипнули навесы, и от этого повеяло нежилым. Пропустив Ярового вперед, Солодкин закрыл за собой дверь в прихожую, зашел первым, включил свет, щелкнул другим выключателем, осветив просторную комнату, зачем-то заглянул

туда, зажег люстру на кухне, и, сняв пиджак и разувшись возле большого трюмо в прихожей, прошел на кухню. Уже оттуда сказал:

— Снимай пиджак, Денис. Будь, как дома. — И спросил: — Какой ветер занес тебя в наши края?

— Сам выбрал. Случайно. Ни в Одессу, ни в Москву по статусу не пробиться. Да и желания нет большого. Хочу тишины и покоя, так сказать, в провинции. На этот раз чист, как потолок этого дома. — Денис оглядел обстановку, в общем далеко не спартанскую, но не таящую в себе следов женского присутствия.

— Что ты по чистой, это и в ресторане можно было понять, — заметил Солодкин, убирая со стола грязную посуду.

— Понять-то ты понял, но к чему эта конспирация? — упрекнул Денис Степана. — Детектив целый.

— Есть натуральная причина. Маруха моя — следователь прокуратуры.

— Ого! — воскликнул Яровой не то от восхищения, не то удивляясь услышанному. — Ну, фу-ты, ну-ты!

— Недавно познакомился. Молодая, симпатичная, образованная, успевшая побыть замужем. Вообще — обычная особь женского пола. Больше месяца встречался и не знал, кто она. Познакомились в ресторане. Ну и пошли кошки-мышки. Она не спрашивает о моей работе, мол, не место красит человека, а я тоже деликатным оказался, что ей, конечно же, понравилось. Как-никак, а само слово — следователь — могло подавить всякие отношения, узнай я об этом при первом знакомстве. И, заметь, ни как женщина, ни как следователь не полезла в душу, не стала выспрашивать да выведывать.

— В забегаловку часто заглядываешь? — Денис выставил на стол две бутылки коньяка.

— Реже, чем хотелось бы, и совсем редко по моим финансовым возможностям. Во всем придерживаюсь меры. Мой лимит — два посещения в месяц. А остальное — кино, близкие и дальние прогулки... Еще телевизор и книги. Во-он сколько накупил всяких разных, — кивнул на большую комнату Солодкин и спросил: — Давно от хозяина.

— В этот понедельник. А ты — один?

— Юридически — женат. Дом, как видишь, имею. Но вообще холост и потому практически свободен.

— Что так?

— Длинная история, — отмахнулся Солодкин. — Воль-

ному куда лучше. А самок всегда хватает. Их, по статистике, больше нас, мужчин, на три миллиона.

— Это не от хорошей жизни...

— Оставь политику. Если желание имеешь, могу определить к вдовушке. Неподалеку живет. Дом свой. Баба в норме...

— Обосновался ты, — оглядел кухню и люстру Яровой. — А тут... — он мотнул головой, спросил: — Должков-то много за хозяином? Иначе зачем такие умеренности и самоограничения... — Денис легко сопоставил встречи в ресторане и возле него, «проминаж» по ночному городу, его «меру» в жизни.

— Долги... — махнул небрежно Степан. — Документы у меня липовые. Колядкин я. Степан Данилович Колядкин. Усек? Горбачусь, как все. Газоэлектросварщик. Прописка законная.

— Завязал, значит? У меня тоже благие намерения. Дальше горе мыкать некуда. По всем статьям — приехал. В случае чего, теперь даже строгача не выдержу... А липовая ксива — плохо. По слухам в зоне, а они, сам знаешь, сомнению не подлежат, в Москве будет принято решение о новых паспортах. Менять будут. Значит, новые проверки, уточнения и прочее.

Солодкин промолчал. Он, как показалось Денису, несколько нервозно дернул дверку холодильника, нагнулся, заглядывая внутрь, и молча подал рыбную консерву, колбасу, и две плитки шоколада. Денис положил все это на стол возле бутылок и, отступив к дверному косяку, заметил:

— Молчишь, стало быть, есть о чем молчать. Как говорил мой корефан Васька Дуб, лучше промолчу, потому что врать не хочу, а расколюсь, когда отелюсь.

— Присаживайся, — кивнул Степан на табуретку, опять не реагируя на замечания Дениса, хотя в душе уже начинало поскребывать. С какой стати, по каким это нововведениям в их среде вдруг «душевничать»? Из ума выжил старый? В любом случае лезть в душу — бестактность. Хотя чему удивляться? Гость — не из института благородных девиц.

— А что, с этой вдовушкой — идея, — садясь на табуретку, согласился Яровой. — Обрести бы крышу над головой.... А там уж— работа...

— Набегаешься со своими документами, — посочувствовал Солодкин и тут же съехидничал: — Тебя там только и ждут, чтобы работу предоставить... И ведь никакого

понятия у людей, что именно после отсидки человеку позарез нужна помощь. Иначе... Сколько таких, с благими намерениями, снова возвращались в зоны, в привычную обстановку, лишь из-за того, что на воле не почувствовали себя морально полноценными, прижиться не сумели. Вот и ты со своим прошлым, как только станешь на учет, а без него и прописки не дадут, сразу ощутишь «внимание» к своей персоне. То повесточку получишь с приглашением на беседу, то участковый по долгу службы проведает. А уж если дельце какое-нибудь закрутится, похожее на твои методы, не исключено, что и в капэзэ побываешь. Пару дней отвалят запросто, по закону, как подозреваемому согласно статьи сто двадцать два. И никому ничего. Даже не извинятся, когда настанет время выпустить... Так что иди и рапортуй: «Заслуженный вор республики явился для дальнейшей нервотрепки и желает...» Что ты там желаешь?..

— При чем здесь вор? — перебил Денис, пожимая плечами. — Я свое отбыл и имею право на нормальную, как у всех, жизнь.

— А я ничего и не сказал, — открыв консервы и нарезав колбасы, покрутил головой Солодкин. — Это же то, что есть, — реальность. Как сказал поэт Твардовский, тут ни убавить ни прибавить... Конечно, на лучшее надеяться надо. Если бы все выглядело только в черных тонах, то конец фильма...

— Вижу, не зря ты книжечки почитываешь, — кивнул на комнату Денис. — Но, примеряя одежду, не выворачивай ее наизнанку. Мы-то понимаем, что зло всегда было наказуемо, как бы кто ни подстраивался под всякие там добродетели.

— Да как сказать, — не согласился Степан. — Я бы наказывал вдвойне за те действия, которые, законно делая меня бесправным, унижают мое человеческое достоинство. Возьми того же следователя. Почему он пытается доказать мою вину, вместо того чтобы расследовать факт моих действий. У суда свое: доказать, что в обвинительном заключении все правильно, иначе ставится под удар следователь и прокурор, утвердивший дело. Потому и суд начинается с читки обвиниловки. А ты как мышка-норушка, особенно когда прокурор, утвердивший дело, еще и обвинителем выступает. Только начнешь что-нибудь объяснять, а тут уже перебивают: «Это к делу не относится!» Возражать станешь, того и гляди, вкатят срок на всю катушку со всеми добавками. На суде еще до приговора я — прес-

тупник. Кто и когда вправе обвинять меня в этом? До суда я — че-ло-век!

— Еще скажи, что это звучит гордо, — согревая стакан в ладонях, заметил Яровой. — За эти слова, как я слышал от ученого-москвича, сам Алексей Пешков поплатился. А ты туда же — человек!.. Насчет суда ты, конечно, прав. Да и насчет следствия. Умные люди уже давно добиваются, чтобы вместо обвиниловки следователь писал акт расследования. А суд, как ему и положено, сам должен устанавливать виновность. Но вряд ли кому удастся сдвинуть это дело с места. Эта система веками отшлифовывалась. Подогнали все точно и грамотно.

— Милиция, прокуратура и суд теперь — самые образованные предприятия, — кивнул Солодкин. — Все с вышками.

— От этого, наверное, и беззаконий столько, — продолжил Яровой. — Дошли до того, что не по статьям судят, а по инструкциям. А они всегда двуликие. Отсюда и произвол, когда затевается какая-нибудь очередная кампания. Все, что происходит на воле, отражается в зоне как небо в какой-нибудь луже, пусть и не всегда чистой, Приходилось встречаться и с раскулаченными, и с саботажниками, и с врагами народа. Видел полицаев, власовцев, оуновцев, недоимщиков, колосовиков... Тошно было смотреть на мужика, отбывавшего срок за сдохшую курицу, недонесшую десяток яиц. А за что страдал колхозник, подобравший на дороге десяток колосков для голодных детей? Это он, трудяга, хозяин земли — вор? А тунеядцы? Настоящих не встречал, а вот попов видел. Садили за то, что не трудятся, а едят...

— А, ну ее, философию! — поднял стакан Солодкин. — Давай пригубим. За встречу пить не будем — она безрадостна; за тех, кто в зоне, пить не принято.

— То-то и плохо, что мы пьем свои чаши судеб в одиночестве.

Яровой выпил, закусил квадратиком шоколада и, подождав, пока Солодкин прикуривал и затягивался дымом, продолжил:

— Мы и в компании одиноки, потому что весь мир наш — общество разобщенных идейно шаек, банд, групп, если выражаться культурно...

— Э-э, нет! — перебил Солодкин. — Настоящий преступный мир — это, если хочешь, организации, каких поискать надо. Это государства в государстве с железной дисциплиной, прочными связями и круговой порукой. Государст-

венной власти ему не надо, у него сколько угодно своей...

Яровой кивал, будто соглашаясь с тем, что говорил Солодкин, но слушать не слушал...

— Ты не согласен? — дошло до Ярового.

— Частично, — кивнул в очередной раз Яровой.

В тишине, наступившей вдруг, звонко забулькала льющаяся в стакан жидкость из высоко поднятой бутылки. Но казалось, что эта тишина была всегда, что Денис и Степан не говорили ни о чем, а лишь думали каждый о своем, хотя в чем-то их думы и сходились. А может, и впрямь они молчали?

Два человека, две, по существу, одинаковые судьбы, не сложившиеся, не удавшиеся по разным, но и схожим причинам. Где-то на перепутье дорог жизни каждый из них свернул в сторону перегиба и, сломав линию судьбы, стал тем, кем был теперь. Один еще не стар, другой уже не молод, но оба они перегружены никчемным прошлым. Одного хитросплетения судьбы вынесли в заводы, и он еще плывет по замедленному течению к перепаду, за которым — обрыв. Другой все несся по бурной реке и теперь почти в конце пути оглянулся, пытаясь оценить пройденное.

8

Если не считать промежутков полузабытья, то Яровой практически не спал. Не то чтобы давили выпирающие из-под драпа трескуче-визгливые пружины дивана и была неудобной настоящая пуховая подушка — нет. В голову лезли кошмары, она была тяжела и болезненна. Но, главное, давило грудь. Как ни вздыхал глубоко, как ни поворачивался — сердце продолжало биться глухо, тяжело и, кажется, с перебоями, будто обрело ноги и пошло то ли хромая, то ли перескакивая: раз-два, раз..., раз-два. От этого, должно быть, стыли пальцы на ногах и выступал холодный пот. Но переживаний, в общем-то, не было. В жизни перенес столько, что, кажется, уже ничем не прошибешь. Да и отчего нервничать? Из-за того, что надо идти в милицию? Пустое! Ходил тысячу раз. Да и то не по вызову, с повесткой, не с грузом криминала, не с повинной, наконец. Просто отметиться, что прибыл. Личность! Вишь ты — прибыл. Будто деятель какой-нибудь. Ничего не поделаешь — заработал, удостоился такой части. Быть на учете привычно. Всю жизнь учет. Но на этот раз намерения благие: попробовать жить без заскоков, попробовать ишачить. А раньше? Разве раньше было по-другому? Для

многих лагерь — дом родной. Но он-то никогда не освобождался для того, чтобы снова «узаконить» место в зоне. Однако и не задумывался слишком. Приходило время, брал какой-нибудь приглянувшийся «объект», если сходило, повторял еще, надеясь, что снова повезет. Но шло «не в масть». В остальном дорога наезженная: арест, капэзэ, допросы, выезды на места краж, фиксация показаний, ознакомление с делом, наконец, этап в тюрьму. А там — суд, приговор, отсидка в тюрьме до вступления приговора в силу, этап и — зона. Все просто до чертиков. Но кто бы знал из тех, кому посчастливилось не проходить этого, сколько лет жизни уходит на одну этакую ни с чем не сравнимую гастроль. Не текущих, календарных лет, а тех, о которых приходится вспоминать в самом конце пути, если на эти воспоминания остается сколько-нибудь благоприятного времени.

С годами даже от такой жизни приходит к человеку своя мудрость. Наступает она значительно раньше, чем у других, не испивших чаши бессилия и бесправия.

А тюрьма, она есть и будет, пока мир разделен на праведных и грешных или, напротив, праведных грешников и грешных праведников; пока одни будут верховодить, а другие поклоняться вельможам, твердя неустанно о равных правах перед Богом или кем-то еще; пока будут существовать люди, заслуживающие наказания или изоляции от остального грешного и праведного мира. Вот так или примерно так.

Многие, слишком многие из тех, кто отбыл свое, вынужденно возвращаются назад «в дом родной» лишь потому, что на воле все их благие намерения и надежды разбиваются о пустоту и бездушие. Общество — не приход, ему не поклонишься, не вымолишь снисхождение... А интересно, почему это до сих пор никто из выдумщиков разных положений, уставов и прочих ритуалов не додумался ввести в обиход «День возвращения блудных сынов»? Промашка! Такое передовое, высокоорганизованное общество и вдруг — ляпсус, недооценка важного воспитательного фактора! Было бы и эффектно, и эмоционально: перед всем народом — на колени! И просить принять к себе. Не отдел кадров, а все люди видеть должны, кого берут в свою рабочую семью. Им и решать... Ох, ты!.. Снова эти перебои в сердце... и боль, и холодный пот... и этот юмор. Нет, не юмор — сарказм... Действительно, при чем здесь общество? Не оно, а те, кто присвоил право решать именем народа и ничего не решающие, должны быть заслуженно оплеваны,

Не может не прийти время, когда вся мразь, злодействующая под маской государственности, получит свое... Вот тогда-то народу, который разберется во всем и выберется на истинный путь своего развития, можно будет и поклониться... надо поклониться.

Не спалось. Денис, тихо чертыхаясь на каждый скрип пружин, осторожно поднялся и босиком поплелся к двери, ведущей на улицу. Ноги будто бы ступали правильно, прямо, но вот «зарулил» вдруг вправо, к трюмо, затем потянуло влево, к дверному проему кухни. Никак пьян... Хотя сомнительно... Опять же эта слабость... Нашарил ключ, торчавший в замочной скважине, чутко, с придержкой, повернул его раз, другой. Но осторожность не оправдалась: дверь визгливо-тонко и протяжно отозвалась в ночи, будто кошка, которой наступили на хвост. За порогом заскрипели половицы веранды.

На улице дышалось легче. Воздух был чуть-чуть сыроват и как бы сластил. Восточная часть неба заметно светлела. В листве тополя, к которому подошел справить малую нужду, прошелестели отзвуки проходящего за городом пассажирского поезда. С недалекой окраины донесся звонкий трусливый голосок шавки, похожий то на «ой-ой-ой», то на «ай-яй-я». Вслед за брехом послышалась приглушенная петушиная побудка.

Денис возвратился к крыльцу, присел на ступеньку, чувствуя прохладу от доски через ткань трусов, но тут же вынужден был снова прислушаться к сердцу. Не болит, а давит. Должно быть, перегрузил коньяком. Значит, и такая доза во вред. Дела-а... Не хочется думать, совсем не хочется думать, что можно вот так закончить жизнь. Знал, конечно, знал, что не вечен. Когда-то в зоне лектор читал, что в материальном мире ничто не исчезает, как и не возникает вновь, а переходит лишь в другое состояние. Может, оно и верно. Но вот возьмет собственное сердчишко, да и забастует, прекратит отстукивать то, что ему на роду написано. Легче ли ему, Денису, станет от этого, другого состояния? Кому потом окажешься нужным — богу или черту? Кто закроет глаза? Вблизи пока что единственный человек — Степан. Но если он с грешками, то ему нет никакого резона организовывать похороны. Оттащит за калитку, подальше куда-нибудь и бросит... Бросит. И некому будет ни проводить в последний путь, ни слово доброе молвить... Доброе слово. Это о нем-то? Господи, да о чем речь! Доброе слово... Кто даже по случаю смерти скажет его? Никто... В зонах всегда жил обособленно. Вор-то

вор, но не блатовал. Больше к мужикам тянулся. Правда, и шестерки от пахана стороной обходили, подать не брали. Потому и ожидать ничего ни от кого не приходится — всем чужой. В любом случае — один-одинешенек... Страшно быть одному... среди людей...

Уже, когда небо из темно-синего стало серо-голубым, когда потускнели звезды и над горизонтом выделился лес, Яровой вошел в дом. Не пытаясь избежать скрипа половиц, прикрыл за собой дверь, повернул на один оборот ключ и направился на кухню. У стола он остановился, осторожно повел рукой над ним, нащупал горлышко бутылки и, открыв пробку, глотнул пахнущую дубом и еще чем-то спиртовую жидкость. Пить даже этот глоток было неприятно. Тело сопротивлялось ощущением какой-то противники, наверное, от наспиртованности. Присев на табуретку и выждав, пока пройдет жжение, глотнул еще. На этот раз влага легко скатилась к желудку. Денис это почувствовал так же, как и то, что там, в душе, вроде бы полегчало.

9

Прикосновение ладони Солодкина к плечу вывело Дениса из полузабытья или из полудремы. Наверное, он все же дремал, сидя за столом с бутылкой, будто вахтер какой-нибудь у телефона. Дремал, конечно, Чувствуется, даже отдохнул малость. Подняв голову. Денис вопросительно посмотрел на Солодкина. Было уже светло, и первое, что бросилось в глаза, — это частые вкрапления седины в волосах Степана. Виски и вообще «припудрены». Ночью как-то не пригляделся, не заметил.

— Уже утро? — спросил Денис.

— Давно. — Солодкин присел на табуретку к столу. — Через часик на работу потопаю. А ты так и не спал?

— Да вроде чуток покемарил.

— Что так, по-заячьи? Здесь не вокзал, не ошмонают.

— Сердце забарахлило... Ты когда-нибудь чувствовал сердце в груди у себя?

— Не-е-э, — зевнул Солодкин. — Но понятно, оно там, в груди... Насос перекачки крови. Для тела благо не сердце, а голова. Вот если она болит — хуже.

— Когда барахлит сердце — страшно. А под благом я понимаю теперь все, что связано с волей и здоровьем. Опомнился, что ли?

— Это от чувства воли. Знаешь, блаженство этакое... —

Солодкин шевельнул плечами, расправил грудь, но какое оно, блаженство, не сказал, не сумел выразить жестом.

— Для меня блаженство все: окна без решеток, жизнь без проверок и шмонов, земля без «колючки», любой кусок которой еще долго, наверное, будет напоминать мне ядовитую змею... Но перво-наперво, конечно, хата нужна... С нормальной крышей... не такой, как у тебя.

— Я и не предлагаю тебе свою, — пожал плечами Солодкин.

— Это любой поймет... И за приют спасибо. Но я сейчас почему-то чувствую себя в таком положении, как глухонемой, идущий по шпалам железки. Когда поезд догонит — бог знает, а если догонит...

— Чепуха, — снова зевнул Солодкин. — Давай врежем по стопарику, для опохмелки. Мне-то нельзя много... А хату мы тебе найдем, с бабой в придачу. И успокоится твоя жизнь.

Солодкин выпил пару глотков коньяка, потянулся за шоколадом, но передумал и отполовинил ножом шмат колбасы для завтрака.

— Успокоится жизнь? — переспросил Денис и заглянул Степану в глаза: — А ты-то спокойно живешь?

— Как видишь, не жалуюсь.

— Темнишь.

Солодкин поднялся, взял с кухонного шкафа пачку сигарет, открыл и прикурил.

— Ты, Денис, этого не говорил, а я не слышал. К чему эти твои, говоря по-русски... прикидки?

— Да не для того, чтобы расколоть... Как говорят, любая тайна хороша, пока о ней знаешь один.

— Это — зако-он! — Солодкин притушил сигарету.— Однако ты слишком часто говоришь такое, что... Ну, не мне тебя учить...

— Не принимай всерьез. Я без умысла.

— Вижу. В разговорах ты слишком прямолинеен.

— В блатарях я, правда, в свое время не ходил, но и в суках тоже.

— Не ершись. Я сказал о своей личной подозрительности ко всему и ко всем. Натура такая.

— Да я и не психую, — махнул рукой Денис. — Чё теперь-то ершиться?.. Мне бы за волю зацепиться.

Солодкин принялся и за оставшийся, лежавший на столе кусок колбасы и между прожевыванием и глотанием информировал:

— Ты прикидывал... во что обходится честная жизнь...

гости усилились; друг за другом слежка неимоверная. Лицо я в лагере большое, все боятся, даже начальник лагеря, но никому и ничем помочь не могу. Нет людей верных, нет связующего звена. Когда еще позову, не знаю. Просто сказать боюсь, но ни вас, ни Александра Павловича ни на одну минуту не забываю и из вида не выпускаю. Записку опять Александру Павловичу передайте, не забыт он в Москве, протокол допроса подпишите, заранее написал. Делаются кругом дела страшные, и я тоже их пособник.

Записку о. Арсений передал Авсеенкову, и тот опять воспрянул духом.

Спешите делать добро

В последнее время о. Арсений стал сильно уставать, еле-еле справлялся с уборкой барака и, видя это, заключенные помогали ему. Держался он одной молитвой. Знающим его иногда казалось, что живет он не в лагере, а где-то далеко-далеко, в каком-то особом, одному ему известном, светлом мире.

Бывало, работает, губы беззвучно шепчут слова молитв, и вдруг он радостно и как-то по-особенному светло улыбнется и станет каким-то озаренным, и чувствуется, что сразу прибавится в нем сила и бодрость. Но никогда внутренне-углубленное его состояние не мешало ему видеть трудности окружающих его людей и стремиться помочь им. Люди верующие, общаясь с ним, видели, что о. Арсений как бы вечно пребывал на молитвенном служении в храме Божием, вечно стремился творить добро.

Оказывая помощь, о. Арсений не размышлял, кто этот человек и как он отнесется к его помощи. В данный момент он видел только человека, которому нужна помощь, и он помогал этому человеку. Думали когда-то заключенные, что он заискивает и ждет благодарности, оказалось не то. Потом его назвали «блаженненький», и это оказалось не то. Большинство поняло его. Изменился барак по отношению к о. Арсению. Интеллигенция видела в нем ученого, совместившего веру и знание. Бывшие коммунисты по поведению о. Арсения по-другому стали рассматривать веру и верующего, и многим из них верующий не казался «мракобесом». Верующие видели в нем иерея или старца, достигшего духовного совершенства и несшего в лагере свой подвиг. Смотря на жизнь о. Арсения многие люди находили спокойствие и в какой-то мере примирялись с жизнью в лагере.

Уголовники защищали о. Арсения и относились к нему уважительно по-своему. Если кто-либо из вновь пришедших заключенных пытался обидеть его, то давали понять, что за это могут избить. Было довольно много случаев, когда уголовники прибегали к духовной помощи о. Арсения, они понимали и видели, что он не из-

С простым щипачом я, конечно, и говорить не стал бы, а тебе, видишь, не отказал.

— Мерси, как говорят французы, — кивнул Яровой и опять спросил: — Так что ты предлагаешь?

— Пока попытаться урвать что-то вроде увольнительной.

— Не понял.

— Где твой билет на проезд сюда?

— Оставил у проводника.

— Зря.

Что там еще выдумает Солодкин, Яровой предсказать не мог. При чем здесь увольнительная и что она даст? Даже само слово мало что говорило Денису об армейском лексиконе. Увольнение, уволить, воля... вольность. Тут скорее речь об алиби для доказательства невиновности. Вот оно каким порохом пахнет! Но ради какой афёры? Погулеванить невидимкой, отдохнуть без присмотра? Слишком большая честь! К чему столько внимания и заботы? Темнит Вьюн, темнит! Куда-то клонит, но заходит издалека Алиби... Знакомая вещица. Можно ли допустить, что Степан уже зарвался где-то и теперь использует его, Дениса, в своей игре? Но это если ко всему относиться с подозрительностью. А если видеть добро? Почему бы и нет! Для доверия есть пока все основания и ни одного против.

— Для чего билет? — после небольшой паузы спросил Денис.

— Ради твоего маленького блага... Чтобы выкроить время для отдыха и размышлений. В милиции, как только поставят на учет, так сразу же и определят срок трудоустройства. А нашего брата принимают далеко не везде. Не сумеешь пристроиться — и привет. Опер загребает за нарушение режима. Благо, что цацкаться с тобой нечего — свой в доску. Вот и шевели мозгой: маленькие каникулы все же нужны. О твоем приезде, как я понимаю, никто не знает. А ты мог задержаться и при выезде. Мало ли: потерял билет, пришлось брать другой. И вообще — сто причин... Так что через несколько дней мы добудем тебе билет у проводника тем числом, какое понадобится. Проверок не предвидится. Билетом и подтвердишь день приезда.

10

В среду, в половине восьмого Яровой пришел в городской отдел милиции. Пришел без билета и рано, хотя и не горел желанием поскорее попасть к инспектору уголов-

ного розыска. Просто некуда было приткнуться. Солодкин стал собираться на работу, а ему, квартиранту, пришлось оставить жилище не только ради не бог весть какой, но конспирации, а и просто с понятием того, что хата все же не своя.

Часть довольно просторной комнаты, или зала, была отделена невысокой, чуть выше письменного стола деревянной перегородкой, за которой сидел дежурный капитан милиции. Он возился с бумагами. Яровой заметил заявление, торчащее из журнала регистрации, несколько актов и еще чего-то на официальных бланках. Бумаги, бумаги... «За всякой бумажкой — букашка» — вспомнилось что-то простовато-наивное и тут же испитое самим: «За милицейскими бумагами — люди, судьбы людские, горе. В милицию с радостями не обращаются. С них, с актов и заявлений, часто начинаются такие метаморфозы, после которых человек проклинает день и час, когда родился...»

— У вас повестка? — взглянул капитан на Ярового и, продолжая писать, кивнул на скамейки у противоположной стены. — Подождите там до девяти.

Зазвонил телефон, один из трех, стоявших на том же письменном столе за перегородкой. Капитан поднял трубку, а Яровой отошел от барьерчика и присел на скамейку.

— Так... так... ага... ага... понятно, — твердил дежурный в трубку и одновременно писал. Проснулся еще один телефон. — Да, милиция, ноль два, — уже в другую трубку сказал капитан и переспросил: — Проникающее? Ага... Опасно?.. Да... Жить будет? Фамилия и адрес известны? Так... Понятно!

Денис понял тоже. Кого-то доставили в больницу с проникающим ранением. Это уже для расследования. Подумалось, что именно здесь, у дежурного, — штаб, куда стекаются все сведения оперативной обстановки в городе. Здесь знают или должны знать все. Наверное, на «скорой» все-таки проще, если даже от смерти человека спасать нужно. Там известно, где аппендицит, а где — инфаркт. В милиции же не сразу отыщешь ну хотя бы того, кто пырнул ножом. Вот ведь мясники! Чуть что — сразу за ножи. Вот ведь твари безрогие! Нелюди! К ногтю бы каждую гниду, хватающуюся за нож и жаждущую крови! Как это в Библии? Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. А если будет вред, то отдай око за око, руку за руку, зуб за зуб... И еще, помнится, для него заповедь: кто застанет вора ночью и ударит так, что он умрет, то кровь не вменяется ему. Но если взошло солнце,

то вменяется ему кровь. Мудро, ничего не скажешь. Все-таки спутница вора да и другого серьезного злоумышленника — ночь. Потому и кара или возмездие жестче...

Вернулась оперативная группа. «Повязали» двух мазуриков. Увели мимо Дениса в какой-то из кабинетов. Там теперь начнется разбираловка. Все это знакомо и воспринималось, как трижды прочитанная газетная статья об экономике, не вызывая ни интереса, ни сочувствия. У них свое — работа.

Яровой поднялся со скамейки и независимо, даже несколько рисуясь, пошел к выходу. Как это много все-таки: прийти, уйти, безбоязненно переступая порог-границу, за которой для многих, попадающих сюда, круто меняется судьба, а для некоторых, отпетых, начинается конец.

На улице поочередно осмотрел окна здания с решетками на первом и даже втором этажах. Решетки, наверное, не столько от воров, или, как это принято в таких заведениях, отгораживания от цивильного мира, сколько из соображений удержания в кабинетах тех, кто способен сигануть в окно, если другого выхода не предвидится. Там, в кабинетах, бывает все. Иногда так припрут фактами, будто нож к глотке приставят. Факты... Факты... Один, прошедший через ОБХСС, рассказывал, как следователь зачастил с вызовами подозреваемых. Разошлет повестки и заставляет ожидать в коридоре, на скамеечке. Приглашает к себе, конечно, поочередно. И вот оказия: припирает такими фактами, что диву даешься его проницательности. Такое знает, о чем ни один из тех, кого вызывали, и во сне не расскажет. Стали искать провокатора. Кто-то же доносит! А ведь на скамейке, в ожидании вызова, среди своих, чего не скажешь! Через несколько дней нашли «виновного». Скамейка стояла возле какой-то неприметной отдушины, а в ней — микрофон. Технику, естественно, использовали уже в своих целях, но многих эти самые факты припирали намертво...

Когда к зданию милиции зачастили подъезжающие и пешие работники всех рангов и входная дверь не успевала отсчитывать каждого, Яровой тоже вклинился между лейтенантом и капитаном и переступил порог дежурки, намереваясь пройти в какой-нибудь кабинет. Там объяснят, что к чему. Наверное, «опер» уже появился.

— Еще не время! — остановил Дениса дежурный и опять показал на скамейку: — Ждите!

Яровой нехотя сел. На него мало кто обращал внимание. Если кто-нибудь из проходящих мимо и кидал слу-

чайный взгляд, то, вероятно, лишь от обычного человеческого любопытства. Их профессионализм не бросался в глаза. Такие же люди, идущие на работу — мужья, отцы. Одни серьезны, сосредоточены, другие веселы и беззаботны. Форма даже без учета знаков различия позволяла судить не только о служебном положении, но до некоторой степени и о самих носителях ее. Обратил на себя внимание лейтенант. Молод. Наверное, только что получил звание. Брюки отутюжены до остроты, ботинки — блеск. Одной щеткой, без бархотки так не надраешь. И рядом — растоптанные коричневые туфли, наверное, никогда не знавшие крема. И брюки сжеванные, со вздутыми коленями. Не хотелось бы попадать ни к одному из двух, но особенно к лейтенанту-педанту. Наверняка, буквоед и карьерист. Такой на следствии одними наводящими вопросами да уловочками всякими замордует.

Мимо прошли две женщины. Одна в форме старшего лейтенанта. Ступает мягко, как рысь. И хитра, должно быть, ничуть не меньше. Другая, подкованная, на шпильках, тверда и уверенна. Идет почти строевым шагом. Если она следователь, то прет дело как танк. Для такой был бы человек, а обвинение найдется...

Уже у другого, принявшего дежурство майора-бурята, Яровой спросил:

— Когда у вас принимают на регистрацию?

— Это — в восьмом. А насчет приема — у нас всегда принимают. — Майор с хитринкой в узеньких темных глазах посмотрел на Дениса.

— Что же, целый день сидеть здесь?

— Это от желания зависит. Можно и больше.

— А к начальнику на прием пускают?

— Он учетом прибывших из мест заключения не занимается, — снова стрельнули на Дениса два темных зрачка, ничего не предлагающие и равнодушные. Ну, хотя бы посоветовал, как быть, что делать! Дождешься тут! Вот разве что выставит на улицу. Ожидай там, дыши свежим воздухом. Но с другой стороны, какое дело «прибывшему из мест», — круглый ли, квадратный ли земной шар? У него свое, микроскопическое: стать на учет, приткнуться где-нибудь, не пребывать в «блаженном» неведении.

— Так что мне делать, майор? — спросил Яровой, ожидая, что его, как и «подобает», поправят: «гражданин майор»!

— Не пришел еще тот товарищ. Подождите.

Яровой поднялся со скамейки и, выйдя на улицу, на-

чал «проминаж» по тротуару. Пытаясь угадать в проходящих, кто из них тот товарищ, он все удлинял отрезки пройденного, пока, наконец, в следующий раз не оказался у киоска с пивом. Здесь, с утра, полным ходом шло утоление жажды. Став за парнем, седьмым по счету, и сглатывая слюнки, невольно появившиеся во рту, подумал: это то, что надо. Вскоре к парню, стоявшему впереди, подошли три молодых нахала. Нет, не спросили крайнего, не взглянули даже на Дениса, а втиснулись в очередь. Один, в рубашке крупными цветами и широким воротником, больше похожей на женскую блузку, пыхнул дымом от сигареты прямо в лицо Денису, будто в оконную форточку. Денис отступил на шаг, молча втянул ноздрями порцию дыма, перемешанного с перегаром сивухи. Взыграло что-то в душе, пытаясь вырваться на волю. Но спокойно... спокойно. И не такую наглость видывали, и не такое сносили. Пусть пацан порезвится-потешится, пока не ощутит запаха кровавых соплей. Да и вообще, что случилось? Невоспитанный ребенок... все шалит, пока кто-нибудь за такие шалости на пику не посадит, не образумит единожды, так сказать.

Другой из троицы, в голубой тенниске, подтолкнув плечом нахала, стоявшего возле Дениса, указал на противоположную сторону улицы. Там шел парень с сумкой. Все трое повернули головы туда, будто бараны на пробегающего рядом волка. Нахал, сунув в рот большой и указательный пальцы правой руки, свистнул. Парень с сумкой остановился и, увидев, что его зовут, подошел к ларьку.

— Привет! — дружески пожал руку свистун. — Куда шлепаешь?

— Да в магазин. За молоком.

— Дай на пиво. Вчера дрянь жрали какую-то. Калган дубовый.

— Да у меня трояк, — достал парень из кармана брюк деньги и как-то беззащитно раскрыл ладонь. — Счас разменяю.

— Давай! — сгреб трешку дымивший сигаретой — Тут на опохмелку еле-еле. На млэко возьми у маман.

Парень потоптался, соображая что-то, но тут же безнадежно махнул сумкой:

— Ну, я пошел.

— Пока! — уже без интереса через плечо бросил нахал.

Денис зло поджал губы, отчего шрам на лице посинел. От стиснутых зубов обострились скулы. Свистун на мгновение встретился взглядом с Ярым. Но.., выдержка, вы-

держка... даже если при тебе грабят.

— Что, батя, зыркаешь? — отвел взгляд нахал.

— Тебе, падла, козел вонючий, панты не ломали еще? — тихо, но внятно процедил сквозь зубы Яровой, едва приоткрыв далеко не добродушные губы и еще больше насупив ощетинившиеся лохматые брови.

— Ну, ты даешь! — мотнул головой «козел» и улыбнулся нагло, но трусовато.

Вся троица сразу сникла и то ли от пакостливой трусости, то ли под презрительным взглядом Дениса притихла.

Пить из пол-литровых банок парни не стали. Продавщица лет тридцати пяти, показавшаяся Денису вполне симпатичной, подала им два целлофановых мешочка с пенящимся пивом. Денис кивнул спросившему «кто крайний?», и на этот раз неприязнь или раздражение перекинулось на это — «крайний».

— Пиво навынос! — дошло до Дениса сказанное продавщицей, и он заметил, как она метнула взгляд на захватанные, со следами грязных пальцев банки.

Яровой, как опытный эксперт-криминалист, впился глазами в ярко выраженный отпечаток большого пальца на крайней из банок, прицепился к другим и молча отошел от окошка. Пить расхотелось. Не только отвращение к «триперным» стекляшкам, но и обилие отпечатков отбило охоту. Он уже давно на любом из гладких предметов «смазывает» отпечатки не столько из осторожности или страха, а по укоренившейся привычке. Опыт личный, выстраданный опыт. Один раз при всяком отсутствии вещественных доказательств пришлось «колоться» из-за отпечатков. Цена следов большого и указательного пальцев, оставленных на витрине, однажды обошлась в пять лет отсидки. Да и вообще — чужая посуда. Вспомнился один мужик — баптист, отбывавший «детский срок» — два года — за отказ принять присягу из-за того, что раз и навсегда присягнул Богу. Вот у кого надо было учиться не столько его божественности или, как там еще говорят, идеализму, сколько религиозной чистоплотности. Чтобы он да из чужой посуды поел — ни в жизнь! Как-то стянули шутки ради его собственную кружку, так он сутки не пил, не ел, пока Денис, пожелев страждущего, не раздобыл ему новехонькую.

Дойдя до здания отдела милиции, Яровой с тем же чувством независимости, с каким уже дважды входил, переступил порог, подошел к дежурному майору-буряту и «по знакомству» спросил:

— Появились, начальник, ваши регистраторы?

— Сегодня приема не ожидается.

— Что же мне теперь, в капэзэ твоем приписку просить? Ну и порядочки! Не в столицу же прошусь. Хотя почему бы и нет? Что они там, в столице, первосортнее других? Равенство в правах и культуре — для всех. Пиши, начальник, направление. Согласен жить и в Черемушках.

— Можно и приписать. Это просто, если выступать будешь, — ехидненько прищурил глаза майор и ухмыльнулся. — У нас на всякого мудреца — довольно простоты.

— Нет, начальник, твоя простота — хуже воровства, — отпарировал Яровой и спросил: — Завтра-то примут? Так и до нарушения какого-нибудь недалеко... раз такой прием. Взял бы да сам и зарегистрировал и на работу пристроил бы... пока я еще тепленький и потому покладистый... Первые дни даже змееныши кобры не ядовиты.

— Это почему? — поинтересовался майор.

— Да все потому же. Бог отпустил двенадцать дней каждому из его апостолов на добрые дела, а тринадцатый день — черту. Яд и появляется через тринадцать дней. Здесь ум, имеющий мудрость. Так сказано в откровении святого Иоанна Богослова. А еще сказано: не говори — пойди и приди завтра, ибо никто не знает, что родит день грядущий.

— Библию изучал?

— В зоне любой профессуры вдоволь. Любой факультет при желании закончить можно... До завтра, начальник!

Денис вышел на улицу с таким видом, будто там, у дежурного, оставил часть какого-то груза. Отметился — и ладно. Не его вина. Визит был нанесен.

11

На автобусной остановке Яровой зашел в подкатившую «семерку», бросил в кассовый аппарат пять копеек и, оторвав билет, устроился на «односпальном» сиденье, мягком и удобном до шикарности. И тут же взбрело на ум сравнение с «тачкой»-зековозом. В кузов, закрытый сверху арматурной сеткой, наталкивали по сорок человек. Сидишь впритирку на скамейке и не продохнуть. С двух сторон сжимают так, что ребра трещат. И подняться нельзя — решетка не дает. Да и конвой на специальной площадке между кузовом и кабиной нависает над решеткой. Чуть что — окрик. Пропрут, бывало, на стройку километров со-

рок, командуют выходить строиться, а тут и подняться невмоготу. Особенно тяжело зимой. Конвоиры — в тулупах до пят, в валенках, а у тебя под телогрейкой — душа. В дождь тоже не слаще. Так день за днем, год за годом. Зэки... нет, не то слово — узники. А ведь как бы там ни было, а заключенный — человек. Раньше или позже, если не загнется и не оденут его в деревянный бушлат, он отбудет свое и обретет права гражданства. И останется в памяти у него не сознание неотвратимости, не страх наказания лишением свободы, а ненависть и озлобленность. А еще — ревматизм или туберкулез. Живи и радуйся. Плати пять копеек, занимай мягкое кресло и любуйся окружающим тебя миром.

Автобус, поскрипывая на неровностях асфальта, довольно медленно продвигается от одной остановки к другой. С шипением открывались и закрывались двери, выходили и входили люди. И опять Денис обратил внимание, что пожилых или детей — мизерная доля. Остальные те, кому надо бы находиться где-нибудь на работе. Чем живут они, кто кормит их? Он отвернулся к окну. Автобус шел по центральной улице. Пестрели лозунги: «Досрочно выполним задание девятой пятилетки!», «Ударным трудом встретим 17-й съезд ВЛКСМ!», «Партия и народ — едины!». А с панно во всю боковую часть пятиэтажного дома на фоне развернутого знамени с изображением Ленина величественно и, как показалось Денису, равнодушно приветствовал всех тяжело поднятой рукой дважды героический Генеральный секретарь.

Остались позади пятиэтажки, витрины магазинов и прочие атрибуты центра города. Тротуар вдоль дороги оборвался тоже. Денис дождался очередной остановки и вышел из автобуса. Зачем это бессмысленное катание? Уж лучше побродить так. Через дорогу он увидел двухэтажное здание какой-то конторы и — почему бы и не попытать счастья? — направился туда. Дорожка из бетонных плит вела к щитам — стендам с портретами ветеранов войны и труда, передовиков производства, досками показателей работы строительного управления. Это есть и в зоне, без показа ветеранов труда, конечно. Но там все более красочно и доходчивей: поотрядно, побригадно, ежемесячно. Наглядность оправдывает себя, если ее преподнести с пониманием. Духом соперничества за первенство, заложенном во всем живом, пренебрегать не следует. Открытость и наглядность только на пользу. Правда, и соревноваться надо не только за большее количество кубов заготовленного ле-

са или квадратных метров жилья. Нужно, чтобы от этих кубов, квадратов и тонн была и соответствующая польза.

Объявлений о приеме на работу или хотя бы о наличии ее Денис не нашел ни на одной из многочисленных досок. Незадача. До этого казалось все ясным: есть руки, голова, специальность. Была бы, как говорится, шея... Для нее, шеи, в зоне хомутов предостаточно. Там кто-то постоянно заботится об этом. Там и работу дадут, и работать заставят... И прокормят,и спать уложат, если даже тебе и не до сна.

В отделе кадров разговор был короток:

— Сварщик?

— Да.

— Пишите заявление. — И тут же, как обухом в лоб:— Прописка есть?

— Нет.

— С улицы не берем.

— Но я же не бродяга! Ну, освободился только... Куда мне идти?

— В милицию. Без прописки принимать запрещено.

Чем, ну чем она, эта кадровичка, лучше по исполнительности инструкций, чем надзиратель тюрьмы? Почти то же: «Инструкцией не положено, запрещено!»

На улице он снова, теперь уже от нечего делать, остановился у доски ветеранов, принялся рассматривать одного за другим, перевел взгляд на женский портрет.

Кто и когда придумал такую систему приема на работу? Кому это нужно и выгодно? Предприятию требуется человек, а его принимать нельзя. Наверное, чтобы с ходу не стал квартиру требовать. Или другое: вдруг он, этот новенький, упрет железобетонную панель — и тю-тю! Где его, без прописки, отыщешь с грузом? А ведь на работу же пришел, трудиться, а не инструкции сочинять! Вот тебе и право на труд!.. Ветераны молча глядели с фотографий...

Забор рынка пестрел объявлениями. Предлагались обмены жилой площадью, продавались щенки, пианино, мебельные гарнитуры, какие-то стенки, мотоциклы. В этом наборе почерков и шрифтов пытался Денис отыскать и для себя: какую-нибудь хатку внаем да приглашение на работу. Но... «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — все суета!...»

У закрытого на висячий замок входа на рынок на тарных ящиках, чурках и банках располагались торговки и торговцы цветами, огородной зеленью, огурцами... малосольными огурчиками! Тут же из мешков стаканами про-

давались семечки. В один из мешков была воткнута палка с привязанной к ней шнурком картонкой и надписью каракулями: «Семечки вкусния». Чуть дальше еще: «Кубанские семечки самые вкусные». Вот ведь как! А на взгляд и не различишь, будто и те, и другие — из одного поля. Но — реклама. И тащатся же люди с этими клунками через всю Россию в Сибирь! Что гонит их; что побуждает оставлять дом, работу? Наверное, не скоро можно стаканами распродать мешок семечек. Сколько же там стаканов?

— Дай-ка, молодая, на один зуб! — протянул двадцать копеек Денис «кубанке».

— Тридцать надо!

— Тридцать?! Ого! Это же три рубля на старые деньги!

— Вспо-омнил! — улыбнулась «кубанка».

— Так ведь на старые-то деньги, помнится, за стакан платили столько же. Не тридцать, а двадцать копеек.

На деревообрабатывающем заводе, у проходной, на доске объявлений увидел сразу: «Предприятию требуются станочники, столяры...» Дальше читать не стал. Все едино. Эти науки тоже пройдены: два года пилорамой «командовал», затем на фуговочный перешел. Фуговочный все же теплее и полегче, если не сказать — покультурней. Хорошо выструганная доска, что картинка: вся текстура древесины как на ладони. От каждого годового кольца тянется во всю длину, до последнего сучочка, линия жизни. А она, жизнь, и для деревьев не всегда сладкая. Иногда ну до того скудненький прирост, будто весь лес в штрафном изоляторе томился. Сорок пятый и сорок шестой годы, напротив, выделяются особо: темно-красные, почти слившиеся воедино, сочные прожилины — отметины Хиросимы. Отозвались деревья, запечатлели в телах своих варварство людей...

Отдел кадров находился на втором этаже, но Денис прошел мимо. Решил — к самому. Тут же вспомнил, как такой же «заслуженный», но куда более блатной пришел устраиваться на работу — и к секретарю: «Привет, птаха! Медведь в берлоге?» — «Кто?!» — «Хозяин, говорю, дома?» — «Сейчас узнаю». — «Тогда зачем ты здесь чирикаешь?» — и к директору в кабинет. «Привет, начальник! Рабы нужны?» — «Кто-о?» — «Ну, эти, кроты, что с лопатами вкалывают?» — «Нет, ни рабы, ни кроты не нужны». — «Значит, недобазарились. Тогда в гробу я видел тебя с твоей фирмой!».

В приемной весело выстукивала на пишущей машинке женщина, никак не напоминавшая «птаху». Приемная —

одно назнание: два стола, заваленных бумагами, сейф, три стула. Направо, на двери, — стекляшка с надписью: «Главный инженер». Левая дверь обита черным дерматином с куда более внушительной табличкой: директорская. Выделялась надпись: «Прием по личным вопросам: вторник и четверг с 17 до 19 часов».

Войти к директору секретарь разрешила без проволочек, кивком головы. «Хозяин» сразу пригласил сесть, но Денис сразу положил на стол три удостоверения о специальностях.

— Сварщик позарез нужен, — открыв первое из удостоверений кивнул директор. — Дайте трудовую.

— Нет трудовой.

— Совсем нет?

— Совсем. В зоне трудовых не дают. Справка есть.

— И прописки нет?

— Нет. — Денис чуть было не добавил: «начальник». Вот оно, повторение пройденного! Сейчас даст от ворот поворот. Пора врубать задний ход.

— Значит, вы оттуда, — кивнул неопределенно за окно директор.

— Да... Воспитывался у хозяина.

— Понятно. — Директор помолчал, затем нажал кнопку звонка и в приоткрывшуюся дверь сказал: — Отдел кадров пригласите, пожалуйста. — И уже Яровому: — Ситуация... С милицией все улажено, трений нет?

— Трений нет.

— Трений нет или не улажено?

— На учет стать не успел.

— Понятно.

Для Ярового это «понятно» прозвучало, как приговор. Вот и удостоверения подает назад... Понятно!

Денис с чувством обреченного сунул документы в левый карман брюк, по лагерной привычке, забыв, что на нем костюм с массой карманов. Вот он, официальный прием. Сейчас прибудет отдел кадров и, как в суде, зачитает то, что обжалованию не подлежит. Инструкция!.. И пнут, как старую псину...

В кабинет вошла женщина, и директор распорядился:

— Дайте товарищу справку для милиции, что мы обеспечим его работой по специальности... и общежитием.

«Товарищ...» Всю-то жизнь, сколько помнит себя, слышал: «гражданин», чаще — «заключенный». А тут — товарищ... Яровой ощутил, как спазмы сжимают горло.

12

Вечером сидели за кухонным столом, как и вчера, как и сегодня утром. Та же закуска: рыбная консерва, свиная тушенка, колбаса да хлеб. Только вместо коньяка — водка. Вид стола не шикарный, без сервировки, но — от пуза.

К рассказу Ярового о своих похождениях Солодкин отнесся с вниманием. Денис хотя и коротко, но вполне подробно поделился всем, что слышал и видел. И только о чувствах в кабинете директора завода умолчал. Такое не для ушей других. Да и передать ли все, что ощутил, что передумал за этот день?

Солодкин посетовал, что мало еще сидит в директорских и прочих креслах настоящих, деловых людей. От Дениса, однако, не укрылось и то, с каким интересом слушал Степан о милиции. Правда, вопросов не задавал, но так поддакивал, будто хотел вытянуть и то, чего не было.

Когда разлили в стаканы остаток водки из первой бутылки, распитой по случаю «обмывки» справки о работе, Солодкин подвел итог:

— Оно и к лучшему.

— Что? — не понял Денис.

— О работе я... Если бы трудоустройство началось через милицию, то у тебя пропал бы весь смак. А тут — полное самоутверждение. Прямо-таки везуха.

— Ментовского кабинета не обойти... Ну да ладно... Хочу выпить за здоровье директора. Настоящий мужик... с понятием... без высокомерия. Такой ни словом, ни взглядом не унизит. И сам не даст повода унизиться. Понимаешь, не был я у него просителем... Хотя в моей шкуре...— Денис не договорил, чокнул своим стаканом о краешек стакана, стоявшего перед Солодкиным, и выпил.

— Это называется — отбыл свое, — подыграл Степан, но в его взгляде Денис не уловил сочувствия.

Даже эта постоянная ехидненькая ухмылочка, то с оттенком превосходства, то откровенно жестокая, были далеки от душевности... Наверное, и жена сбежала не зря. Трудно, должно быть, уживаются женственность и лицемерие. А вообще, судя по рассказам, женщины любят таких — напористых, хамовитых. Они не ходят вокруг да около, выжидая, пока перед ним раскошелятся. Это лишь в Святом писании Ева соблазнила Адама яблоком. В жизни все не так, если даже учитывать, что женщина — умелица в любви. Она ласками своими и мертвого из гроба поднять может.

— Они там, в милиции, на этот счет правы,— после раздумья ответил Денис на замечание Степана.— Можно не согласиться с их паспортным режимом, потому что всякий режим ограничивает свободу. А вот знать, кто к ним пожаловал, надо. Любой профессионал работает чище и лучше всякой мелюзги, не подлежащей учету. У него — свои методы... да и привычка... навык. Значит, копирование приемов, или, как там они выражаются, идентичность не исключается... Любой из нас на деле разве не учитывает, не проигрывает мысленно все ситуации, с учетом мелочей, на которых уже горел? Но нет же: делаешь, как тебе сподручней, привычней. Следишь и преподносишь презент. Тут и дураку понятно: почерк того-то, находится он там-то. Вот для этого, чтобы держать нас под наблюдением, и выдумали регистрации. Так меньше канители: живая картотека...

— Плюнь ты на все. Надо жить проще!

— Ты-то просто живешь? — Яровой снова возвратился ко вчерашней теме. Его подмывало если и не разоблачить в чем-то Степана, то дать понять, что он, Денис, с его опытом насквозь видит все.

— Не совсем просто, но, как видишь, в достатке, — выдержал взгляд Ярового Солодкин.

— Тревожно жить так... Душе тяжело. По мне, так лучше срок отбывать, чем ожидать его.

— Сно-осно! — ухмыльнулся Степан.— Ну что для меня милиция, которая меня бережет, какая от нее может быть угроза мне? Ну, за липу в документах на административную комиссию потянуть могут. Опять же это легко убирается... Вот так-то.

— Себя не переделаешь...

— Ну, Ярый, ты столько же мудр, сколько и наивен!— Солодкин покрутил головой и снова помахал указательным пальцем левой руки, будто перед нашкодившим ребенком.— Себя переделывать не стану. А тебе, пожалуй, переделка нужна. Кто ты, что ты сейчас?

— Гость.

— Допустим. Но на тебе обычный ширпотребовский малахай, в каком я и на работу хожу не всегда. И — ни часов, ни трусов. Купюры, как я понимаю, привез тоже не миллионные.

— Кое-что есть.

— Два, три куска? Но это же... — Солодкин поднял перед собой ладонь, будто взвешивая воображаемую сумму.— И до первой твоей трудовой получки, как до бога,

— Малые заработки?

— Ровно столько, сколько требуется для тех, кто обжился мал-мал... Хватает, наверное, если не пить, не форсить, не модничать и прочее «не».

— Вкалывать буду, пока здоровья хватит...

— А потом? Пенсион тебе не светит. Да и вкалывать... Хоть лоб расшиби. На страже твоего рубля — профсоюз, заботящийся о твоем драгоценном здоровье. Переработки не разрешает и этим же вредит мне дважды: ограничивает мое желание работать сколько хочу, и лишает меня заработка, на который я мог бы лучше питаться, одеваться и вообще — быть здоровым. С другой стороны, уравниловка давит. Вкалываешь — двести колов в месяц, по углам шатаешься — тоже двести. Вздумаешь поднажать — нормы выработки повысят. И снова — двести. Работяга уже приучен к сдельно-часовой ставке. Была бы восьмерка в табеле... Во-о, прогресс! О нем шумят, к нему призывают и ему же вредят.

— Зачем ты мне об этом? — Денис пожал плечами. — Запугиваешь трудностями? Я их видел. Хуже, чем тюрьма, нет ничего. — Он вспомнил сырую и серую камеру, холодную и голодную. От завтрака до обеда — целая вечность. С ужина до завтрака — еще труднее. Мысли — только о еде, во сне — только еда. Терпеть можно, конечно. Голодной смертью не умрешь. Но когда собственное тело собственные запасы калорий перерабатывает, — жизнь в тягость.

— Ничего я не запугиваю. Хочется высказать наболевшее. Тебе могу. Другие могут понять не так... Идейных много. А сами же шушукаются, анекдотики пересказывают. И — хоть трава не расти. Хочешь, быль расскажу, какая теперь бдительность и как с ворами борются? Упер мужик кассу. Несет в мешке через лес. Подходит к железной дороге. Только к насыпи, а из кустов: «Стой! Назад!» Мужик и обмяк. Кое-как вернулся к кустам. Все, влип! Минуту стоит, пять минут, десять. Нигде никакого движения, будто все вымерло. И вот мимо на всех скоростях — поезд правительственный. Прошел. А из кустов мужику: «Теперь иди!».

— Для меня, Степан, половина твоих разговоров — темный лес, — искренне сказал Яровой. — Работать на воле мне не приходилось. Жизнь трудовую почти не знаю. Вот как устроюсь... Это же представить надо: не поведут, не погонят, а сам пойду на работу!

— Эх, такой вор пропадает! Печально! — Солодкин с показной грустью покачал головой.

— Не пойму, Вьюн, чего ты темнишь?

— По-моему, тебе надо бы все-таки сколотить маленький капиталец... Чистые купюры, конечно, добыть трудно, а вот барахлишко... Те же часы-трусы...

— С перспективой новой отсидки? А ты знаешь, какие там наступают порядки? Капитальная зажималовка. Наверное, скоро зачеты наоборот будут: год отбудешь — три покажется... Лучше уж без трусов...

— А ты сыграй. В моей игре все билеты счастливые, — напирал Вьюн.

— А куда же пойдут проигрышные? Не-е, мне больше играть ни к чему, — замотал головой Денис.

— Резко бросать и врачи не советуют...

— Значит, ты — добренький. Сыграть советуешь? Но тебе-то зачем? У тебя же — достаток!

— Запас карман не тянет, — рассудил Солодкин. — Мне тоже кое-какая дотация нужна. А тебе и подавно.

Яровой взял вилку, придвинул к себе банку с тушенкой, немного поел без хлеба и тут же, отломив от коробка спичек тоненькую пластинку, стал выковыривать из зубов остатки пищи. Солодкин закурил снова.

— Знаешь, какая дотация мне будет на суде? — закончив ковыряться в зубах, спросил Яровой и сам же ответил: — Так дадут по рогам и ногам, что уже никто не узнает, где могилка моя.

Солодкин затянулся, бросил коробок со спичками на стол, будто метнул карту:

— Выигрыш из ста — сто!

— Никакой радужной перспективы на этом поприще я уже не вижу, — спокойно ответил Денис. — По опыту знаю: сколько брал, столько и попадался... Ну, не за один раз, конечно... Черт знает, что за невезуха! Не брал же специально, чтобы замели...

— Да, да! — подыграл Солодкин. — Специально, ясное дело, никто не лезет, разве что замести следы чего-то покрупнее. А тебе действительно не везло... На этот раз Фурия будет доброй.

— Ты о фатализме слыхал? Ну, о судьбе. Так вот, преследует меня злой рок. Уж всяко-разно следы заметал...

— Плохой из тебя дворник, — не дослушал Степан и с оттенком превосходства заметил: — Нас-то чаще всего и накалывают, когда стараемся следы замести. Это от незнания противника и его методов работы. Чаще надо ста-

вить себя на их место и с той, ихней позиции, смотреть на свою работу. Тогда и переиграть сыщиков не так уж и трудно. Опять же, если схватили, тоже не поднимать лапки кверху. Да и потом, когда знакомишься с делом, используй в полной мере то, что накуролесил при расследовании, но не выискивай мелочные неточности. Кто-то хорошо сказал, что, вылавливая блох в шерсти бешеной собаки, не избежишь укуса ее. Из этого следует, что ошибки надо искать не в пунктуации, а в методах расследования, в том, какими материалами вина не доказана. Очень полезно и на срок влияет капитально. Мелочи суд уточнит, а вот ошибки в расследовании дают шанс расшатать дело, вызвать недоверие к обвинительному заключению следователя...

В доме еще долго горел свет. Еще долго говорил Солодкин, но вторая бутылка с водкой так и осталась неоткупоренной: никто больше не хотел пить.

(Окончание следует)

Николай Дмитриевич Сиротенко родился в 1935 году в селе Сиротенки Полтавской области. После школы механизации работал трактористом в МТС. Служил на Тихоокеанском флоте. Учился в Дальневосточном университете. Работал в строительстве прорабом, начальником участка.

Публиковался в «Литературном Иркутске», «Сибири».

Живет в Усолье-Сибирском.

Владимир КАРПЕЦ

ВОСКРЕСЕНИЕ СЛОВУЩЕЕ

Сорок шесть лет прошло со времени окончания Второй мировой войны, которая для России стала войной Отечественной. Еще недавно память о военном подвиге постепенно превращалась в партийно-государственный «культ», ибо явно не укладывалась судьба русская ни в «идеальный», ни в «реальный» социализм, и нужна была живая святыня. И нельзя уже становилось без нее править, хотя сами правители десятилетия назад и стали правителями именно как отрицатели всяких святынь. И вот сегодня, когда мы стучимся под окном европейского дома, когда культ Победы явно свели на нет, когда ветеранам — всем без разбору — выдали по ордену, а молодые нахалы в очереди все чаще им тычут, дескать, не лезь, сталинист, вперед — да, именно теперь приходит пора разобраться не в военно-стратегическом и не в политическом, а именно в духовном смысле происшедшего сорок пять лет назад.

«Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне»,— написала Анна Ахматова, когда началась война. Что же лежало на весах и что совершалось?

Для православного христианского сознания смысл истории — в соединении человека с Богом, в воссоединении первоначального замысла творения на новой земле и новом небе, в уничтожении греха и смерти, что произойдет после второго и славного пришествия Христова. Это пришествие должно упразднить в мире всякое зло, чему будет предшествовать наибольшее за всю историю его сгущение, уплотнение и сосредоточение под личиной антихриста, «человека беззакония», который короткое время будет осуществлять всемирную власть, выдавая себя за Бога и Христа Его (слово, «анти» по-гречески означает не только «против», но и «вместо»). Приходу этого политического и религиозного самозванца, вместовластителя, предшествует всеобщее развоплощение, рассотворение мира на всех его уровнях древнееврейское «аваддон», «шеол», греческое «танатос» или «энтропия», стремление к небы-

тию. В современном словоупотреблении это не что иное, как «мировая революция», «перманентная революция», по К. Марксу, которая действительно происходит на всех уровнях. Отсюда революции политическая, социальная, сексуальная, психологическая, генная и так далее, имя же им легион. Еще в 1871 году К. Маркс приветствует парижских коммунаров, провозгласивших: «Наш враг — это Бог. Ненависть к Богу — начало премудрости».

Что же в конечном счете препятствует мировой революции и рассотворению мира? Ответ на этот вопрос в апостольских посланиях и святоотеческих книгах. «Да никто же вас прельстит ни по единому же образу яко же приидет отступление прежде, и откроется человек беззакония, сын погибели, противник и превозносяйся паче всякого глаголемаго боги или чтилища, якоже ему сести в церкви Божией аки Богу, показующе себе яко Бог есть. Не помните ли, яко еще живый у вас имя глаголах вам; И ныне удерживающее весте, во еже явитися ему в свое ему время. Тайна бо уже деется беззакония, точию держай ныне, дондеже от среды будет: и тогда явится беззаконник, его же Господь Иисус убиет духом уст своих, и упразднит явлением пришествия Своего». (2 Сол, 6—7). В толковании святых отцов — св. Ефрема Сирина, св. Ипполита Римского, св. Иоанна Златоуста и других «удерживающее», «держай», с одной стороны — благодать Святого Духа, с другой — «некое царство», которое они исторически отождествляли с Римом. В дальнейшем, еще до разделения, Церковь после гибели Рима осознала царство в движении во времени.

«Когда прекратится существование Римского государства, тогда он (антихрист) придет. И справедливо. Потому что, до тех пор, пока будут бояться этого государства, никто скоро не подчинится антихристу; но после того, как будет разрушено, водворится безначалие, и он будет стремиться похитить всю и человеческую, и Божью — власть». (Св. Иоанн Златоуст. Четвертая беседа на II послание Апостола Павла к Фессалоникийцам.)

«Удерживающий» сохраняется до самого конца видимого земного мира, о дне и часе которого знает только Бог Отец. Мироздание, космос, части которого история и политика, построено по законам иерархии и преемства. Преемственно и «некое царство», на которое возлагается вопреки ветхой, греховной природе самой государственности, крест мирового «обрега», защита Церкви, уготованной во сретенье Христа грядущего. Пути истории оказались таковы, что хранительницей Православной Церкви оказалась Византия, а с падением ее — Россия, единственное сохранившееся православное царство. В этом и только в этом смысл идеи Третьего Рима. Россия стала «удерживающим». Это всегда понимали все революционеры: «Ни одна революция в Европе и во всем мире не сможет достичь окончательной победы, пока существует тепе-

решнее русское государство». Так писал не кто иной, как Ф. Энгельс[1].

В начале XX века в Европе из числа российских эмигрантов была составлена марксистская «партия нового типа». Эту партию, названную «рабочей», хотя рабочих в ней тогда не было, направили на захват России. В апреле 1917 года ее руководители были тайно, воровским путем привезены в страну в пломбированном вагоне через воюющую страну и в октябре «подобрали» упавшую еще в феврале верховную власть. Зверское убийство в июле 1918 года царской семьи открыло бесчисленный ряд мучеников и убиенных несравнимо больший, чем в древней Церкви. А ведь именно на крови мучеников стоит Церковь — онтологическая ось всего мироздания столп и утверждение Истины. Кровь новомучеников и исповедников российских убелила русскую землю, омыла ее прежние согрешения и является залогом и началом русского и всеобщего воскресения из мертвых.

Россия историческая становилась Россией эсхатологической. Началось видимое отделение зерен от плевел. В то же время окончательного исполнения сроков в революции 1917 года не было. «Удерживающий» оказался не отнят, Третий Рим существует прикровенно. Об этом свидетельствовала Сама Царица Небесная через Свою чудотворную икону, именуемую Державная.

Явление произошло 2 марта 1917 года, в день отречения от престола Государя Императора. Таким образом Пресвятая Богородица как бы показала, что с уходом видимой законной исторической власти Она Сама берет в руки судьбы России. Вот как все это произошло. Крестьянка Бронницкого уезда деревни Починок Евдокия Андрианова, проживавшая в слободе Перерве, услышала 13 февраля таинственный голос во сне: «Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять, сделать красной. И пусть молятся». 26 февраля, после усердных молитв, Андрианова увидела во сне белую церковь, в которой величественно восседала Женщина: в ней Андрианова почувствовала всем сердцем Царицу Небесную, хотя и не видела ее святого лика. После этого 2 марта Андрианова отправилась в село Коломенское и рассказала там священнику о своих сновидениях. Священник показал ей все старинные иконы Богоматери, находившиеся в храме и на иконостасе, но ни в одной из них Андрианова не нашла никакого сходства со своим сновидением. Тогда священник велел принести из подвала самую большую икону. Икону принесли, промыли от многолетней пыли, и тогда всем присутствующим представилось изображение Божией Матери как Царицы Небесной, величественно восседающей на царском престоле в красной порфире с венцом на голове, со скипетром и державой в руках и с благословляющим Бого-младенцем на коленях. Андрианова со слезами повергласъ ниц пред пречистым образом Богоматери, прося причт отслужить благодарственный с

акафистом молебен.

С того момента стала распространяться слава о святой иконе по всем окрестностям, и большие группы богомольцев начали посещать Коломенское. Узнали о Державной иконе и в других местах в России. По молитвам перед иконой Владычицы посылаются обильные благодатные дары.

О том, что Царь-Мученик Николай II отдал свою власть над Россией Царице Небесной и земли, свидетельствует кондак Державной иконе Божией Матери: *«Взбранной Воеводе, Заступнице нашей Державной, песни благодарственныя приносим о даровании нам иконы Ея святыя, ею же ограждаемы, ничесоже устрашимся, не от человек бо спасение наше, но Преблагословенныя Владычицы милосердием. Тем же днесь радуемся и празднуем светло, яко прииде Державная на страну земли Своея».*

На уровне же земном нашу страну постигло величайшее бедствие за всю ее историю, включая и трехсотлетнее ордынское иго, не принесшее с собой таких жертв и разрушений. Кто и что оказалось причиной всего этого? Внешние силы, которым легче всего, а главное, доступно и способно «овладеть массами», или же подлинные причины трагедии лежат в иной плоскости? В старых требниках на вопрос о том, может ли человеку вредить колдовство, содержался ответ: «Не может, аще праведен».

Разобраться во всем происшедшем мы сможем лишь на пересечении политологии и аскетики, иначе говоря, жизни и смерти, мысля о событиях, «держа ум свой во аде». Попытаемся это сделать.

Политическая власть в любом государстве всегда едина и неделима, имеет монадическую природу и подчинена простейшим законам политики, открытым и описанным еще Аристотелем в его «Афинской политии». Понятие разделение властей противоречит само себе. Власть или есть — или ее нет. Разделено может быть управление, то есть промежуточные ступени между властью и подвластными. За самой же властью всегда стоят невидимые сущности — ангел-хранитель данного народа или, если нечестивая власть попущена Богом за народные грехи, — сущности демонские, бесовские. Невидимые сущности способны принимать образ той или иной идеи. Как говорили русские государствоведы евразийской школы — идеи-правительницы.

На протяжении многих веков в России существовала самодержавная наследственная монархия, которая в своих основах сложилась к середине XV века, в конце XVII и XVIII веках пережила болезнь абсолютизма, а в конце XIX века возродилась в первозданной чистоте и вывела Россию в ряд великих мировых держав. Не будучи ограниченным юридически, самодержавие было ограничено Божественным законом через личную веру Царя — Помазанника Божия. Слово Церкви — единственный незыблемый для Царя закон. Царская власть — не благо, не

привилегия, а тяжелый крест, к которому наследник престола готовится с колыбели. Первообраз Самодержавия — Царь, склонившийся к ногам святого. Таким Царем и был последний российский император Царь-Мученик Николай II. «Известно, — пишет о посещении Государем одного из наиболее почитаемых русских старцев начала века современный автор,— что старец Варнава не только подтвердил уже известное Государю пророчество о предстоящей ему судьбе, но и благословил его принять эту участь, укрепив в нем волю к несению своего креста, когда Господу угодно будет этот крест на него возложить»[2]. Слушанием голоса Святой Руси было для Государя прославление мощей Серафима Саровского, второго после преподобного Сергия небесного хранителя русской земли. «Великая Россия, — писал в книге «Памяти последнего Царя» архимандрит Константин, — в зените своего расцвета радикально отходила от Святой Руси, но эта последняя как раз в это время в образе последнего русского Царя получила необыкновенно сильное, яркое, светоносное выражение». Это раздвоение в конечном счете и привело к отделению, но только не Церкви от государства, как провозглашалось, а государства от Церкви.

С октября 1917 года верховная власть в России принадлежит коммунистической партии в ее целом, все же государственное по имени от советов до министерства относится к области управления. Известно высказывание Ленина о том, что роль «передового бойца» (иными словами, власть предержащего) может осуществить только «партия, руководимая передовой теорией (выделено мною. — В. К.). Таким образом, для самой партии теория, то есть абстрактная невидимая сущность, первична. Абстрактный означает не имеющий лица. В христианской аскетике и преданиях разных народов мира, лица не имеют падшие сущности, бесы.

Вожди партии так же подчинены теории — они могут иметь разные мнения по отдельным вопросам и даже вести между собой борьбу, но по вопросу о самой теории марксизма никаких разногласий быть не может. В то время, став силой государственно-властной, партия неизбежно «подключилась» к отношениям естественно-человеческим, начала к ним «прививаться». У Н. А. Бердяева есть выражение «экзистенциальная диалектика божественного и человеческого». Для партии же это соотношение переходит в плоскость «экзистенциальной диалектики человеческого и сатанинского».

Первоначально созданная для поджигания с захваченной русской земли всемирной революции, партия с первых дней своей власти столкнулась со множеством неудач, которые начались с захлебнувшегося похода на Варшаву. «Мировой пожар» разжечь не удалось, революции в Баварии и Венгрии были одолены национальными силами, гоминдановский Китай также пошел своим собствен-

ным путем. И тогда чисто по-человечески не желавшие терять власть большевистские вожди решились на «построение социализма в одной, отдельно взятой стране». Это стало первым столкновением абстрактно-сатанинского с человеческим в истории партии. Выраженная тем же самым «птичьим языком» марксизма идея социализма в одной стране совершенно не соответствует всему, что «начертали» Маркс и Энгельс. Именно это и было подлинной причиной (поводы не в счет) внутрипартийной борьбы 20-х годов. В конечном счете это была борьба тех, кто продолжал видеть в России порох для мировой революции, и тех, кто оказались у власти над шестой частью мира. Эти последние были не прочь усвоить себе некоторые привилегии и начать сплачиваться в «новый класс» — номенклатуру, что и дало возможность Троцкому, самому последовательному продолжателю Маркса, упрекать сталинское руководство в «термидоре» — перерождении революции. Начиная с так называемого «ленинского призыва» 1924 года и на протяжении последующего десятилетия значительно изменился и состав партии. До сих пор ее костяк, «тонкий слой», по Ленину, составляли «профессиональные революционеры», то есть, люди без отечества, места жительства и определенной профессии. С середины 20-х годов «потекли» отовсюду хотевшие выжить. Потекли со всей побежденной России, но это была уже, собственно, не Россия. Мозг страны— офицерство, ученые, писатели — оказались в эмиграции; сердце ее — духовенство и монашество — в лагерях. Уже в 20-е годы был уничтожен генофонд народа; «на размножение» оставили тех, кого легко было сломить, купить или споить. Возник совершенно иной антропологический тип, полностью отличный от дореволюционного. «Русский народ в целом совершил великие грехи, явившиеся причиной настоящих бедствий, а именно, клятвопреступление и цареубийство. Общественные и военные вожди отказали в послушании и верности Царю еще до его отречения, вынудив последнее от Царя, не желавшего внутреннего кровопролития, а народ явно и шумно приветствовал совершившееся, нигде громко не выразив своего несогласия с ним. В грехе цареубийства повинны не одни лишь физические исполнители, а весь народ, ликовавший по случаю свержения Царя и допустивший его унижение, арест и ссылку, оставив беззащитным в руках преступников, что уже само собой предопределяло конец». (Акт Всезарубежного Собора, 1933, Югославия.) Печать этого «конца» пала на лица. Достаточно просто взглянуть на фотографии людей до и после 1917 года — изменение внешности людей поразительно и почти мгновенно. Участие в грехе цареубийства и отречение части народа от веры, участие в атеистическом беснования наложили на эту часть своеобразную печать умалишения (дебильности). Огромное количество рождающихся у нас дебильных детей — следствие не только и не столько

пьянства, сколько родовой нераскаянности. Да, это не весь народ, но значительная его оставленная в живых часть.

Замечательно это изменение лица показано в фильме А. Сокурова «Одинокий голос человека». Перед зрителем проходят дореволюционные фотографии семьи героини, гимназистов, юношей из инженерного училища, а в конце фильма — лица людей 1920 года в городе, куда приходит Никита Зотов, — страшные, расплывшиеся фигуры дворника и его жены, перемежающиеся с бессмысленной работой крупным планом снятых простых механизмов...

С начала 30-х годов в партии появилось слово «кадры», костяк. Этим словом обозначалось и до сих пор обозначается ее основа, костяк. «Кадры решают все» (Сталин). Сущность любого явления лучше всего выражается в языке. Корнесловие обнажит смысл, проявит его. «Кадры ж. или мн. кадры, собр., твр., бран. шваль, шушваль, дрянь-народ (падера, падра? или катра, каторжный?) (В. И. Даль. Толковый словарь великорусского языка.) Большая часть «кадров» — выходцы из наиболее духовно не крепкой, не совестливой части бывших крестьян, в основном батраков, перекати-поле. Это были люди совершенно иного склада, чем первоначальный «тонкий слой» партии. В семейном быту они еще сохранили остатки старой нравственности, накопленной за множество поколений. Отсюда неожиданно возникший в противовес групповым комсомольским общежитиям культ «крепкой советской семьи», чадородия и супружеской верности, запрещения абортов и появление в партийном словаре понятия «аморальное поведение». Но в делах общественных «кадры» вполне усвоили нравы «тонкого слоя»: «без проблем» могли «пустить в расход», донести, въехать в квартиру какого-нибудь выселенного или «пущенного в расход» и т. п. «Кадры», чтобы получить доступ к партийному пирогу, обязаны были пройти через «лигитимацию» марксизмом, более того, именно они стали самыми оголтелыми «цепными псами» идеологии. Но именно «кадры» стали главными носителями идеи социализма в одной стране в то время, как «тонкий слой», слившейся с руководством Коминтерна, по-прежнему стремился к мировой революции. Борьба между «тонким слоем» и «кадрами» окончилась в 1937 году решающей победой «кадров».

Итогом победы «кадров» на социальном уровне стало повторение извечной закономерности: «Оказалось, что это новое общество живет и держится только потому, что не осуществляет своих иллюзорных основ, а действует вопреки им и в новой форме воспроизводит основы старого общества»[3]. На уровне политическом, по выражению П. В. Струве, СССР стал «обезбоженным и обездушенным универсально-крепостным государством, организационно весьма близким опыту древней Москвы, только с обратным духовным знаком». «Форма нашего коммунистического общества создана нами лишь для того,

чтобы бороться против влияния любой религии на сознание рабочих» (В. И. Ленин)[4].

«Союз воинствующих безбожников» имел первичные организации в каждом селе, в каждом цехе, и членство в нем простых тружеников стало потом так же обязательно, как и членство в партии для «начальства». По распоряжению тогдашнего наркома иностранных дел М. М. Литвинова (кстати, старый революционер) каждый работник дипломатического ведомства должен стать членом этого Союза. И вместе с «ленинской гвардией», угодившей в ГУЛАГ в 1937-38 годах, острова этого архипелага равномерно и по геометрической прогрессии полнились духовенством и мирянами Русской Православной Церкви вплоть до 22 июня 1941 года. Здесь надо помнить, что главный удар по Церкви был нанесен уже в первые годы революции. Так, только за июнь 1918 — январь 1917 годов убит митрополит (Владимир Киевский), 18 архиереев, 102 священника, 154 дьякона, 94 монаха и монахини; закрыто 94 храма и 26 монастырей[5]. Но из года в год гонения не ослабевали ни на месяц. Например, в 1933 году 60 священнослужителей были, расстреляны на берегу Лены. Каждый на вопрос: «Есть ли Бог?»— ответил: «Да, Бог есть»— и после этого получал пулю.

1939 год был объявлен годом заключительного этапа ликвидации легальной Церкви (то есть подчиненной формально разрешенной Московской Патриархии) — действующими остались около 3% храмов. Эти храмы так и назывались — «показательные». Вторая, а затем и третья пятилетки были объявлены «пятилетками атеизма»: последняя церковь в СССР должна была закрыться в 1937 году, потом это закрытие перенесли на 1943 год.

В народе порою говорят, что у сатаны две руки. И если Императорская Россия (но не Святая Русь!) была растоптана интернационал-социализмом, то вскоре, вроде бы в борьбе с ним, в Европе же, возник национал-социализм, провозгласивший, что социализм советский есть следствие христианства и прямое его продолжение.

О соотношении социализма и христианства хорошо писал русский философ и государствовед Лев Тихомиров: «Космополитизм нового общества, таинственная народная воля, будто бы насквозь его пропитывающая, всем непонятно управляющая и при всех частных ошибках остающаяся непогрешимою — все это отголоски христианской церкви. Это на всех пунктах «Царство не от мира сего», втискиваемое в невмещающие его рамки именно «сего мира» (...). На этом-то однако и ошибается нынешний век. Он не понимает, что из христианства нельзя выбросить его мистического начала, не уничтожая тем самым социального значения создаваемой им личности... Она остается тогда с безмерными требованиями перед крайне ограниченным миром, не способным их удовлетворить (...). Христианин без Бога вполне напоминает Сатану (...). Участь же

общества, христианского по нравственному типу личности, но отрекшегося от Христа в приложении своих нравственных сил, по справедливому выражению И. С. Аксакова, сводится к вечной революции выделено мною.— В. К.)». Иначе говоря, если Бога нет, то социализм — действительно следствие христианства. Но Бог есть, а значит — это ложь и порождение отца лжи!

Восстание на «удерживающего» на рубеже веков началось не только слева, но и «справа». Застрельщиком «бунта справа» был Ф. Ницше. Наиболее последовательным его выразителем стал итальянский барон Юлиус Эвола, написавший в 20-е годы книгу «Языческий империализм» (перевод получил распространение в самиздате).

Почти точно повторяя ряд положений Л. Тихомирова, Эвола выворачивает их наизнанку, ибо сам в отличие от русского философа не верит в Бога. Для гордого Эволы «христинство с трансцендентальностью своих ценностей, тяготевших к ожиданию того «царства», которое «не от мира сего» (...) разрушило тот «солнечный синтез духовного и политического могущества, синтез королевского и божественного, который знал древний мир». И далее: «Мы должны снова проснуться для обновленного и одухотворенного, терпкого переживания мира, но не в смысле философской категории, а как нечто вибрирующее в нашей крови, для переживания мира, как могущества, для переживания мира как ритма, для переживания мира как жертвоприношения. Такое переживание создаст крепкую, жесткую, активную форму, существо чистой силы; такое переживание мира откроет то чувство свободы и величия, то космическое дыхание, даже самого слабого дуновения которго еще не знали «мертвые» Европы... И тогда появятся вожди, род вождей. Невидимые вожди, которые не говорят и не показываются, но чьи действия не знают преград, вожди, могущие все, и тогда опять возникнет центр на Западе — на Западе, лишенном центра».

Итак, вместо Духа Святого — «чистая сила», вместо «Помазанника Божия» — «вожди», чей «центр» на Западе, то есть на закате. «Восток имя Ему» — поет Церковь Православная о Спасителе мира.

Но зерно этой новой идеологии прорастало и в самой России.

«Прочел в 12049 «Нового Времени» фельетон Меньшикова «Разговор о свободе». Не могу не выписать из этого фельетона следующие знаменательные строки:

«...Я держусь, — пишет Меньшиков, — мнения не нового, а скорее древнего, как история, что народы нуждаются в чужой воле, более совершенной, чем их собственная. Народы нуждаются в постоянном импульсе извне, более высоком, чем их собственная инертность. И только такой импульс повторения создает прогресс, культуру. Культура есть раскупоривание человеческой природы. Но раскупоривание есть акт внешней силы: нужно было, чтобы

кто-то пришел и отворил тайник, выпустил душу на свободу... Нужна признанная народом власть, нужен вождь, нужен мессия...»

А воля Божия? Иль она недостаточно для г. Меньшикова совершенна? А власть Царская? Иль она г.г. Меньшиковыми уже не признается?

А Самодержавный Вождь народа и воинства русского? Иль его уже не стало?

А Господь наш Иисус Христос, Мессия истинный? Иль г. Меньшиков уже успел перейти в антихриста за Христа?[7] (С. А. Нилус. «На берегу Божьей реки»).

Замечательно, то, что это — отзыв политически правого о политически правом же. Но меж ними бездна. «Ея же не прейдеши». Россия, отданная во власть беснования левого, Россия в первой половине столетия была избавлена от соблазнов псевдоправого.

Вождь, который «отворил тайник», вырос на Западе, в Германии. Им стал Адольф Шикльгрубер, взявший партийную кличку Хитлер (у нас Гитлер). В начале 20-х он и вождь коммунистов Эрнст Тельман ораторствовали в соседних пивных, на соседних площадях, переманивая толпы друг от друга. Но, в отличии от германских коммунистов и социал-демократов, Гитлер и его друзья соединили общелевую социальную демагогию о равенстве с идеей о нации. И это-то и привлекло к ним немецкий народ, действительно униженный позорным для Германии Версальским миром. Так возник национал-социализм. Надо сразу сказать, что в германском национально-восстановительном движении, кроме национал-социализма, было и иное, монархическое и христианское. Его возглавлял генерал Гофман, сотрудничавший, кстати, с остатками русского генералитета в изгнании. Гофман считал будущий германско-русский союз основой для мира и устойчивости в Европе. Однако в 1927 году он неожиданно умирает. Национальным сознанием немцев безраздельно овладевает национал-социализм. В 1933 году национал-социалисты приходят к власти западным демократическим путем — большинством голосов на выборах.

Национал-социализм в Германии на самом деле был двойником своего марксистского «антипода». «10 заповедей потеряли сегодня свой смысл (...). Я освобождаю человека от унизительных и грязных бичеваний совести. Вместо учения о Божественном Искупителе я предлагаю свое учение о фюрере, избавляющее верующих от груза свободного выбора» (Гитлер)[8]. «Не только любовь к Богу, но и любовь к ближнему — опаснейший враг коммунизма. Нужно уничтожить христианскую любовь к ближнему как наиопаснейшего нашего врага, — это средство завоевания мира» (Н. Бухарин)[9].

Учение о партии как вожде народа, о единстве партии и народа и о партийном государстве было целиком заимствовано у Ленина и Троцкого. Из того же источника идеи о трудовом перевоспитании и трудовых армиях, о необходимо-

сти физического истребления всякого инакомыслия, о государственном искусстве и тому подобное. Оттуда же культ тела, а также физкультура и спорт как средство, политики, архитектурная гигантомания и прочие «красоты». Гестапо создавалось по образу и подобию ВЧК — ОГПУ, а концлагеря — уже проверенного ГУЛАГа. Разница была в одном: «пролетариат» заменили «нацией». Но, как это часто бывает, те, через кого передается ложь, «пробалтываются».

«Идеей нации, — говорил фюрер, — я должен был воспользоваться из соображений удобства для данного момента, но я уже знал, что она могла иметь лишь временную ценность... Придет день, когда от того, что называется национализмом, не многое останется у нас в Германии. На земле возникнет всемирное братство учителей и господ... Наша революция — новый этап, или, вернее, конечный этап революции, приведшей к вытеснению истории... Бывают решающие повороты в мире, и мы сейчас стоим перед таким поворотом времен... Произойдет потрясение планеты, которого вы, непосвященные, не можете понять. То, что происходит сейчас, это больше, чем рождение новой религии». Все это Гитлер сказал гауляйтеру Раушнигу, который в ходе войны перешел на сторону западных союзников и обо всем этом рассказал.

— Я раскрою вам секрет, — говорил фюрер, — я основываю орден. Оттуда выйдет вторая степень человека, который будет мерой и центром мира,— человека-бога. Человек-бог, превосходящая фигура бытия, будет как культовый образ. Но есть еще другие степени, о которых мне не позволено говорить».

Гитлер, несомненно, обладавший медиумическим даром и частичными знаниями о космосе, выходящими за пределы материалистического естествознания, не знал и не хотел знать того мира, который первичен по отношению к космосу в целом — тайны Пресвятой Троицы и всех небесных сил. Он верил в ушедшую под землю расу гигантов, которую принимал за продукт естественной эволюции. Знание о предсуществовании этого «человечества» сохранено и в церковном предании, и в Священном Писании как знание о потомстве противоестественного смешения человечества с падшими ангелами. Гитлер действительно посылал своих людей в Лхасу, и там они видели мумии гигантов (до 5 метров). Предания многих народов сохранили память о гигантах (русское «волотах»), ушедших под землю до времени. Но для христианского сознания это однозначно: силы адские. Гитлер же верил в то, что эти силы придут ему на помощь.

В разработке эзотерического учения национал-социализма и «мифологии XX века» Гитлеру помогал Альфред Розенберг, выходец из Прибалтики, долгое время живший в Петербурге, вхожий в круги Религиозно-философского общества, знакомый с А. Блоком, Д. Мережковским. Вращался он и

в социал-демократических кругах, встречался, в частности, с Троцким. После революции 1917 года он некоторое время был членом Пролеткульта, потом уехал в Германию. Никто в Германии не сделал столько, сколько Розенберг, в смысле внушения Гитлеру, что главный враг Германии — Россия, любая Россия, независимо от политического строя. Христианская, православная, Святая Русь, по Розенбергу, и есть вырождающееся человечество. Он повторял слова Ницше: «В странный нездоровый мир вводят нас евангелия — мир, как в русском романе»[10]. Христианство и его воплощение на земле — Россия — должны быть уничтожены. Путь к «новой религии» нацистские вожди видели в восстановлении германских языческих культов и соединении их с эзотерическими учениями Тибета. Но это было такой же ложью, как и политическое использование нацистами любви к отечеству и народу. Даже свастика, древний арийский символ плодородия и солнца, знак, которым первые христиане и византийские монахи-исихасты изображали внутренний свет, была повернута в обратную сторону (то есть против солнца) и тем самым обращалась ко тьме. Древнее свастическое изображение переворачивается и превращается в знак, который люди XX века теперь однозначно видят политическим символом нацизма.

С самого начала Гитлер начал в Германии борьбу с христианством. В год его прихода к власти был распущен Союз католической молодежи. Через год был убит глава Германской католической церкви. Тысячи священников, монахов, монахинь, католиков-мирян были арестованы и заключены в тюрьмы и концлагеря. Туда же попадали и протестанты. За один только 1937 год было арестовано более 800 пасторов. В 1941 году, выступая в рейхстаге, секретарь Гитлера по партии Мартин Борман сказал прямо: «Национал-социализм и христианство непримиримы». В конце 30-х годов А. Розенберг написал ряд статей для будущей так называемой церкви рейха. Одна из них заканчивалась так: «Христианский крест должен быть изгнан из всех церквей, соборов и часовен и должен быть заменен единственным символом — свастикой». Еще раз напомним: гитлеровская свастика перевернута наизнанку.

Годом всегерманского основания «национальной церкви» должен был стать год 1943.

Ранним утром 22 июня 1941 года германские войска вступили на Русскую землю. По православному календарю это был день Всех святых в земле Российской просиявших. Не коммунизму была объявлена война, но Православию, не Ленину и не Сталину, но Царице Небесной и Державной Владычице земли русской.

Важно понимать следующее. Судьба России не могла (и не может) быть решена политически. Речь может идти только о невидимой брани, ведущей к уп-

празднению невидимых сущностей, стоящих над партией и над ее идеологией. То есть никакой новой революцией или контрреволюцией Россию нельзя ни ломать, ни перестраивать, ее надо отмаливать, помня, что «род сей изгоняется только постом и молитвой» (Мф. 17, 21). Иными словами, любые перемены в Росссии могут осуществляться только как следствие высветления области «разделения души и духа». В связи с этим приведу выдержку из известной самиздатской рукописи «Чудеса от Казанской иконы Божией Матери», автор которой себя не открывает (известно только, что он лицо духовное).

«Перед самым началом Отечественной войны одному старцу Валаамского монастыря (Валаам в то время принадлежал Финляндии) было три видения во время службы в храме:

1. Он увидел Божию Матерь, Иоанна Крестителя, святителя Николая и сонм святых, которые молили Спасителя о том, чтобы Он не оставил Россию. Спаситель отвечал, что в России так велика мерзость запустения, развращенность, упадок веры и благочестия, что невозможно терпеть эти беззакония. Все эти святые с Богородицей продолжали молить Его со слезами, и, наконец, Спаситель сказал: «Я не оставлю Россию».

2. Матерь Божия и святой Иоанн Креститель стояли перед престолом Спасителя и молили Его о спасении России. Он ответил: «Я не оставлю Россию».

3. Матерь Божия одна стоит перед Сыном Своим и со слезами молит Его о спасении России. Она сказала: «Вспомни, Сын Мой, как Я стояла у Креста Твоего», и хотела встать на колени перед Ним. Но Спаситель сказал: «Не надо, Я знаю, как Ты любишь Россию и ради слов Твоих не оставлю ее. Накажу, но сохраню...»

Старец, которому было видение, почил в Псковско-Печерском монастыре, прожив около ста лет...

Промыслом Божиим для изъявления воли Божией и определения судьбы страны и народа России был избран друг и молитвенник за нее из братской Церкви Митрополит Гор Ливанских Илия (Антиохийский Патриарх). Он знал, что значит Россия для мира; знал и потому всегда молился о спасении страны Российской и просветления народа ее (...). Он решил затвориться и просить Божию Матерь открыть, чем можно помочь России. Он спустился в каменное подземелье, куда не доносился ни один звук с земли, где не было ничего, кроме иконы Божией Матери. Владыка затворился там, не вкушая ни пищи, ни воды, не спал, а только, стоя на коленях, молился перед иконой Божией Матери с лампадой. Каждое утро Владыке приносили сводку с фронта о числе убитых и о том, куда дошел враг. Через трое суток бдения ему явилась в огненном столпе Сама Божия Матерь и объявила, что избран он, истинный молитвенник и друг России, для того, чтобы передать определение Божие для страны и народа Российского. Если все, что определено, будет выполнено, Россия не погибнет.

«Должны быть открыты во всей

стране храмы, монастыри, духовные академии и семинарии. Священники должны быть возвращены с фронтов и тюрем, должны начать служить. Сейчас готовятся к сдаче Ленинграда — сдавать нельзя. Пусть вынесут, — сказала Она, — чудотворную икону Казанской Божией Матери и обнесут ее крестным ходом вокруг города, тогда ни один враг не ступит на святую его землю. Это избранный город. Перед Казанской иконою нужно совершить молебен в Москве; затем она должна быть в Сталинграде, сдавать который врагу нельзя. Казанская икона должна идти с войсками до границ России. Когда война окончится, Митрополит Илия должен приехать в Россию и рассказать о том, как она было спасена».

Накануне нападения Германии почти все оставшиеся храмы России предназначались к закрытию в ближайшее время. Это касалось прежде всего Москвы и города на Неве. Например, последняя Божественная литургия в московском храме св. пророка Илии Обыденного (возле Остоженки) должна была состояться 22 июня 1941 года. По ее совершении староста должен был сдать ключи от храма в райисполком. В двенадцать часов дня, когда служба уже шла к концу, по всем радиоточкам столицы зазвучали позывные... Исполкому стало просто не до церкви. Вечером прихожане Ильинского храма вновь собрались на службу и молились уже о победе русского оружия. И этот, и другие храмы уже закрытию не подлежали.

В первые же дни после нападения немцев Церковь обратилась с посланием к верным своим чадам встать на защиту Отечества. Не партия, не правительство, не Сталин — все они в первые дни молчали, — а именно Церковь. Обращение это начиналось словами: «Господь нам дарует победу». Только 3 июля по радио выступил Сталин. Свое выступление (по радио был слышен стук зубов о стакан с водой) он начал словами тех, кого вместе со всей партией гнал и истреблял все эти годы. Слова были церковным обращением «Братья и сестры». Это было первым с 1917 года поражением идеологической абстракции. Вторым было крушение всяких надежд на то, что немецкий пролетариат откажется воевать со своими «братьями и сестрами» и поднимется на «революционную борьбу». Эта бессмыслица кочевала из газеты в газету, из книги в книгу, на этом воспитывали комсомольцев и пионеров — и не этим ли в конечном счете определяется наша плохая подготовка к войне? Об этом сейчас много пишут, сваливая ее то на неучет разведданных, то на пакт Молотова-Риббентропа, то на личную неспособность Сталина... Как бы ни было и что бы там ни было — все это вторично, ибо, говоря словами Григория Сковороды, «невидимое первенствует». Идеологическая «монада» «поражения своего правительства» и «перехода войны империалистической в войну гражданскую», паразитическая невидимая сущность, сложившаяся уже к 1914 году, «работала все эти де-

сятилетия, и нужно было потрясение первых дней войны, потрясение отступающей армии, «голосовавшей», по выражению А. И. Солженицына, «ногами» для сокрушения и упразднения этой монады. И надо было врагу дойти до Москвы, чтобы вместе с ним от стен русской столицы на время отступил и марксизм.

Ноябрьский парад 1941 года, с которого войска уходили прямо на фронт, уходили благословляемые, пусть пока не на самой площади, а при выходе с нее, московским духовенством, кропившим воинов святой водой, был и первым Парадом Победы. С трибуны ленинского мавзолея звучало имя Суворова — великого борца против революции, предотвратившего якобинский захват Европы в походах, отправляясь в которые, он слышал слова Императора Павла: «Иди спасай царей». Звучали и имена благоверных князей Александра Невского и Дмитрия Донского. Цвет знамени защитников Москвы неожиданно совпал с цветом стяга русского воинства на Куликовом поле. Оно было красным, а не послепетровским трехцветным, удивительно напоминающим флаг французской революции 1789 года. Ведал ли об этом Троцкий в 1918-м, создавая свою Красную Армию для осуществления мировой революции? Поистине «человек предполагает, а Бог располагает». И прав был Максимилиан Волошин, тогда же, в 1918 году предсказавший: «И тот же дух ведет большевиков извечными российскими путями...»

А во время самой битвы за Москву произошло то, чему до сих пор ни советские, ни западные стратеги и историки не нашли объяснения. В районе Красногорска Волоколамское шоссе, по которому двигались немецкие мотоциклы и танки, оказалось свободно — открывался прямой путь на Москву. Почему враг вдруг повернул обратно? Это было 6 декабря 1941 года. По православному календарю — день памяти святого благоверного князя Александра Невского, разбившего немцев же на Чудском озере и по сие время, по вере православного народа, оберегающего русскую землю от всякого зла, идущего с запада.

На Пасху 1942 года в Москве особым распоряжением коменданта города был снят комендантский час в ночь на Святое Христово Воскресение, как было сказано в распоряжении, «согласно традиции». Старожилы вспоминают, что никогда за все советское время (а может быть, и раньше) не было такого количества исповедающихся и причащающихся людей, как перед этой Пасхой в Великий Пост и Страстную седмицу. Накануне напряженно ждали — будет ли праздник? Но власти города не только не препятствовали ему, но создали для него все условия: усилили противовоздушную оборону, следили за порядком. Такого не было с 1918 года. В 20-е и 30-е годы особые отряды комсомольцев и просто хулиганы устраивали антирелигиозные шествия и прямые погромы. Теперь же это делали немцы: в Пасхальную ночь они

устроили массированную бомбардировку на Неве, но ни одна бомба не повредила ни одного храма. Впервые за два с лишним десятилетия вся Православная Русь свободно пела «Христос воскрес».

Что же касается гитлеровцев, то они, как в 20—30-е позаимствовали свое партийно-государственное устройство у большевиков, так и ныне, во время войны с Россией, у них же позаимствовали противоцерковную политику 20-х, когда РКП(б) — ОГПУ поддерживали обновленцев и сектантов против Православной Церкви. Гитлер говорил: «Мы должны избегать, чтобы одна церковь удовлетворяла религиозные нужды больших районов, и каждая деревня должна быть превращена в независимую секту, которая почитала бы Бога по-своему. Если некоторые деревни захотят практиковать черную магию, как это делают негры или индейцы, мы не должны ничего делать, чтобы воспрепятствовать им. Короче говоря, наша политика на широких просторах должна заключаться в поощрении любой и каждой формы разъединения и раскол[11]. В таком же духе высказывался Розенберг и другие «идеологи». Несомненно, что в случае своей победы они бы уничтожили Православную Церковь, о чем говорили и сами. Несколько иначе были настроены военные чины вермахта, часть которых когда-то поддерживала генерала Гофмана и вообще «брезговала» партийной верхушкой. У некоторых из них православное духовенство вызывало уважение и даже сочувствие. Поэтому на захваченных немцами землях часто открывались храмы, начиналась приходская жизнь, оживали монастыри. Святая Русь восстанавливалась из руин, как бы восставала из мертвых по обе стороны фронта, независимо и вопреки воле большевиков и нацистов. Более того, они вынуждены были между собой состязаться, например, в открытии храмов, ибо это означало борьбу за сочувствие русского народа, которого и те и другие временно домогались, ибо без этого не было бы и победы. В результате после войны на Русской земле было около 14 тысяч действующих храмов.

«Мифы XX века» отступали перед вечной правдой Христовой. Но и сам ход событий сделал Красную Армию защитницей государственной целостности России, самого существования русского народа. И это дало Церкви возможность проявления не просто гражданской лояльности, но и деятельной помощи. Уже в 1942 году начинается сбор средств на помощь армии, на танковую колонну и эскадрилью самолетов. И вот 30 декабря 1942 года «Правда» печатает «православному русскому духовенству и верующим... благодарность Красной Армии за заботу о бронетанковых силах». Адрес подписан Сталиным. В этом же году был открыт доступ к особо почитаемому москвичами чудотворному образу Иверской Божией Матери, который был перевезен из закрытой Иверской часовни на поклонение в Воскресенскую церковь в Сокольниках.

Наступал год 1943, тот самый,

на который было «назначено уничтожение христианства и в Советском Союзе, и в Германии. Этот год военные историки и поныне называют годом «коренного перелома», и они говорят п р а в д у.

Мало кто знает сегодня, что в Сталинграде находилась с войсками Казанская икона Божией Матери. Ее привезли туда по распоряжению высшего военно-политического руководства. Перед иконой служили молебны, кропили солдат святой водой, и только после этого войска шли в бой.

Сила молитвы расстояний не знает. Вот что вспоминает келейник Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Сергия (Страгородского) архимандрит Иоанн (Разумов):

«В день Богоявления 19 января Митрополит Сергий возглавил крестный ход на Иордань. Это были дни решающих боев за Сталинград, и Владыка особенно горячо молилися о победе русского воинства. Неожиданная болезнь заставила его слечь в постель. В ночь на 2-е февраля 1943 года Владыка, пересилив свой недуг, попросил келейника помочь ему подняться с постели. Встав, он с трудом положил три поклона, воссылая благодарение Богу. Когда келейник помогал ему снова лечь в постель, Митрополит Сергий сказал: «Господь воинств, сильный в брани, низложил восстающих против нас. Да благословит Господь людей своих миром! Может быть, это начало будет счастливым концом». Утром радио передало весть о разгроме немецких войск под Сталинградом»[12].

Военное поражение немцев под Сталинградом отозвалось еще одним поражением марксистской идеологии в Москве. Это как бы символически проявилось (невидимое на видимом) во внезапном переодевании армии в новую военную форму, которая была очень близка к дореволюционной и форме белой армии. Офицерам и генералам надели золотые погоны. Всерьез думали о введении в армии обращений «Ваше превосходительство» и «Ваше благородие» (об этом рассказывал Маршал Советского Союза П. М. Кошевой) Появились новые военные ордена — Александра Невского, Суворова и Кутузова. К осени 1943 года был распущен Коминтерн. Но это, конечно, не означает, что победа ж и з н и над а б с т р а к ц и е й была полной. Нет, она стала полупобедой, и это было символически явлено введением по указу Сталина ордена Славы, равного по достоинству старому Георгиевскому кресту. Георгиевская лента этого ордена (оранжево-черная) поддерживает ту же пятиконечную звезду — пентаграмму — с и м в о л м и р о в о й р е в о л ю ц и и. Утопия отступила, но не о т п у с т и л а Россию — это мог видеть ясно каждый з р я щ и й.

Это видели и не желавшие примирения с большевиками иерархи Русской Православной Церкви за границей. На ее Соборе 1939 г. Первосвятитель этой Церкви Митрополит Анастасий заявил о поддерке фюрера Хитлера как борца с большевизмом, выразив надежду, что его армия не будет воевать с русским народом. Заметим,

это был 1939 год — год советско-германского пакта о ненападении. Зарубежная иерархия внимательно вглядывалась в события, пытаясь угадать в них грядущий просвет. Когда началась война, Русская Зарубежная Церковь стремилась через свои приходы укрепиться на занятых немцами землях, и этим объясняется ее политическая к ним лояльность. Видимо, соборная совесть Единой Русской Православной Церкви в конце концов признает ущербность и односторонность политической позиции как Владыки Сергия, так и Владыки Анастасия и найдет выход на путях взаимного покаяния и примирения. Но легко судить об этом нам, не жившим ни при Гитлере, ни при Сталине! Церковь выжила по обе стороны фронта — это главное.

В начале сентября 1943 года митрополиты Московский и Коломенский Сергий (Старогородский), Киевский и Галицкий (Ярушевич), а также Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский) были приглашены в Москву. Состоялась знаменитая ночная беседа в Кремле.

Сталин сказал, что Советское правительство высоко ценит общественные усилия Церкви в войне, а также труды каждого из присутствующих по сбору средств на нужды Красной Армии. Он спросил: «Что теперь мы можем сделать для вас? Просите, предлагайте». Затем, не дожидаясь ответа, сказал: «У вас плохо с кадрами. Где ваши кадры?» Наступило замешательство. Все знали, что одна часть «кадров» истреблена, другая находится в тюрьмах и лагерях и лишь немногие служат в храмах... Тогда Митрополит Сергий осторожно сказал: «Мы готовили людей для священства, а они становятся потом маршалами Советского Союза». Сталин улыбнулся: «Да, я семинарист...» — и начал рассказывать о своей юности. Потом внезапно остановился и громко заметил: «Нужно готовить новые кадры». — «Может быть, открыть какие-нибудь курсы для священнослужителей?» — неуверенно заговорили митрополиты. «Академии духовные вам необходимы, семинаристы нужны. К этому надо приучать с малолетства». Затем Сталин сам сказал о необходимости открытия монастырей, издании богослужебных книг, календарей... По его мнению, надо было создать особый орган для сношений правительства с иерархами — Совет по делам Русской Церкви. «А во главе Совета поставим товарища Карпова. Знаете товарища Карпова?». Среди иерархов возникло замешательство. Ведь Георгий Григорьевич Карпов, работая в НКВД, как раз и занимался закрытием храмов и арестами духовенства. Митрополит Сергий, собрав все свои силы, осторожно промолвил: «Ведь он, Карпов, из гонителей наших...» — «Правильно, — ответил Сталин,— партия приказывала Карпову быть гонителем, он исполнял волю партии. А теперь мы ему поручим стать вашим охранителем. Я знаю товарища Карпова, он исполнительный товарищ».

«У нас нет Патриарха. Надо бы избрать, да не знаем, удобно ли?»

— задал вопрос митрополит. «Это ваше внутрицерковное дело»,— ответил Сталин.— Вячеслав Михайлович, распорядитесь о поездах и самолетах для доставки епископов. Когда Собор?»

Уже потом, на кремлевской лестнице, Сталин, взяв Митрополита Сергия под руку, сказал ему: «Владыко, пока это единственное, что я могу для вас сделать»[13].

Объяснения, даваемые этой встрече, бесчисленны: от утверждения, что «вождь народов» просто хотел подчинить таким образом Москве население возвращаемых в ходе войны земель до «духовного прозрения» Сталина. Чаще говорят о попытках «пустить пыль в глаза» западным союзникам. Последнее несерьезно — ни Рузвельт, ни Черчилль не думали о нравственной стороне дела, их союз со Сталиным был «браком по расчету». Дело ни в том, ни в другом, ни в третьем. Дело в неодолимости Церкви вратами адовыми до конца времен. И еще в том, что власть над русской землей на самом деле принадлежит не партии, не политикам, не идеологам, а Богу, Его Пречистой Матери и Собору всех святых, в земле Российской просиявших. У нас нет земного царя, но есть Царица Державная.

Тот самый 1943 год, на который по обе стороны фронта было намечено полное уничтожение Церкви, стал годом ее победы. Более того, кремлевская ночная встреча в принципе открывала путь к восстановлению канонически и исторически правильной «симфонии» Церкви и государства, к восстановлению на новом витке истории того самого Третьего Рима, о котором пророчествовал старец Филофей и над созиданием которого трудились Московские Цари и Патриархи. Открылась возможность перемены духовного знака государства, «универсально-крепостного», организационно весьма близкого опыту древней Москвы». В страшную минуту, испугавшись за свою жизнь, Сталин услышал голос самой русской истории, сумел как бы отставить на время в сторону марксизм за непригодность для живой государственности. Но Сталину никогда не могло быть дано стать Русским Царем не только из-за пролитого им моря русской крови, но и из-за участия его в цареубийстве вместе со Свердловым, Троцким, Лениным и всеми остальными. Кроме того, Сталин никогда не был единоличным правителем. Верховная власть по-прежнему принадлежала партии в целом. В этом смысл слов его, сказанных Митрополиту Сергию на лестнице. Что же касается «культа личности Сталина», то он не был культом личности. На месте Сталина мог оказаться кто угодно. «Культ личности» может быть создан партией по политическим соображениям, «в интересах текущего момента». На самом деле он ей по самой природе чужд, ибо вообще чужда идея личности. Партия строго придерживается правила: ни один «вождь» не должен идти слишком далеко. Сталину было дозволено ввести георгиев-

скую ленту, но не дозволено посягнуть на пентаграмму. На самом деле никаких вождей у партии нет вообще. Все они в политическом отношении — мнимость, ибо первична, вопреки «диамату», «передовая теория», т. е. сам же «диамат».

Невозможно однозначно оценить и деятельность. Митрополита Сергия. Его Декларация от 29 (16) июля 1927 года, оправдывающая «естественное и справедливое недоверие правительства к церковным деятелям вообще», его утверждение о том, что в стране нет гонений на Церковь, были, вероятно, слишком дорогой ценой за легализацию Московской Патриархии в 30-е годы, тем более что легализации как таковой, по сути, не было. Тем более что за одно непризнание Декларации 1927 года духовенство в лучшем случае отправляли в ГУЛАГ, а чаще всего просто расстреливали. Было ли это платой за непризнание властью обновленчества, попыткой предотвратить «совет нечестивых», более с церковной точки зрения страшный, чем просто атеизм? Взвешено это может быть только на весах Божиих. Но даже если бы вся Русская Церковь ушла в катакомбы, Сталин в 1943 году, вероятно, вынужден был бы обратиться и к такой Церкви. Церковная позиция в этом случае была бы более весомой, ибо уважают всегда того, кто говорит «как власть имущий», а не того, кто просит и оправдывается. В то же время лично Митрополит, а затем Патриарх Сергий был глубоким молитвенником, делателем умной молитвы. О его дарах свидетельствует духовная чуткость в ночь Сталинградской битвы. И кто ведает, не было ли ему прямо определено от Бога идти этим путем, а отвергшим Декларацию 1927 г. соловецким архиереям и «непоминающим» идти путем мученическим? «Нам ли весить замысел Господний?..»

К 8 сентября в Москве, как говорил Сталин Митрополиту Сергию, «большевистскими темпами» из лагерей и ссылок самолетами было привезено 14 архиереев. Единогласно Патриархом был избран Митрополит Сергий. Иного быть не могло. Вскоре был издан указ о демобилизации всех духовных лиц из Советской Армии, часть иерархов, священников и монашествующих была выпущена из лагерей — на этот раз без предварительных условий. Началась подготовка к открытию духовных заведений и Троице-Сергиевой Лавры. Существовали предсказания, восходящие еще ко времени преподобного Сергия, о том, что Русь будет стоять до тех пор, пока живет Дом Пресвятой Троицы. В 1918 году Лавра была закрыта. И вот она вновь открывается, вновь начинает Православная Русь стекаться к святым мощам своего духовного отца. Может быть, это и было главным итогом 1943 года, ибо подлинное небесно-земное строительство совершают те, кто непрестанно молится. Если соль земли христианство, то соль христианства — монашество, ангельский чин, то есть жители уже иного мира. Ради них хранится земля и

ими хранима. Они же прежде всего и ведут невидимую брань, отмаливают, отличают и свое земное отечество тоже.

Таким стал 1943 год для России. Что же касается Германии, то сокрушительные поражения ее армии, начавшей откатываться на запад, сами собой отменили планы идеологов партии. Им стало не до идеологии, планы создания новоязыческой «церкви» отпали сами собой.

«Пришло время славной древности Российской! Какие были молитвенники на русской земле! И Божия Матерь по их молитвам отгоняла врагов, вселяя в них ужас. Рассказы о чудесных случаях приходилось слышать и от многих фронтовиков, в том числе и от неверующих. Хочется рассказать об одном таком свидетельстве заступничества и помощи Божией Матери: произошло это во время штурма Кенигсберга в 1944 г. Вот что рассказывает офицер, бывший в самом центре событий битвы за этот город-крепость: «Наши войска уже совсем выдохлись, а немцы были все еще сильны, потери наши были огромны, и чаша весов колебалась, мы могли там потерпеть страшное поражение. Вдруг видим: приехал командующий фронтом, много офицеров и с ними священники с иконой. Многие стали шутить: «Вон, попов привезли, сейчас они нам помогут...» Но командующий быстро прекратил всякие шутки, приказал всем построиться, снять головные уборы. Священники отслужили молебен и пошли с иконой к передовой. Мы с недоумением смотрели: куда они идут во весь рост? Их же всех перебьют! От немцев была такая стрельба — огненная стена! Но они спокойно шли в огонь. И вдруг стрельба с немецкой стороны одновременно прекратилась, как оборвалась. Тогда был дан сигнал — и наши войска начали общий штурм Кенигсберга с суши и с моря. Произошло невероятное: немцы гибли тысячами и тысячами сдавались в плен! Как потом в один голос рассказывали пленные: перед самым русским штурмом в небе появилась «Мадонна» (так они называют Богородицу), Которая была видна всей немецкой армии, и у всех абсолютно отказало оружие — они не смогли сделать ни одного выстрела. Тогда-то наши войска начали общий штурм, преодолев заграждения, легко сломили рукопашное сопротивление и взяли город, который до этого был неприступен и мы несли большие потери! Во время этого явления немцы падали на колени, и очень многие поняли, в чем тут дело и Кто помогал русским! И еще один факт. Киев, матерь городов русских, был освобожден нашими войсками 22 октября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери (по церковному календарю или 4 ноября гражданского стиля). И это было весьма знаменательно для народов России: отсюда началась Русь наша, здесь произошло Крещение нашего народа, который избрал навсегда христианство, православную веру. Вся истинная сила и все истинное счастье русского на-

рода — в Православной вере!»

(«Чудеса от Казанской иконы Божьей Матери»)

За годы войны Красная Армия, созданная когда-то Троцким для целей мировой революции, стала действительно русской, отечественной. Это проявилось и внешне — в почитании Суворова и святых князей Александра Невского и Дмитрия Донского, создания военных училищ, как было сказано в приказе о них, «по типу старых кадетских корпусов». Армия выдвинула действительно русских вождей, меньше связанных с идеологией, таких, как маршал Г. К. Жуков. Вхождение в столицы восточноевропейских стран было воспринято как восстановление славянского единства, о котором мечтали славянефилы и которое предрек под крылом Православной Церкви такой праведник, как отец Иоанн Кронштадтский. Чехи, словаки, болгары в 1944-45 годах воспринимали вхождение Красной Армии не в марксистском, а в чисто славянофильском духе. Чисто славянофильским (причем в духе именно раннего, во многом тоже утопического славянофильства) был и девиз: «За нашу и вашу свободу». И не вина, а беда и русских солдат, и восточноевропейцев в том, что события пошли по иному пути, что после войны на русском языке им было навязана чуждая идеологическая утопия. Что же касается армии, то ее настроения далеко не всегда соответствовали требованиям идеологии — не случайно генерал А. И. Деникин призывал обновленную Красную Армию, добив Гитлера, исполнить свой долг перед Россией. И не случайно так любима была в последний год войны офицерская песня «Умирать нам рановато, есть у нас еще дома дела».

Изменились и настроения значительной части русских беженцев в Европе и Америке. Вот каковы были настроения Митрополита Евлогия: «Огромная, непобедимая Россия, от Ледовитого океана до Индийского (мечта!), гроза пограничных сильных держав, покровительница малых, сестра родная всех славян... и Москва — кто знает! — быть может, всемирный центр Православия (...). И было так же убедительно, что Россия вознесена на вершину военной славы и справилась с врагом благодаря чьей-то железной воле, жестокость которой многим бы хотелось оправдать пользой...

В те дни побед впервые в Зарубежье стали раздаваться такие речи среди патриотов... Что-то незаметно сдвинулось, изменилось в старых привычных оценках, начала меркнуть самая о них память.. Постепенно стало забываться незабываемое, о чем говорили так часто с амвона, в печати, в лекционных зальцах, в семейном быту: о Соловках, о епископах-мучениках, об осквернении святынь, о тайной церковной жизни... История перевернула страницу, и содержание следующей поглотило внимание, так оно казалось ново.

Это новое — прекращение в России гонений на Церковь. Больше этого — согласие во взаимоотношениях государства и Церкви. Го-

сударство уступило, допустило существование «своей» Церкви: непримиримое отыскало путь к подобию примирения.

Известие о прекращении гонений, а потом о Соборе и избрании Патриарха Владыка воспринял как великую радость духовной победы, связанную с победой на полях сражений как знак «прощенности» русского народа [14].

Знаком «прощенности» выглядел и Собор 1944 года, избравший нового Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия ,и поездка его в 1945 году по странам Православного Востока— он был первым русским Патриархом, посетившим Иерусалим. Знаком «прощенности» выглядело и то, что Берлин пал в день святого великомученика и Победоносца Георгия. Но под георгиевской лентой все же не заблестел Георгиевский крест! И армия по-прежнему была «закрепощена» через марксистско-ленинскую подготовку», бериевскую госбезопасность и круговую поруку армейских парторганизаций. И вернувшиеся в 1945 году русские беженцы из Парижа, из Белграда, из Харбина попадали все в ту же страну ГУЛАГ». Хотя бы те же белградские казачьи землячества с женщинами и детьми... А с середины 50-х началось сначала косвенное, а потом и прямое гонение на Церковь, сравнимое разве что с 20-ми годами. Церковь выжила, но в конечном счете мало что изменилось. И в этом смысле ясна позиция Русской Православной Церкви за границей, которая продолжала для возобновления канонических отношений с Московской Патриархией настаивать. на отказе от Декларации 1927 года, хотя бы как сугубо вынужденной. Вопрос этот так или иначе должен быть решен как одна из основ для будущего восстановления полноты Русской Церкви. Повторим: война спасла целостность и единство России, внешние формы Церкви, но вскоре маятник вновь качнулся влево.

Не надо искать причин политических — злая воля Сталина или, напротив, смерть его, ограниченность Хрущева или чей-то заговор. В любом случае все они второстепенны. Главная причина в том, что п р о щ е н н о с т и н е н а с т у п и л о. Неразрешенность грехов клятвопреступления и цареубийство налицо. Снята эта неразрешенность может быть только прославлением новомучеников и исповедников Российских, начиная с Царской Семьи. Путь спасения России — путь восстановления святынь при сохранении государственной целостности и единства, путь перемены духовного знака государства.

В православном церковном календаре есть праздник Обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Празднуется он 13 сентября (26 по новому стилю) и именуется Воскресением словущим, то есть как бы Воскресением. На утрени этого праздника поют «Христос воскресе!» и другие пасхальные песнопения. Это радостный праздник, но он только т е н ь г р я д у щ е г о п р а з д н и к а Светлого Христова Воскресения.

Преподобный Серафим Саровский предсказывал, что перед концом видимого земного мира Россия на короткое время воскреснет, помилованная и прощенная, и тогда среди ЛЕТА ЗАПОЮТ ПАСХУ. Запоют так, что «будет великая радость», и тогда придет конец.

В 1954 году в Россию вновь приехал великий молитвенник о ней Митрополит Ливанских Гор Илия. В Псково-Печерский монастырь с ним приехал Святейший Патриарх Алексий и множество духовенства. Дело было в августе, среди лета. Все спустились в пещеры, запели «Христос воскресе!» и пасхальные стихири. Запели на греческом, славянском и арабском языках. Пели «малым собором», сокрыто от России и от всего мира. И это было тенью грядущего, Воскресением словущим. Таким Воскресением словущим и были для России и Русской Церкви время Отечетвенной войны 1941—1945 годов и первые послевоенные годы. Вот что лежало на весах и что совершилось.

ИСТОЧНИКИ

1. В сб. К. Маркс и революционное движение в России. М., 1933, с. 15.

2. Козлов В. Старец Черниговского скита при Троице-Сергиевой Лавре Варнава Гефсиманский. Журнал Московской Патриархии, 1989, № 7, с. 68—69.

3. Тихомиров Л. А. Социальные миражи современности. В кн.: Демократия либеральная и социальная. М., 1986, с. 21.

4. «Комсомолец Узбекистана», январь 1985,

5. Тобольские епархиальные ведомости, 1919, № 8—9.

6. Тихомиров Л. А. Указ. соч., с. 17—20.

7. Нилус С. А. «На берегу Божьей реки». Изд. Свято-Троцкой Сергиевской Лавры, 1916, с. 276.

8. Здесь и далее А. Гитлер.

См. также брошюру «Оккультный рейх». Париж, год не проставлен, русский перевод в самоиздате:

9. «Правда», 1980, № 30, с. 3.

10. Ницше Ф. «Антихристианин». В сб. «Сумерки богов». М., 1989.

11. Цит. по Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви. 1917—1945. Париж, УМКА-ПРЕСС., 1917, с. 510.

12. Патриарх Сергий и его духовное наследство. М., 1947.

13. Переск. по Краснов-Левитин А. Воспоминания. Париж, УМКА-ПРЕСС, 1978.

14. Митрополит Евлогий. Путь моей жизни. Послесловие Т. Манужиной. Париж, 1947.

Николай **МОСКОВСКИХ**

ВЕРНЫЙ

Проснувшись с радостным предчувствием, он поспешил из дома. Утопая в снегу по самое брюхо, к нему кинулись Шарик и Верный. Вылез из будки Дружок и стал жалобно повизгивать: лаять он уже не мог от старости. Прибежала Танька со своим щенком, которого до сих пор никак не назвали, но который бегал в полной уверенности, что он и есть Танька. Петро любил собак охотничьих, а на Таньку (она была пуховой) и ее потомство не обращал внимания.

Он потоптался возле крыльца, словно не веря, что выпал настоящий снег, а не осенний, мелкий, который он никогда не трогал, чтобы не таскалась в избу земля, и стал налаживать собакам. В такие дни он вставал раньше жены, надевал на босу ногу катанки и выходил на двор. Сходив по нужде, начинал кормить собак. Выходила Мария, она тоже любила, когда шел снег и становилось светло и чисто, как в избе после побелки, но каждое утро начинала с ругани, вроде как с физзарядки.

— Чтоб какой кусок поросятам оставить, все собакам тащит.

Не ругаться она не могла, потому что так было заведено не ею, а еще ее матерью, а может быть, бабушкой или прабабушкой.

Петро молчал. Он караулил, чтобы Танька не обижала почти ослепшего Дружка.

Теперь их было пять. Осенью сын Виктор, который жил в городе, привел в дом родителей Шарика и Верного. Мария изо дня в день твердила Петру, чтобы он отдал их кому-нибудь или удавил. Петро понимал, что столько собак им ни к чему, но у него болела душа, и казалось, что с Шариком и Верным в их жизни появился новый смысл,

хотя, в чем он заключается, не могли б растолковать ни он, ни его жена Мария.

— Да... — горестно вздохнул он, — видно, придется Верного удавить.

Каждую зиму ее дед собирался умирать.

«Это моя последняя зима», — говаривал он.

И, действительно, с наступлением холодов ему становилось хуже, наваливался кашель. Он был настолько стар, что никакие лекарства ему уже не помогали, и жил он благодаря собачьему жиру, а может, думал, что благодаря ему.

— Тут уж я ничего не могу поделать, — обращался Петро к собаке, одевая на нее ошейник. — Шарик маленько похудее тебя будет.

Хотя Шарик не был похудее, а был похож на того Шарика — такой же черный и шелковистый, которого он вырастил сам и ходил с ним на первую в своей жизни охоту.

Бабка Анна жила в соседней деревне, до которой было километра два. Вышли за околицу, но собаки, бежавшие впереди, стали отставать. Несчастье их заключалось в том, что они и в тайге не отходили от тебя ни на шаг. «Нет, если собака бежит вслед за тобой, толку от нее не будет ни во вторую, ни в третью осень», — привычно думал Петро. Он остановился и стал отгонять Шарика. Назад рванулся и Верный.

— Но-но... — успокоил он его.

Вскоре Верный встал. И на свежем снегу появилась проталина. Чем же ты объелся? Но проталина становилась все больше и больше, и Петро понял, что на собаку напал страх. А рядом маячил ничего не понимающий Шарик.

Дом деда Ивана был на замке. Привязав Верного в ограде, Петро зашел к куме Наталье и узнал, что дед лежит в больнице, а бабка Анна ушла его проведать. По дороге домой он остановился у магазина. На душе было муторно — в самый раз купить бутылку красненькой. Но в голову пришла простая мысль: пока дед лежит в больнице, Верный будет жить. Он собрал всю свою мелочь и купил... хлеб.

Пес лежал, когда пришел Петро, неся буханки, как беремя дров. Он вскочил, радостно залаял и даже не понюхал брошенный ему кусок; он рвался с поводка, думая, что прощен...

Ночью, лежа в постели, Петро слушал Марию. Ему всегда казалось, что ничего в их деревне не происходит и произойти не может, а по рассказам жены выходило, что

молочно-товарная ферма не ферма вовсе, а передовая, а Михайло-бригадир не бригадир, а вроде вражеский лазутчик. Сегодня он ворочался с боку на бок: ныла поясница, и разговор жены ему надоел хуже горькой редьки.

— Эх, провалились бы вы все вместе со своим бригадиром!

Мария, оскорбленная, замолчала.

«Неужели, — думал он, — Верный не догадается перегрызть веревку? Старая собака давно б перегрызла и прибежала».

Ночью снова выпал снег. Но это не обрадовало Петра. Верного во дворе не было, а Шарик шарахнулся в сторону и, как он ни звал его, ни стучал по ведру с кормом, не подходил, словно понимал, что случилось.

«Ниче... Может, еще перегрызет и прибежит...» — успокаивал себя Петр...

Верный не прибежал.

КОСТЮМ

Когда получали деньги, к Петру подошел дедка Ваня.

— Ты подожди меня, Петро, — сказал он. — Я только Гнедка запрягу, а потом мне надо с тобой поговорить.

Какое дело могло быть у старика к пьянице Петру?

Конторские так и спросили: скажи, мол, какое дело у дедки Вани к тебе? Не скажешь, задержим зарплату. Зарплату они задерживали часто. Намекнут просто: «Ты погоди, Петро (вроде и без тебя дел полно)». Он не спорит, ждет, пока не прибежит какая-нибудь бабка Матрена, у которой он когда-то занимал и никак не мог отдать и которая, не успев отдышаться, начнет представление. Но зачем он понадобился дедке Ване? Денег, это он хорошо помнит, у него не брал.

И он рад бы ответить чем-нибудь конторским, но не знает чем.

СЛОВО ТЕТКЕ АЛЕНЕ

— Слыхала? — спросила у тетки Марии тетка Алена, которая раньше всех знала деревенские новости, — Петро-то Сохорский костюм себе купил.

Мария остановилась, перевалила коромысло с одного плеча на другое. Алена жила напротив колодца, и потому здесь собиралось до полдеревни женщин. Они подходили одна за другой, накачивали воду, останавливались послушать и стояли так, с полными ведрами на коромыслах, не решаясь ставить ведра на землю, и не уходили, боясь пропустить интересное.

— Вчера подходит дедка Ваня к Петру, — продолжала тетка Алена, — и говорит: поедем, мол, в город: я тебе костюм присмотрел. И купили... Теперь хоть будет в чем Петру на люди выйти...

На ферме гуляла та же новость. Доярки поведали «ненароком» Марии, что Петро костюм купил. Ездили с дедкой Ваней и купили в «уцененных товарах». Стоит сорок рублей, а куда как лучше, чем за восемьдесят.

Мария вздохнула. Она была рада за Петра... Три года назад он приходил к ней свататься. Тогда она отказала ему, и за это ее осуждали в деревне.

— Какой-никакой — все же мужик, — говорили бабы. — Хоть дров наколет или воды принесет.

— Дедка Ваня даром что жизнь прожил, а своего не упустит, — вдруг ни с того ни с сего вырвалось у тетки Марии.

Прошло полгода. Впрочем, в деревне время не замечают, если не похороны или не свадьба. Тогда говорят: «Пожил свое». А сколько пожил, толком никто не знает, так как год рождения в паспорте проставлен приблизительный, а очевидцев его рождения нет в живых. Или добродушно-ласково: «Какая выросла кобыла!»

За эти полгода никто не женился. Было некому. А умерла бабка Дуня Погодаева. Ее помянули всей деревней (здесь каждый каждому приходился кем-нибудь), и каждый занялся своим делом.

Первой спохватилась тетка Алена: на поминках был Петро, но был он в старом пиджаке. Тетку Алену как будто кто оглоблей по голове ударил: «Пропил!» Со своей догадкой она побежала к Марии.

— Слыхала, — сказала она, — Петро-то свой новый костюм пропил. Приезжает к нему Михаил-то из химдыма, такой же пьяница, вот ему он и спустил его за бутылку.

Глуховатая бабка Фаня, свекровь Марии, поняв, что речь идет о Петре, спросила:

— А?.. Говорят, Петро-то новый костюм себе купил.

— Купил! — крикнула Мария старухе, надоевшей ей за свою долгую жизнь. — Купил, так носил бы!

На следующий день у колодца бабы, поговорив о том о сем, вспомнили о Петре.

— Надо же так жрать... и не лопнет.

— Последнее дело — с себя пропивать.

— Хоть бы продал, а то — за бутылку...

— Дедка Ваня с нем, дураком, ездил.

— А кто знал...

НО ЧТО УВИДЕЛИ ЖЕНЩИНЫ?!

От Ивана Погодаева, соседа тетки Алены, вышел Петр. И на нем — о, батюшки! — новый костюм. Костюм искрился на солнце, переливался тонкими полосками, топорщился широкими лацканами. Костюм, видно, был сшит на рубеже двух мод. Брюки чуть заужены. Цвет стальной (так, по крайней мере, он назывался в то время, когда Петр еще жил с женой).

Материя — шерсть.

В костюме чувствовалась дороговизна.

— Бабы, глядите! — просипела тетка Алена.

Но все уже заметили новый костюм. Его нельзя было не заметить, тем более что надет он был на голое тело.

— Новый костюм? — еще успела спросить тетка Алена.

— Новый! — достойно ответил Петр.

— Так где он у тебя раньше-то был? — не унималась она.

— Где был? Лежал, — простодушно сказал Петр. — Лежит — исть, пить не просит.

И прошел мимо остолбеневших женщин.

И был он, кажется, трезвый.

И шел он, кажется, к тетке Марии.

СВОИ

Тетка Марья и тетка Анна сначала и не думали справлять Новый год вместе, хотя и жили рядом и приходились друг другу родными сестрами. У каждой своя семья, которая требует забот, да и к тому же давным-давно Анна невзлюбила Михаила, мужа сестры (спроси ее, за что, — и не вспомнит). Все равно, такой праздник лучше дома отгулять, — считали обе.

Но тут к тетке Марье нагрянул племянник Вася. Приезжал он редко, но когда приезжал, всегда у нее останавливался. Васю любили.

После школы он уехал учиться и вскоре прислал теткам телеграмму: «Поступил в ИГУ».

«Это что же такое? — всполошилась Анна. — В иговисты записался?..»

«Ну, пошла кружать!» — ругнулась Мария, но сама тоже призадумалась.

А потом племянник написал, что обязательно будет филологом.

«Ну, слава богу, — сказала тетка Марья, — будет хоть в нашей родове инженер». — И до сих пор оставалась в неведении,что с Васей инженеров в их родове не прибавилось и не убавилось.

Тетка Анна меняла пеленку внучке Аленушке, когда пришла племянница Галка звать их в гости.

— Чё-то раненько решили начать, — мудро заметил Петро, муж Анны.

— Гости у нас, — ответила Галка.

— Какие еще гости? — спросила Анна, а сама недовольно подумала: видно, придется идти.

— Вася с молодой женой приехали.

Тетка Анна с дядей Петей остолбенели. Это была новость, так новость. Васе было уже за тридцать, и никто не надеялся, что он женится.

— Какая она из себя? — еле выдохнула тетка Анна.

— Придете, увидите.

— Чего же мы стоим-то?.. Петро..

И она забегала по избе, задоставала все из комода и шифоньера. Нарядилась сама и стала собирать Петра. Принесла ему брюки, белую рубаху, галстук. Галстук был фасонистый: наполовину из нейлона, наполовину из фольги, но он от него отмахнулся.

Петро потоптался по залу, словно хотел пообвыкнуть в праздничной одежде, и полез за балалайкой. На каждую гулянку ходил он с ней. И недаром на вопрос: «Кто у вас был?» — обычно отвечали: «Кум с кумой, сват со сватьей и Петро с балалайкой».

— Ты чё? Ты чё? — закричала Анна. — Позориться!

А у Марии почти все готово было, когда залаяли собаки. «Идут». Она побежала в прихожую, а там уже входили... Петро с Анной, кума Наталья со своим мужиком Иваном, сватья Варвара, Полина — крестная Галки, племянники Андрей и Сергей с женами Валентиной и Свет-

кой, племянница Таня с мужем Михаилом и дочкой Аленушкой.

— Проходите-проходите, гости дорогие.

Таня, раздев Аленушку, передала ее Светке, а сама поспешила на кухню помогать тетке Марье. Остальные женщины прошли в зал: им не терпелось увидеть Васину жену.

— Где молодая-то? — спросила Анна у Марьи.

— Спит.

Анна осторожно направилась к комнате, в которой спали Вовка с Галкой.

— Ты чё? Ты чё? — зашипела Марья. — Ум-то есть?

Тетка Анна, пристыженная, отступила от спальни.

Петро, увидев, что дело еще не скоро будет, попросил Вовку, зятя сватьи Марьи, подстричь его, и, не обращая внимания на ругань Анны, Марьи и Галки, мужики пошли в «баушкину» комнату подстригаться.

Вовка стриг, а кум Иван давал советы.

— У правого уха повыше возьми. Не бойся, бери, бери!

Из всех стрижек старшие в родове признавали только польку.

Вовка прострочил машиной у правого уха и взялся за расческу с ножницами.

— Эх, я, однако, отпостригался, — жаловался кум Иван. — Глаза уже не те стали.

Дело было, конечно, не в глазах, просто Иван стриг «лесенкой», хотя всю жизнь и подстригал.

— Вовка, ты прорежь-ка их маленько, — попросил Петро.

— Сичас не лето, однако, — заметил кум Иван.

— А мне чё? В тепле работаю.

Вовка аккуратно простриг несколько линий от лба до затылка, потом тщательно вычесал волосы и... остановился. Мужики замолчали и даже перестали курить. Волосы у Петра были кудрявые и густые, а после «прорежки» их вроде бы вовсе не стало.

— Вот пропололи так пропололи, — удивился Иван. — Парни, зовите Анну работу-то принимать.

Вовка попытался где рукой, где расческой склонить остатки Петровой шевелюры набок, но те упрямо топорщились.

Петру принесли зеркало.

— Ничё, — сказал он, — обрасту.

Но в голосе уже не было той убежденности, с которой он говорил: «В тепле работаю».

Анна, увидев Петра, малость обмерла. «Никуда-то нель-

зя с ним на люди выйти». А сама на людях сделала вид, что ничего не произошло, что Петро может делать все, что ему в голову взбредет.

Сели за стол. Не было только Лены (так, узнали женщины, зовут Васину жену). Кум Иван завел разговор.

— Где, Вася, нонче работаешь?

Иван, как и все, знал, что Вася часто меняет работу, не одобрял его за это, но, что ни говори, всегда интересно узнать какую ни есть новость.

— На телевидении.

— Ну что ж, хорошая специальность.

— Васенька, — сразу же всполошилась тетка Анна, — ты бы посмотрел у нас телевизор. А то он чё-то рябит.

Хотя за столом были все свои, все же чувствовалась какая-то скованность и нерешительность. Вдруг пукнула Аленушка. В другой раз на это бы не обратили внимание или встретили с одобрением, если ребенок давно не пукал, но сейчас зашикали на Таню.

— С маленьким ребенком и туда же, — выговорила своей дочери Анна.

— А что здесь такого? — сказала Таня. Она подумала, что с Васиной женой они, наверное, ровесницы, и потому храбро спросила:

— И долго мы так будем сидеть? Будите Лену.

— Ты чё? Ты чё? — возмутилась тетка Марья. — Она в дороге намаялась, пусть поспит.

— Намаялась, — пробурчал Вася. — Поменьше пить надо.

Всем стало как-то неловко. Никто не ожидал от Васи таких слов.

— А теперь кто не пьет-то, — поспешила загладить его вину тетка Анна. — И пьют, и курят.

Она намекала на свою невестку, Светку, и Светка отвернулась. А чё ей?

— Пусть, пусть поспит, — сказала тетка Варвара. — Посидим пока одни.

Люди вроде зашевелились: Вовка с дядей Петей стали наливать. Четырехлетний Санька, внук тетки Марии, придумал играть в войну.

— Вы че же парнишку-то не успокоите? — спросила Анна.

Саньку подергали за ухо. Он обиделся и захныкал.

— Смотрите-ка, он че делает, — зашептала тетка Полина.

Все посмотрели на Саньку: тот стащил у Тани стопку

сухого вина и уже допивал ее.

— Вор, вор будет! — с готовностью объяснила всем тетка Марья.

Было уже около двенадцати часов, и надо было укладывать спать Аленушку и Саньку.

Отдых Лены затягивался.

Тетка Анна поднялась из-за стола и незаметно юркнула в спальню, но сразу же вышла обратно.

— Там никого нет.

— Как никого нет?

Марья хотела постыдить сестру, но не успела — все женщины хлынули из-за стола.

В спальне никого не было.

— Может, она на двор ушла, а мы проглядели... — с недоумением проговорил кто-то.

Первой засмеялась тетка Марья, потом Галка, потом Вовка, потом сватья Варвара, потом все остальные.

Дядя Петя ничего не мог понять и крутил подстриженной и намоченной головой из стороны в сторону. Ему объяснили, что их разыграли, засмеялся и он.

— Я-то, старая дура, — говорила про себя тетка Анна, — чтоб дать Саньке конфеточек да выспросить все.

— Ладно, Марья с Галкой, они известные артистки, но ты-то, Вася, как нас мог обмануть? — спрашивала тетка Варвара.

Тут враз все заговорили, завспоминали, у кого что на уме было...

— Не знаю, как ты без жены живешь? — рассуждал кум Иван. — У меня раз Наталья к дочке в Иркутск на неделю уехала, так я...

Тетка Наталья на всякий случай ткнула его в бок.

— Ты че? Жениться не можешь? — начал он новую мысль. — Так я тебе завтра же невесту прибуровлю.

— Ну, посмеялись так посмеялись, — говорил дядя Петя, — давно так не смеялись. Наверно, веселым будет новый год.

Все зачокались, радостные и довольные.

«Никогда у меня не было такого грустного и счастливого Нового года», — подумал племянник Вася.

Владимир ***ГАЙДУК***

А. П. ЧЕХОВ И СИБИРЯКИ

Когда в 1890 году А. П. Чехов совершал поездку на Сахалин, имя его было уже хорошо известно в Сибири не только как талантливого прозаика, но и как автора пьесы «Иванов», водевилей «Предложение», «Медведь», поставленных в Томске и в Иркутске. В письме к сестре 29 апреля 1890 года из Екатеринбурга Чехов сообщал: «На пароходе библиотека, и я видел, как прокурор читал мои «В сумерках». Шла речь обо мне. Больше всех нравится в здешних краях Сибиряк-Мамин, описывающий Урал. О нем говорят больше, чем о Толстом».

Важно также отметить, что маршрут Чехова на каторжный остров и его путевые очерки, которые стали печататься в петербургской газете «Новое время», когда писатель находился еще в дороге, вызвали заметный интерес русской общественности, особенно в Сибири.

Еще до начала чеховской поездки сибирский краевед В. В. Птицын, автор очерков и рассказов о Забайкалье, написал издательнице «Северного вестника» А. М. Евреиновой письмо, с содержанием которого она познакомила писателя. «Многие сибиряки, — писал В. В. Птицын 11 января 1890 года, — узнавши о намерении Чехова ехать в Сибирь, предлагают ему рекомендательные письма в Тюмень, Томск, Красноярск, Иркутск, Верхнеудинск, Селенгинск, Читу, Кяхту и на Амур. С ними, т. е. с письмами, его везде встретят, по крайней мере в смысле гостеприимства, с объятиями, и все покажут ему по части природы, видов, людей и прочее, без них он в Сибири, кроме гостиниц с клопами и почтовых станций с картинами блудного сына на каждой, ничего не увидит. Я бы мог дать письма к бурятам и в дацаны к ламам, к тибетским врачам и к хамболаме».

Но Чехова интересовала отнюдь не сибирская экзотика. «Да, непростительно безобразна Ваша дорога, — писал он сотруднику томского «Сибирского вестника» В. А. Долгорукову, — и как вы грешите, что не ругаете ее вдоль и поперек».

Первые шесть глав очерков «Из Сибири», запечатлевшие унылый пейзаж (до Томска), тяжелые дорожные приключения и безрадостные ночевки затронули «патриотические» чувства некоторых сибирских областников. А замечание Чехова о «неколоритности» сибирских женщин и нелестный отзыв об интеллигентных ссыльных вызвали у Н. Ядринцева упрек писателю в превратном представлении о местном населении вообще. Но подобное отношение к очеркам А. П. Чехова «Из Сибири» не стало господствующим в томской и иркутской печати. Более того, обличительный материал чеховских очерков (о плохом состоянии сибирских дорог и самоуправстве администрации) перепечатывался в местных газетах и даже использовался в борьбе против искажения правды о быте и людях Сибири.

«Описания Чехова нельзя упрекнуть ни в сентиментальности, ни в какой-либо тенденциозности, — писал В. Ошурков в иркутской газете «Восточное обозрение» от 29 июля 1890 года. — Он рассказывает лишь то, что сам видел и слышал, а главное, понял. Все рассказы его отличаются крайнею простотою, но они глубоко правдивы и реальны. Его симпатии всегда на стороне трудовой, честной жизни. Он берет людей такими, какими их создали суровая природа края, их тяжелый упорный труд, своеобразные условия жизни».

В путевых очерках Чехов смотрит на Сибирь не только как на край со своими местными особенностями и нуждами. Он стремится увидеть в нем и то, что роднит его со всей страной: в противоречиях сибирской жизни художник обнаруживает общерусские проблемы. Вот почему образы переселенцев и ссыльных, характеры талантливых самородков (скрипач-бобыль и мастер-кузнец), рассуждения мужика-философа («...по всей Сибири нет правды»), унылая сибирская распутица и величественная тайга с красавцем Енисеем, щедрые дары придоды и неумение ими воспользоваться, доброта и сердечность простой женщины, усыновившей чужого ребенка («Какие хорошие люди!»), брань ямщиков и паромщиков — все это сливается в широкую и пеструю мозаичную картину, пронизанную знакомым чеховским взором, в котором — боль и гордость за русского человека, тоска о зря пропадающих просторах и богатствах родины, мечта о победе мысли, воли и новой жизни над дикостью, вялостью и бездорожьем.

После поездки в Сибирь и на Сахалин наступает период полного расцвета творчества Чехова, его гражданской зрелости.

Произведения писателя становятся все более известными и в Сибири. Например, Томская городская публичная библиотека сообщала, что за первые 14 месяцев ее существования (1899—1900 гг.) из отдела изящной литературы было выдано 11 168 книг. Наибольшей популярностью пользовались писатели: Чехов — 441 требование, Л. Толстой — 294, Мамин-Сибиряк — 262, Салтыков-Щед-

рин — 201, Тургенев — 179, Достоевский — 172 и т. д.

В архиве А. П. Чехова, который находится в отделе рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина в Москве, хранятся интересные письма читателей-сибиряков. Учительница из Красноярска Сусанна Семененко писала Чехову 30 марта 1903 года: «Многоуважаемый Антон Павлович! Несколько лет тому назад я мечтала приобрести Ваше сочинение, но так как получала маленькое жалование (я служила сельской учительницей) и имела родных, которым помогала, то моя мечта так и осталась мечтой, а теперь мечта сделалась неосуществимой, ибо в недалеком будущем меня вышлют куда-либо на Север или, вернее, в Якутск, т. е. в такое место, где я едва ли смогу что-либо заработать. Вследствие этого я решаюсь, отбросив стыд, просить Вас послать мне Ваше сочинение, ибо думаю, что не очень обременю Вас своей просьбой, а для меня Ваши книги будут служить в моей ссылке огромным утешением».

Примечательно также письмо двух молодых девушек Любови и Клавдии Тыжновых из села Ново-Назарьевское Енисейской губернии от 12 апреля 1904 года. «Дорогой Антон Павлович, помогите нам! Нас две сестры. Обе мы хотим лучшей жизни, хотим учиться!

...Приходится тратить молодые силы на мелочную борьбу со старшим учителем, который человек очень подленький, ужаснейший формалист, помешанный на официальных бумагах. На своем педагогическом поприще грезит о какой-то неограниченной власти над школой и хочет заставить ее чувствовать, делая ежеминутные, мелочные, докучливые «распоряжения» младшей учительнице. В своей подлости дошел до того, что пишет инспектору народных училищ анонимные письма, в которых доносит, что она знакома с политическими. Инспектор же мучит ее, требует, чтобы она не была знакома с политическими. Но разве это возможно! Без них жизнь была бы ужасной, потому что, кроме них, ни от кого не услышишь живого слова.

...Мы убедились, что Петербург, петербургские курсы для нас — все. Если не будем нынче в Питере, то мы погибшие люди... Но мы не хотим погибать, мы хотим лучшей, светлой, разумной жизни! Помогите же нам достигнуть этой жизни! Посоветуйте, на какие курсы поступить; нам хочется на такие, которые бы нам дали больше знаний, дали бы большее развитие. Вы слышали о курсах Лохвицкой в Питере? Хорошие это курсы? Если хорошие, то мы на них поступим. До свидания. Дорогой Антон Павлович, не томите нас, напишите нам ответ скорей, скорей! Вы — наша надежда».

Не исключено, что это письмо написано под впечатлением от чтения последнего рассказа А. П. Чехова «Невеста», героиня которого уезжает учиться в Петербург, на те самые курсы, о которых мечтают сибирские корреспондентки писателя. Чеховская героиня Надя Шумина уходит в

«новую жизнь», наполненную предреволюционной политической атмосферой грядущего 1905 года. Не этим ли ощущением живут и молодые читательницы Чехова, отправившие ему из далекого сибирского села свое исповедальное письмо? Так сама история дописывала последние страницы чеховских произведений, чеховской жизни...

А в знаменательный для Чехова день — 17 января 1904 года — день премьеры «Вишневого сада» и 25-летия творческой деятельности писателя в Московскем художественном театре среди многочисленных приветствий прозвучал и голос сибирского читателя: иркутянин И. И. Попов, редактор газеты «Восточное обозрение», в своей речи сказал, что «Чехова читают, знают, любят, ценят и в далекой Сибири не только русские, но и инородцы».

ИРКУТСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

ЛЕТОПИСИ П. И. ПЕЖЕМСКОГО И В. А. КРОТОВА*

1841 г. 1 января в Иркутске вступили в общественные службы, вместо избранного градского главы Ивана Логиновича Медведникова, Александр Андреевич Свешников, а в городовой суд судьею Павел Мокеевич Герасимов.

6 января в Иркутск прибыл из Красноярска енисейский гражданский губернатор, д. с. с. Василий Иванович Копылов для исправления должности на время отсутствия ген.-губ. Руперта.

12 января в Иркутске в кафедральном Богоявленском соборе преосвященным Нилом, архиепископом Иркутским, отправляемо было молебствие по случаю обручения Наследника Цесаревича Александра Николаевича с принцессою Марией Александровною, дочерью Великого Герцога Гессен-Дармштадтского; обручение совершено в С.-Петербурге 6 декабря 1840 года; по совершении молебствия в Иркутске во всех церквах продолжался целодневный колокольный звон.

11 марта в Иркутск прибыл проездом на вновь учрежденную епархию Российско-Американских церквей преосвященный Иннокентий, епископ Камчатский, Курильский и Алеутский, и принят на квартиру в дом Прянишникова. Хиротонисан в С.-Петербурге в декабре месяце 1840 года. Он был прежде в Иркутске священником Благовещенской церкви и именовался Иоанн Евсевьевич Вениаминов; в 1823 году уехал из Иркутска в Америку и оттуда кругом света в С.-Петербург, там получил сан епископа и следует к месту своего назначения.

4 апреля р. Ангара против города раскрылась от льда, быв покрытою 115 дней.

30 марта, в первый день Святыя Пасхи, в кафедральном Богоявленском соборе заутреню и обедню раннюю отправляли два преосвященных вместе: первый — Нил, архиепископ Иркутский, Нерчинский и Якутский, а второй — Иннокентий, епископ Камчатский, Курильский и Алеутский.

4 мая, в 5-м часу пополудни, из

Продолжение. Начало см.: «Сибирь», № 1—6, 1990; № 1—5, 1991,

Иркутска выехал по Якутскому тракту к месту своего назначения преосвящ. Иннокентий, епископ Камчатский, и провожден был колокольным звоном.

19 мая в Иркутск прибыл из С.-Петербурга курьер с манифестом о совершившемся в С.-Петербурге 16 апреля сего 1841 года бракосочетании Его Императорского Высочества, Государя Наследника Цесаревича Александра Николаевича с ее Высочеством, Великою Княжною дочерию Великого Герцога Гессен-Дармштадтского, и того же числа издан милостивый манифест.

31 мая в Иркутске, по получении с почтою указа, отправляемо было торжество по сему же случаю — о бракосочетании Наследника Александра Николаевича с княжною Дармштадтскою Марией Александровною — в кафедральном соборе благодарственным молебствием и трехдневным колокольным звоном по всем церквам, а вечерами великолепнюо иллюминациею в городе во все три дня.

16 апреля ген.-губ. Руперт пожалован орденом Белого Орла. 13 мая Ирк. губ. Пятницкий пожалован в действ. статск. советники.

20 июня, в 7 часов утра, из Иркутска выехал преосвященный архиепископ Нил для обозрения своей епархии по Московскому тракту.

24 июня в исходе 7-го часа пополудни в Иркутск прибыл из С.-Петербурга обратно ген.-губерн. В. Я. Руперт.

На 28 июня ночью, в предместье города, в Знаменском монастыре, во вновь устроенном на горе колоколенном заводе, тюменскими колоколенными мастерами к церкви Владимирской Божией Матери перелит большой пятисотный колокол иждивением купца Прокопия Федоровича Медведникова; колокол вылился благополучно.

6 июля из Иркутска выехал в Красноярск к месту своего пребывания дейст. статск. советн. Василий Иванович Копылов, енисейский гражданский губернатор.

7 июля, в 12 часу утра, в Иркутск прибыл преосвященный Нил, архиепископ Иркутский, обратно из поездки по своей епархии, до Нижнеудинска, проезжал и в Братский острог; встречен был колокольным звоном.

25 сентября, в 3 часа пополудни, в Иркутск прибыли из Кяхты по Кругоморскому тракту китайские курьеры от китайского правительства с бумагами к иркутскому гражданскому губернатору; по исполнении возложенных поручений 2 октября из Иркутска выехали обратно по тому же тракту в Кяхту.

28 сентября после переправок освящен престол во имя Успения Божией Матери при Крестовской церкви.

6 декабря, в 10 часу ночи, против города за рекою Ангарою, в Глазковой, был пожар у казака Николая Могилева: сгорел сарай и службы при доме; пожар продолжался до рассвета.

На 19 декабря ночью р. Ангара против города покрылась льдом при 30° холода и очень посредственном возвышении воды.

1842 г. 1 января, в 9 часу вечера, по I-й части города по Замор-

ской улице, в доме умершей чиновницы Варвары Ивановны Новоселовой был пожар: сгорела крыша; по скорости прибытия из части пожарных инструментов дом остался цел и не разломан.

6 февраля, в 9 часов утра, по 3-й части города, по Заморской улице, у советника губернского правления Александра Семеновича Хапилова сгорел флигель до основания.

8 февраля к церкви Владимирской привезен был народом вновь вылитый колокол из Знаменского монастыря с колоколенного завода, весом 480 пудов, и поставлен в колокольне, оттуда будут подымать на колокольню.

15 февраля, во 2-м часу пополудни, из Иркутска выехал по Заморскому тракту преосвященный Нил, архиепископ Иркутский, для обозрения по своей епархии.

26 февраля в Иркутске скончался баталионный командир, полковник Андрей Степанович Казанцев и погребен церемониально на общем кладбище.

28 февраля, в 5 часу пополудни, в Иркутск прибыл преосвященный Нил обратно из поездки по Заморскому тракту и встречен был колокольным звоном.

24 марта р. Ангара против города раскрылась от льда, быв покрытою оным 95 дней.

11 апреля преосвященный Нил, архиепископ Иркутский, сопричислен к ордену Св. Владимира 2-й степ. большого креста.

24 апреля — буря, уронившая одну из глав Богоявленского собора.

24 мая, днем, в Знаменском монастыре горел сарай с дубом, стоящий на горе, у ветряной толчеи, принадлежащей компанионам козлового завода.

12 июня преосвященный освящал храм в Разводинском селении.

28 июня при Крестовской церкви освящен придел Воздвижения Честного Креста Господня.

1 июля была закладка нового здания на каменном фундаменте для института Восточной Сибири благородных девиц. По окончании литургии в кафедральном соборе прибыл его преосвященство Нил, архиепископ Иркутский, с прочим духовенством на место постройки, стоящей во второй части города, в приходе Преображения Господня, у речки Ушаковки, что прежде занимаемо было казенным домом для вице-губернатора. Из приходской Преображенской церкви принесены были св. иконы и приготовлена чаша для освящения воды. По прибытии преосвященный отслужил молебствие с водосвятием; по окроплении святою водою положил камень основания сему зднию в Восточной Сибири, в присутствии генерал-губернатора Восточной Сибири, Вильгельма Яковлевича Руперта, гражданского губернатора Пятницкого и многих почетных чиновников.

22 августа, в день коронования Государя Императора Николая Павловича, после поздней обедни в приходской церкви Тихвинской Божией Матери принесены были из той церкви св. иконы на площадь против главной гауптвахты, где стоял уже парад солдат с

венной власти ему не надо, у него сколько угодно своей...

Яровой кивал, будто соглашаясь с тем, что говорил Солодкин, но слушать не слушал...

— Ты не согласен? — дошло до Ярового.

— Частично, — кивнул в очередной раз Яровой.

В тишине, наступившей вдруг, звонко забулькала льющаяся в стакан жидкость из высоко поднятой бутылки. Но казалось, что эта тишина была всегда, что Денис и Степан не говорили ни о чем, а лишь думали каждый о своем, хотя в чем-то их думы и сходились. А может, и впрямь они молчали?

Два человека, две, по существу, одинаковые судьбы, не сложившиеся, не удавшиеся по разным, но и схожим причинам. Где-то на перепутье дорог жизни каждый из них свернул в сторону перегиба и, сломав линию судьбы, стал тем, кем был теперь. Один еще не стар, другой уже не молод, но оба они перегружены никчемным прошлым. Одного хитросплетения судьбы вынесли в заводы, и он еще плывет по замедленному течению к перепаду, за которым — обрыв. Другой все несся по бурной реке и теперь почти в конце пути оглянулся, пытаясь оценить пройденное.

8

Если не считать промежутков полузабытья, то Яровой практически не спал. Не то чтобы давили выпирающие из-под драпа трескуче-визгливые пружины дивана и была неудобной настоящая пуховая подушка — нет. В голову лезли кошмары, она была тяжела и болезненна. Но, главное, давило грудь. Как ни вздыхал глубоко, как ни поворачивался — сердце продолжало биться глухо, тяжело и, кажется, с перебоями, будто обрело ноги и пошло то ли хромая, то ли перескакивая: раз-два, раз..., раз-два. От этого, должно быть, стыли пальцы на ногах и выступал холодный пот. Но переживаний, в общем-то, не было. В жизни перенес столько, что, кажется, уже ничем не прошибешь. Да и отчего нервничать? Из-за того, что надо идти в милицию? Пустое! Ходил тысячу раз. Да и то не по вызову, с повесткой, не с грузом криминала, не с повинной, наконец. Просто отметиться, что прибыл. Личность! Вишь ты — прибыл. Будто деятель какой-нибудь. Ничего не поделаешь — заработал, удостоился такой части. Быть на учете привычно. Всю жизнь учет. Но на этот раз намерения благие: попробовать жить без заскоков, попробовать иначить. А раньше? Разве раньше было по-другому? Для

и Кяхтинская тоже изменена: вместо одной начали отправлять по две почты в неделю, но эту Кяхтинскую почту только на три зимние месяца, а Московскую навсегда.

1843 г. 14 марта р. Ангара против города раскрылась от льда, быв покрытою 73 дня.

13 апреля, на третий день Пасхи, в Иркутске была процессия погребения иркутского коменданта, генерал-майора Красавина, скончавшегося на 9 апреля ночью.

С апреля месяца в Иркутске открыта первая вольная аптека в доме Чупалова прибывшим из России провизором Динессом.

4 июня, в 3 часа пополудни, из Иркутска выехал по Якутскому тракту преосвященный Нил, архиепископ Иркутский, для обозрения своей епархии до города Якутска; провожаем был по всем церквам с колокольным звоном.

25 июля в Иркутске был оклад пристройки каменной Иркутской гимназии, по обе стороны к старым покоям; из кафедрального собора был крестный ход на место закладки; отправлял молебствие ректор семинарии архимандрит Варлаам, с прочим духовенством.

2 апреля в Иркутске скончался кяхтинский 1-й гильдии купец, почетный гражданин Николай Тимофеевич Баснин.

Узаконено старую медную монету считать на серебро.

7 сентября, в 12 часов дня, в Иркутск прибыл из Якутска преосвященный Нил, архиепископ Иркутский, встречен был в городе колокольным звоном.

16 октября в Иркутск прибыл новый комендант города Иркутска, генерал-майор Каниболотский.

19 октября, в 12 часов дня, в Иркутске видимы были около солнца в разных видах радужного цвета полукруги, по обе стороны солнца, светили будто другие солнца.

20 октября в Иркутске отправляемо было торжество о благополучном разрешении от бремени цесаревны Марии Александровны сыном, нареченным Николаем, 8 сентября; после литургии во весь день колокольный звон, а вечером в городе было освещение.

26 октября в Иркутске преосвященный Нил освящал престол Сретения Господня при Прокопьевской церкви, после внутренних поправок.

15 ноября в Иркутске было отправляемо торжество о крещении новорожденного князя Николая Александровича, совершенное в царско-сельском дворце 10 октября с целодневным звоном.

16 ноября в Иркутске были общественные выборы на трехлетния службы в городском зале против Тихвинской церкви и продолжались по три дня; избран главою почетный гражданин Лев Петрович Мичурин, кандидатом по нем Константин Петрович Трапезников, в городовой суд судьею первой гильдии купец Петр Осипович Катышевцев, кандидат по нем Дмитрий Осипович Портнов и прочие во все общественные службы.

30 декабря р. Ангара против

города покрылась льдом при 15° холода и при посредственном возвышении воды.

1844 г. 1 января в кафедральном соборе принимали присягу и поступили в общественные службы градским главою Мичурин Лев Петрович, кандидат по нем Трапезников Константин Петрович, гласными: Шестунов Прок. Мих., Котельников Николай Семенович, Попов Алекс. Андреевич, Аксенов Як. Вас., Кудрин Андр. Борис., в городовой суд судьею Катышевцев Петр Осипович, заседатели: Оболькин Иван Петр., Нефедьев Ник. Петр., Земин Тим. Панфил. и прочие.

28 января, в 5 часов пополудни, в Иркутск прибыл сенатор, тайный советник Иван Николаевич Толстой для обревизования Восточной Сибири. По окончании ревизии в Енисейской губернии прибыл в Иркутск и принят был в доме полковника Захара Григорьевича Клеветского, в Чудотворском приходе.

30 января в Иркутске было отправляемо торжество о совершившимся в С.-Петербурге обручении 26 декабря 1843 года Ее Высочества Великой Княжны Александры Николаевны за принца Фридриха Гессен-Касельского; в кафедральном Богоявленском соборе молебствие отправлял и литургию совершал преосвященный Нил, архиепископ Иркутский, в присутствии сенатора Ивана Николаевича Толстого, бывшего еще в первый раз по приезде своем в Иркутск в соборе, и всех военных и гражданских чинов, только не было генерал-губернатора Руперта по слабости здоровья; во весь тот день продолжался колокольный звон.

На 5 февраля ночью, в 12 часу, был пожар по 2 части города, по улице Наквасина, на Вшивой горке, против дома Наквасина, у отставного солдата Подомаренко; сгорел дом; пожар был прекращен в 3 часу ночи, пламя было очень большое, и дом разломали до основания.

6 февраля в Иркутске, по получении с почтою, было отправлено торжество о обручении Ее Императорского Высочества Великой Княжны Елизаветы Михайловны с его светлостью, владательным герцогом Адольфом-Нассауским в первый день января текущего года в Зимнем дворце, в С.-Петербурге; во весь день был колокольный звон. В то же число, по случаю наступления великого поста, отправляли праздник Святителю Иннокентию преждевременно, но крестного хода в монастырь не было.

9 февраля из Иркутска выехал по Заморскому тракту сенатор Иван Николаевич Толстой для ревизования губернии.

20 февраля в Иркутске отправили торжество о бракосочетании Великой Княжны Александры Николаевны с принцем Фридрихом Гессенским в С.-Петербурге 16 января, и того же числа вместе и о бракосочетании Великой Княжны Елизаветы Михайловны с владетельным герцогом Адольфом Ниссауским, совершенное в С.-Петербурге 19 января, в Иркутске получено с одною почтою и отправляемо было вместе в один

день; три дня продолжался колокольный звон.

1 марта, в 5 часов пополудни, в Иркутск прибыл из поездки в Кяхту сенатор Иван Николаевич Толстой с семейством.

25 марта р. Ангара против города раскрылась от льда, быв покрытою 85 дней.

18 марта после внутренних поправок освящен престол во имя Святителя Иннокентия при Прокопьевской церкви.

На 21 мая, в начале 3 часа пополуночи, в Иркутске было землетрясение.

23 мая в 3 часу пополудни, из Иркутска выехал сенатор Иван Николаевич Толстой по Якутскому тракту в город Якутск.

28 мая из Иркутска выехал к месту своего назначения, в Нижегородскую епархию, в Макарьевский монастырь настоятелем, где прежде была Макарьевская ярмарка, ректор Иркутской семинарии, настоятель Вознесенского монастыря, архимандрит Варлаам.

21 июня, в начале 2 часа пополудни, из Иркутска выехал преосвященный Нил, архиепископ Иркутский, по Якутскому тракту для обозрения своей епархии.

26 июня, в 8 часов вечера, в Иркутск прибыл первый пароход «Николай I», построенный от города в 18 верстах вверх по Ангаре, в селении Грудининой. ростовским первой гильдии купцом, золотопромышленником Семеном Федоровичем Мясниковым; остановился против казенной аптеки; позволяли входить в него и посмотреть его устройство, а 27 дня, в 7 часу вечера, из Иркутска поплыл пароход в Вознесенский монастырь для служения молебствия Святителю Иннокентию; на пароходе играла полковая музыка, палили пушки; следовали на нем до монастыря генерал-губернатор Руперт, гражданский губернатор Пятницкий и очень много почетных чиновников с семействами; спустились ниже монастыря до Жилкиной и там простояли до 29 июня, и в 8 утра пароход прошел вверх по Ангаре при действии своей машины и парусов и остановился ненадолго повыше Триумфальных ворот, а потом против казенной аптеки и в 4 часу дня ушел к Байкалу.

3 июля, вечером в Иркутск прибыл преосвященный Нил, архиепископ Иркутский, из поездки для обозрения своей епархии.

23 июля протоиерей Прокольевской церкви Алексей Шергин в кафедральном соборе от преосвященного Нила, архиепископа Иркутского, получил посланную с почтою Монаршую награду — камилавку, с ним же вместе с почтою получены Владимирскому протоиерею Иоанну Тихомировну и игуменье Знаменского монастыря Августе наперсные кресты; ключарь, протоиерей Иоанн Протопопов и священник Тихвинской церкви Василий Попов, получили скуфьи.

26 июля, в 5 часу пополудни, по 2 части города, в приходе Владимирской церкви, в доме чиновника Митяшева сгорел сарай.

30 июля от Иркутска в 60 верстах по р. Ангаре у Байкала, у Никольской пристани, было освящение новой деревянной церкви

во имя Николая Чудотворца, созданной по завещанию умершего купца Ксенофонта Михайловича Сибирякова, зятем его, почетным гражданином Иваном Логиновым Медведниковым, освящена преосвященным Нилом, архиепископом Иркутским, с прочим духовенством.

2 августа, в 8 часу пополудни, в Иркутск прибыл обратно из Якутска сенатор, ревизующий Восточную Сибирь, Иван Николаевич Толстой.

3 сентября в Иркутске по получении с почтою, отправлена в кафедральном Богоявленском соборе панихида о упокоении Великой Княгини Александры Николаевны, супруги принца Фридриха Гессен-Кассельского, умершей от продолжительной грудной болезни 29 июля, после разрешения преждевременно от бремени принцем, нареченном при святом крещении Вильгельмом, скончавшемся через несколько часов после рождения; вскоре за ним скончалась и сама Великая Княгиня Александра Николаевна; панихиду отправлял сам преосвященный Нил, архиепископ Иркутский, в присутствии сенатора, ревизующего Восточную Сибирь, тайного советника Ивана Николаевича Толстого, генерал-губернатора Руперта, гражданского губернатора Пятницкого и прочих чиновников.

11 сентября, в 8 часов вечера, по 2 части в Владимирском приходе, у чиновника Митяшева был пожар: сгорела завозня и амбары до основания, при тихой погоде.

12 ноября, в 9 часу утра, в Знаменском монастыре у купца Михаила Земина загорелись службы при доме, была пожарная тревога, на каланче 2 части поднимали флаги и били в набат; однако скоро потушили, — успели разломать.

22 ноября освящен престол при Крестовской церкви во имя Николая Чудотворца, прежде бывший Спасса Вологодского.

23 декабря, по 1-й части города, у чиновника Фролова загорелась баня, поблизости к 1-й частной управе; пожар был прекращен скоро.

26 декабря р. Ангара против города покрылась льдом при 20° холода и при посредственном возвышении воды.

1845 г. 30 января утром выехал из Иркутска по Заморскому (Забайкальскому) тракту в Кяхту сенатор, ревизовавший Восточную Сибирь, Толстой с семейством.

1 марта в Иркутск прибыл курьер с приказанием о наборе рекрут, который (набор) должно начать с 15 марта и окончить в 15 апреля. 2 марта в Иркутске, по получении с почтою (известия) отправляема была панихида о упокоении Великой Княгини Елизаветы Михайловны, супруги Владетельного Герцога Адольфа Нассауского; скончалась в Висбадене 16 января, в 5 ч. утра.

7 марта, в 5-м часу пополудни, в Иркутск прибыл из Нерчинска и Кяхты сенатор Иван Николаевич Толстой с семейством. В 5-м же часу пошел дождь и продолжался два часа; по улицам были большие лывы; дождь шел, как летом, и на лывах плавали пузыри.

31 марта р. Ангара против го-

рода Иркутска раскрылась от льда, быв покрытою 96 дней.

3 апреля, по получении с почтою (известия), было отправляемо молебствие о рождении у Цесаревича Александра Николаевича сына, нареченного Александром, родившегося в Петербурге 26 февраля; во весь тот день продолжался колокольный звон.

3 мая, по получении с почною (известия), отправляемо было торжество по случаю крещения новорожденного (Великого) Князя Александра Александровича, совершенного в С.-Петербурге 17 марта. С вечера (была) заутреня во всех церквах, а в 10-м часу утра — молебствие с коленопреклонением; во весь тот день (был) колокольный звон.

4 июня в Иркутске, в день праздника сошествия Св. Духа, освящен преосвященным Нилом, архиепископом Иркутским, состоящий при Троицкой церкви особый храм во имя Св. Григория Неокессарийского, который прежде был запрещен[1], а ныне вновь поправлен старанием старосты той церкви, купца Якова Малкова и доброхотных дателей.

4 июня, вечером, в Иркутске, в публичном саду[2] проживающими здесь (в Иркутске) комедиантами, гг. Францем Радо и Вим, представлены были два воздушных шара; на берегу у сада дан был большой фейерверк.

На 17 июня, ночью, в Иркутске, в 3 части города, при доме, бывшем прежде Терентьева, где ныне[3] проживает чиновник Иона Фокич Миллер, сгорел сарай при тихой погоде; дом спасен.

26 июня, к вечеру, выехал из Иркутска по Московскому тракту для обозрения приисков сенатор Иван Николаевич Толстой и 2 июля прибыл обратно в Иркутск.

1 июля в Иркутске было открытие института благородных девиц Восточной Сибири. При нем освящен храм во имя царицы Александры преосвященным Нилом, архиепископом Иркутским .

21 июля, в 4-м часу пополудни выехал из Иркутска по Кругоморскому тракту в Тунку преосвященный Нил для обозрения епархии.

22 июля, в 4-м часу пополудни, в Иркутск прибыл из С.-Петербурга инспектор военных кантонистов, генерал-лейтенант барон Заддeлер, в приготовленную ему квартиру у купца Николая Лаврентьевича Зубова. В Иркутске осмотрел кантонистов и 27 утром, в 5 часу, выехал из Иркутска в Кяхту; но 3 августа прибыл из Кяхты обратно, а 5 августа выехал из Иркутска в С.-Петербург.

На 25 июля, ночью, во 2-м часу, в Иркутске, по 3 части гор., в Тихвинском приходе, по Заморской[4] улице, при доме отставного генерал-маиора Безносикова сгорели до основания сарай и службы.

В июле месяце в Иркутск при-

---

[1] Т. е. запрещено в нем служение. Ред.
[2] Бывшем там, где ныне устроен В. П. Сукачевым сквер. Ред.
[3] В пятидесятых годах. Ред.
[4] Ныне Амурская.

ехал начальник 8 округа корпуса жандармов, генерал-маиор Влахопулов; квартировал в доме Трескина; 8 августа уехал из Иркутска обратно.

28 июля в Иркутске прибыл артиллерийский генерал-маиор Цебриков для осмотра артиллерии; квартировал в доме купца Герасимова; в первых числах августа уехал обратно.

30 июля в Иркутск прибыл обратно из поездки по епархии архиепископ Нил.

На 7 августа, ночью, в 1-м часу, по 2 части города, в Знаменском монастыре (предместье) сгорел до основания дом купца Михаила Ивановича Щеголева, — новый, в нем еще и не жили.

14 августа, рано утром, в 3 части города, по 3 Солдатской ул., в доме мещанина Алексея Русанова совершено убийство четырех человек: хозяйки дома Русановой, сестры хозяина и двух его детей—девочек. Женщины убиты в огороде, на грядках, а дети — в доме на постели.

19 сентября в Иркутск прибыли из Кяхты по Кругоморскому тракту китайские курьеры от китайского правительства с бумагами к губернатору; квартировали в каменном общественном доме, бывшем прежде Степана Тюрюмина. По исполнении своих обязанностей выехали из Иркутска обратно по тому же тракту 26 числа.

7 октября после поправок освящен престол в верхнем этаже (церкви) Св. Прокопия и Иоанна Устюжских Чудотворцев благочинным протоиереем Алексеем Шергиным.

11 ноября освящен придел Илии пророка при Воскресенской церкви, после поправок.

17 декабря р. Ангара против Иркутска покрылась льдом при 17° холода; возвышение воды было самое малое.

1846 г. 30 января в Иркутск прибыли из Кяхты китайские курьеры от китайского правительства с бумагами; квартировали по Заморской ул., в доме Александра Ширяева; 7 февраля выехали из Иркутска обратно в Кяхту.

2 февраля в Иркутске было освящение храма, выстроенного у новой семинарии умершим почетным гражданином, иркутским I гильд. купцом Прокопием Федоровичем Медведниковым. Еще при жизни его каменные работы вчерне были окончены все, а отделка внутренняя и украшение храма окончены его детьми. Освящены два теплые придела: первый во имя св. Николая Чудотворца освящен 2 февраля за раннею обеднею протоиереем Владимирской церкви Иоанном Тихомировым, а второй, во имя Рождества Христова, — за позднею обеднею преосвященным Нилом, архиепископом Иркутским. При освящении храма были сенатор, ревизовавший Восточную Сибирь Иван Николаевич Толстой и гражданский губернатор Пятницкий, при стечении множества людей всех сословий.

1 апреля р. Ангара против города раскрылась от льда, и назавтра начался перевоз через Ангару. На 5 апреля ночью и 5 днем, при 12° холода и большом ветре и вьюге, против города р. Ангара покры-

лась во второй раз, как в осеннее время, было возвышение воды, но наибольшее покрытие доходило выше Кузьминского селения. Пешие свободно переходили реку по льду, как при осеннем покрытии. 9 апреля днем Ангара раскрылась против города совершенно. Некоторые старожилы рассказывают, что такое же событие случилось в Иркутске в 1817 г.[1], но только покрывалась река против города не на долгое время.

22 апреля в г. Иркутске, по 1 части, на каменном доме почтамта загорелась крыша, но пожар был немедленно прекращен по прибытии всех частей пожарной команды, хотя был большой ветер; только в некоторых местах разломали крышу.

27 апреля, в исходе 3 часа пополудни, выехал из Иркутска обратно в С.-Петербург ревизовавший Восточную Сибирь сенатор, тайный советник Иван Николаевич Толстой с супругой своею Еленой Алексеевной, урожденной княжной Щербатовой. В 1854 году, в июне месяце, он скончался в С.-Петербурге в той же должности сенатора.

27 апреля, в 6 часу пополудни, по 2 части гор., в Знаменском монастыре (предместье), на берегу р. Ангары сгорел до основания принадлежавший винному откупу сарай для варенья вару, или пеку, коим печатают штофы.

18 июня, во 2-м часу пополудни, выехал из Иркутска преосвященный Нил, архиепископ Иркутский, для обозрения своей епархии, по Заморскому тракту за Байкал; 1 июля, в 4 часа пополудни, прибыл обратно в Иркутск.

16 июня после поправок освящен придел во имя св. Параскевы при Прокопьевской церкви.

Все постройки Иркутской гимназии окончены; помещения служащих лиц и учеников открыты.

На 17 июля, во 2 часу ночи, по 2 час. города, в приходе Владимирской церкви был пожар: загорелось в доме мещанина Потолова и сгорели до основания дома чиновника Климента Заборовского и мещанина Скорнякова, со всеми при них строениями; всего сгорело до 17 помещений.

20 июляв Иркутске, по 2 части, в приходе Преображения Господня, у почетного гражданина Ефима Андреевича Кузнецова была вакладка дома на каменном фундаменте. Преосвященный Нил, архиепископ Иркутский, совершив литургию в церкви Преображения Господня, последовал из церкви со св. иконами на место закладки, где, отслужив молебствие с водосвятием, положил первый камень в фундамент дома и окропил св. водою все углы здания. По окончании сего благочестивого обряда, св. иконы были унесены обратно в церковь, а преосвященный Нил и бывшие тут ген.-губ. Руперт и губернатор Пятницкий были приглашены хозяином дома Кузнецовым на обеденный стол.

2 августа в Иркутске, по получении с почтою (известия), отправляемо было торжество молебствием и целодневным колоколь-

[1] Что и записано в летописи под этим годом.

ным звоном, по случаю обручения Великой Княжны Ольги Николаевны с наследным принцем Карлом Виртембергским, совершенного в С.-Петербурге 25 июня.

5 августа, в 8 часов утра, в Иркутске скончался заштатный священник Троицкой церкви Иоанн Пеетрович Шергин, на 67 году от рождения, погребен на общем кладбище 8 августа.

6 августа в Иркутске, по получении с почтою (известия), отправили торжество с трехдневным колокольным звоном по случаю бракосочетания Великой Княжны Ольги Николаевны с наследным принцем Виртембергским, совершенного в С.-Петербурге 1-го июля.

18 августа, в 3-м часу пополудни, выехал из Иркутска по кругоморскому тракту до Тунки преосвященный Нил; 2 сентября прибыл обратно в Иркутск.

4 октября, в 4 часа пополудни, прибыли в Иркутск, по заморскому тракту китайские курьеры с бумагами к губернатору; квартировали в доме бывшего архитектора Васильева; по исполнении своего поручения 11 октября выехали обратно в Кяхту через Байкал на пароходе.

На 8 число (?), в 1 часу ночи, по 1 части города, в Чудотворском приходе, у иркутского купца Василья Ивановича Шушакова сгорел до основания сарай.

15 сентября, по случаю поправок, освящен престол во имя Николая Чудотворца при Спасской церкви преосвященным архиепископом Нилом.

28 октября освящен храм при Сретенской церкви, по случаю поправок.

3 ноября освящен после поправок храм во имя Тихвинской Божией Матери при Воскресенской церкви преосвященным Нилом, архиепископом Иркутским.

12, 13, 14 ноября в Иркутске, в общественном зале против Тихвинской церкви[1] были общественные выборы на трехлетнее служение. Выбраны: городским головою — почетный гражданин Константин Петрович Трапезников, кандидатом по нем — Константин Филиппович Трапезников; в городовой суд судьею — Семен Иванович Сумкин, кандидатом по нем — Василий Яковлевич Донской; в банк[2] старшим попечителем — Иван Степанович Кокорин. Были избраны и прочие во все общественные службы.

3 декабря выехал из Иркутска в С.-Петербург уволенный в отпуск и. д. гражданского губернатора Андрей Васильевич Пятницкий с супругой.

8 декабря в Иркутске, по 2 части гор., против церкви, вновь построенной Медведниковым, окончено новое каменное здание духовной семинарии; преосвященным Нилом, архиепископом Иркутским, отправляемо было молебствие, и ученики высших классов переведены из прежнего здания

---

[1] Здание это, бывшее на Тихвинской площади и обгоревшее в 1879 г., несколько лет тому назад разобрано до основания.
[2] Е. Медведниковой.

семинарии во вновь построенное, а в старом остались ученики уездного училища.

22 декабря в Иркутске, по получении с почтою (известия), отправлена была в кафедральном соборе преосвященным Нилом, архиепископом Иркутским панихида о упокоении Великой Княжны Марии Михайловны, скончавшейся в Вене 7 ноября 1846 г.

1847 г. 1 января в кафедральном Богоявленском соборе после литургии принимали присягу иркутские граждане, избранные в общественные службы: городской голова Констатин Петрович Трапезников с гласными, городской судья Сумкин с заседателями и все прочие, поступающие в службу.

3 января р. Ангара против города покрылась льдом; возвышение воды было более прошлогоднего.

На 29 января, ночью, под утро, во 2 части гор., в Знаменском монастыре (предместье), на подьеме с р. Ушаковки в монастырь, сгорела пивная лавочка компании пивоварения иркутских купцов Верхотина и Белоголоваго; в лавочке сгорели два человека: старик и девочка, его дочь.

На 30 января ночью, в 11 часу, по 2 час. гор., против мясного ряда у мещанина Сладковского загорел сарай, подле него поблизости стоял другой сарай — купца Степана Попова. Огонь истребил оба сарая; горели ясно: оба были с сеном.

3 апреля в Иркутске р. Ангара против города раскрылась от льда, быв покрытою 90 дней.

20 мая в Иркутске отправляли торжество по случаю рождения 10 апреля у Наследника Престола сына, нареченного Владимиром. Был целодневный звон.

30 мая прибыли в Иркутск китайские курьеры с бумагами к губернатору: квартировали в доме чиновника Сельского, на Заморской улице. По исполнении своих поручений, 5 июня выехали обратно по заморскому тракту в Кяхту.

5 июня, в 4 часа пополудни, из Иркутска выехала по Московскому тракту в Россию супруга генерал-губернатора Елена Федоровна Руперт с детьми, в 4 экипажах; провожало много дам высшего круга. На перевозке во время переправы через р. Ангару играла полковая музыка и палили с берегу из пушек.

8 мая отправляли торжество по случаю совершившегося в С.-Петербурге 30 апреля св. крещения Высоконоворожденному Великому Князю Владимиру Александровичу. Был целодневный колокольный звон.

15 июня, в 2 часа пополудни, из Иркутска выехал по Заморскому тракту Нил, архиепископ Иркутский, для обозрения епархии — Забайкальского края.

14 августа, вскоре по получении с почтою сведения об увольнении генерал-губернатора Вильгельма Яковлевича Руперта, согласно прошению его, от занимаемых им должностей, общество всех чиновников и граждан города Иркутска, в изъявлении особенной признательности и любви к отъезжающе-

му глубокоуважаемому начальнику, давало обед в доме генерал-губернатора, а на другой день — 15 августа — бал и ужин.

17 августа, в 10 час, утра, из Иркутска выехал его высокопревосходительство генерал-губернатор Восточной Сибири Вильгельм Яковлевич Руперт. На перевозе (через р. Ангару) у Триумфальных ворот были поставлены солдаты, и дорога до самого перевозного карбаза была усыпана песком и цветами, самый карбаз был убран тоже цветами. Внизу, у перевоза, стоял хор казачьих музыкантов, на берегу у Знаменского монастыря поставлены были канонерки с пушками. Народу на берег собралось очень много. По прибытии к перевозу, его превосходительство сперва обратился к солдатам, стоявшим у Триумфальных ворот; подошел к ним и, сняв фуражку, кланялся по сторонам. Во все это время играла казачья роговая музыка. Солдаты, стоявшие у ворот, спустились за ним к перевозу. По вступлении на мостик к перевозному карбазу, генерал, окруженный чиновниками разных ведомств и гражданами всех сословий, обратился к предстоящим и, сняв с себя фуражду, сказал: «Прощайте, господа! Покорно благодарю за ваше радушие. Дай Бог, чтобы преемник мой, а ваш будущий начальник был добр к вам». Поклонившись очень низко на все стороны, ушел в карбаз. Заиграла на берегу музыка, и начали палить из пушек, кричали «ура». Карбаз был наполнен провожавшими, а в другой карбаз сели музыканты и продолжали играть, плывя за реку за карбазом генерала. На той стороне р. Ангары были устроены из зелени ворота; по сторонам стояли полковые музыканты и встречали генерала с музыкою; при выходе его из карбаза на берег, кричали «ура». Потом, пройдя устроенные ворота, он, раскланиваясь, сел в экипаж и поехал в Вознесенский монастырь, где, по прибытии в церковь, служили молебствие святителю Иннокентию. В келиях настоятеля чиновниками был приготовлен завтрак. По окончании его отправился в путь. По проезде Жилкинского сел, и рощи монастырской еще останавливались у р. Ангары и у приготовленной тут палатки окончательно пили прощальный кубок; палили пушки и играла музыка. Оттуда отправился прямо по тракту в Тельминскую фабрику, где и остановился ночевать. По приезде в Красноярск, генерал послал благодарственное письмо на имя городского головы Константина Петровича Трапезникова, следующего содержания:

МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ!

Скорблю душею, что при прощальной аудиенции 16 августа, взволнованный разными грустными и вместе отрадными чувствами, я не успел или, вернее, не мог высказать лично перед благородным обществом граждан и Вами, достойный представитель оного, моей искренней сердечной благодарности за то внимание, любовь и преданность ко мне иркутских граждан, коими был счастлив по-

стоянно во все время девятилетнего пребывания в Иркутске. Примите же, прошу Вас, и передайте другим, уважаемый Константин Петрович, эту вполне заслуженную Вами и всеми согражданами Вашими благодарность мою хотя теперь, заочно. Верьте, что она истинна, не поддельна, как истинны и неподдельны были последствия их доброго расположения ко мне, явленныя в минуту разлуки со мною. Я не забуду их никогда.

С истинным уважением и таковою же преданностью имею честь быть, Милостивый Государь, Вам усердным и преданным слугою, Вильгельм Руперт.

Августа 28 числа 1847 года.

Красноярск.

21 августа, в 4 часа пополудни прибыл в Иркутск из Забайкалья Нил, архиепископ Иркутский.

1 сентября в Иркутске прибыл из Красноярска статский советник Василий Кириллович Падалко, состоявший в должности Енисейского гражданского губернатора, для исправления должности, по гражданской части, генерал-губернатора, по случаю увольнения Руперта и выезда его в С.-Петербург. А военная часть поручена была управлению бригадного командира Щетинина. Падалко был принят в дом генерал-губернаторский. По прибытии в Иркутск 12 октября гражданского губернатора Пятницкого, он по старшинству вступил в управление делами генерал-губернатора гражданской частью, а г. Падалко Василий Кириллович 16 октября выехал из Иркутска обратно в Красноярск к занятию своей должности — енисейского гражданского губернатора.

21 сентября в новой церкви Медведниковых было освящение трех холодных храмов в один день: первый освящен поутру, в 6 час., протоиереем Владимирской церкви Иоанном Тихомировым, во имя Вознесения Господня; второй — в 8 час. утра благочинным протоиереем Прокопьевской церкви Алексеем Шергиным; третий— средний главный храм — в 10 час. освящал сам преосвященный Нил, архиепископ Иркутский, во имя Успения Божией Матери.

5 октября в Тихвинской церкви, по случаю поправок и перестройки полов в верхней церкви, в правом приделе освящал престол во имя Иоанна Богослова протоиерей Спасской церкви Прокопий Громов; а главный храм освящал преосвященный Нил, архиепископ Иркутский, с протоиереем кафедрального собора Фортунатом Петуховым, ключарем Иоанном Протопоповым и иеромонахом Владимиром.

12 октября, в 4 часу пополудни, прибыл в Иркутск из С.-Петербурга, обратно иркутский губернатор Андрей Васильевич Пятницкий с супругой, а вечером против дома его была иллюминация в честь его прибытия.

(Продолжение следует).

Составитель В. В. Козлов
Технический редактор
Т. Н. Тихомирова
Художественный редактор
О. В. Беседин
Корректор В. М. Ермакова

Рукописи не рецензируются и не возвращаются
Адрес редакции:
664000, Иркутск, ул. Степана Разина, 40.
Союз писателей, тел. 24-56-76.

ИБ № 1758.
Сдано в набор 16.10.91.
Подписано к печати 20.01.92.
ЛР № 010010.
Формат 84×108 1/32.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 11,76.
Усл. кр.-отт. 11,87. Уч.-изд. л. 14,34.
Тираж 12 000 экз. Заказ 1758.
Изд. № 6479.

Восточно-Сибирское книжное издательство Министерства печати и информации Российской Федерации. 664000, Иркутск, ул. Марата, 31. Иркутский Дом печати. 664009, Иркутск, ул. Советская, 109.

1р. 40к.

СИБИРЬ

6 91

декс 73380